

А. И. Афанасьев

**ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
и
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ**

Монография



Одесса
Бахва
2013

УДК 009:168.522

ББК 74.202

А 941

Рецензенты:

Курчиков Л. Н. – доктор филос. наук, профессор кафедры философии и гуманитарных наук Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой;

Ивакин А. А. – доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии национального университета «Одесская юридическая академия»;

Жарких В. Ю. – доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой права и права Одесского национального политехнического университета

*Рекомендовано к печати Ученым советом ОНПУ
(протокол № 3 от 25 декабря 2012 г.)*

Афанасьев А. И.

А 941 Гуманитарное знание и гуманитарные науки: моногр. / А. И. Афанасьев. – О.: Бахва, 2013. – 288 с.
ISBN 978-966-8783-32-6

В монографии представлена методологическая концепция необходимости различения двух дополнительных (взаимоисключающих и взаимообуславливающих) подходов в гуманитарных исследованиях. Различаются гуманитаристика и гуманитарные науки, а также два типа научно-гуманитарного знания на основе соответствия сильным или слабым критериям научности. Анализируются различные смыслы и средства представленности в гуманитарном знании нарративов, теорий, методов, парадигм, картин мира, рациональности.

Книга адресована специалистам в области философии и методологии науки, аспирантам, студентам, а также всем, кто интересуется философско-методологическими проблемами науки.

УДК 009:168.522

ББК 74.202

ISBN 978-966-8783-32-6

© ООО Бахва, 2013

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
--------------------------	---

ГЛАВА 1.

ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО ОБЪЕКТЫ..... 9

- 1.1. К истории становления гуманитарного знания.....9
- 1.2. Особенности гуманитарного знания. Гуманитарное знание и гуманитаристика
- 16
- 1.3. Объекты гуманитарного знания
- 30
- 1.4. Текстуальные и нетекстуальные объекты
- 38

ГЛАВА 2.

НАРРАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

ГУМАНИТАРИСТИКИ..... 53

- 2.1. Основные черты нарратива.....53
- 2.2. Репрезентативная и конституирующая функции нарратива
- 57
- 2.3. Нарратив, автор, биография в современной гуманитаристике
- 67
- 2.4. Нарратив и научное объяснение. Субъект объяснения в гуманитаристике.....78

ГЛАВА 3.

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ: ОБЩЕНАУЧНЫЕ

ОСНОВАНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ .89

- 3.1. Компоненты гуманитарной теории
- 89
- 3.2. Методы в гуманитаристике.....111
- 3.3. Технэ и метод
- 119
- 3.4. Два типа теорий в гуманитаристике.....126

ГЛАВА 4.	
ГУМАНИТАРНЫЕ ПАРАДИГМЫ	
И ИХ ОСОБЕННОСТИ	157
4.1. Научные и вненаучные парадигмы.....	158
4.2. Сосуществование парадигм.....	164
4.3. Парадигмы в смеховой культуре.....	168
4.4. Парадигмы в литературно-исследовательском творчестве.....	175
4.5. Парадигмы в гуманитарных науках.....	181
4.6. Различные смыслы понятия «гуманитарные парадигмы».....	189
ГЛАВА 5.	
ГУМАНИТАРНАЯ КАРТИНА МИРА	191
5.1. Мир. Картина. Картина мира.....	191
5.2. Научная гуманитарная картина мира.....	196
5.3. Дисциплинарные гуманитарные научные картины мира.....	201
5.4. Значение картин мира в гуманитаристике. Дополнительность.....	206
ГЛАВА 6.	
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ	211
6.1. Научная рациональность.....	211
6.2. Субъектная и объектная рациональность гуманитарного знания.....	229
6.3. Рациональность и творчество.....	239
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	251
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	262

ПРЕДИСЛОВИЕ

С тех пор как феномены человеческого духа стали исследоваться как объекты, возникающие в результате опредмечивания и отчуждения человеческих способностей, в ходе определения стоимости идей и духовных ценностей, вследствие оценки или демонстрации глубины и уровня знаний и вообще духовности, стало очевидно, что их можно наблюдать, измерять, классифицировать так же, как и объекты природы или техники, делать объектами изучения, преобразования, управления, иными словами, делать достоянием науки. Так возникли гуманитарные науки («науки о духе»), хотя термин «наука» первоначально, а в некоторых языках и по сей день, связывался с естествознанием (науками о природе). Успешность естественных и технических наук, которую они продемонстрировали в течение нескольких столетий, обусловила в рамках методологии науки и вообще в общественном сознании высокую оценку их теорий, методов и прочих способов организации и получения знания, приобретших статус образцов, идеалов, стандартов. Они определили признаки «хорошей науки», среди которых построенные по естественнонаучному или логико-математическому образцу теории, объединенные общими принципами и определенными фундаментальными понятиями, куда входят еще и термины, получившие относительно однозначные определения, четкие правила получения выводов и построения доказательств, законы или статистические закономерности, идеализированная модель рассматриваемого объекта, методы как последовательность действий по достижению научного результата и пр. Важно, что такая система знания выполняет функции не только описания, понимания, объяснения, но еще и надежного или хотя бы вероятностного предсказания.

Не только в естествознании, но и в ряде гуманитарных дисциплин можно отыскать теории, ориентирующиеся на указанный идеал, например в структурной лингвистике, конкретной социологии и др. Применение математических методов в истории и литературоведении также приближает некоторые их разделы к классическому

идеалу научности. В то же время целые области гуманитарного знания, например, в педагогике или в той же истории, не соответствуют названному канонам.

Однако это не мешает устойчиво именовать историю, филологию, психологию, педагогику науками, вызывая порой серьезные дискуссии по этому поводу. Справедливости ради надо сказать, что гуманитарные науки не исключение. Аналогичная ситуация наблюдалась и в естествознании, и в технических дисциплинах. Можно указать, например, на ботанику и зоологию времен К. Линнея или на многие разделы геологии и географии. Показательно, что географию относили то к естественным наукам, то к общественным, то к гуманитарным, то к историческим. Возможны ли четкие критерии такого соотнесения? В каких же случаях достаточно описаний и классификаций для обретения научного статуса, а когда этого недостаточно и необходимы строгие теории, точные методы, надежные предсказания?

Очевидно, что дескрипциями, нарративами, классификациями, различными моделями понимания объекта переполнены гуманитарные науки. Будет ли гуманитаристика довольствоваться таким положением и далее или возобладают требования научной строгости? Если учесть, что гуманитарные науки – именно как науки – существенно моложе естествознания, то можно предположить вторую перспективу. Однако реальна ли такая тенденция?

Привлекательность идеала научности в последнее время несколько уменьшилась. Цивилизационный кризис и глобальные проблемы, переживаемые современным человечеством, во многом спровоцированы научно-техническим прогрессом. Из-за этого приобрели популярность антисциентистские концепции. Решить указанные проблемы на том пути, который к ним привел, весьма сомнительно. По-видимому, только гуманитарным способом можно спасти положение, рассматривая природу в качестве цели (как и человека), а не средства. Однако без науки решить глобальные и не только глобальные проблемы не удастся. Поэтому взоры исследователей все чаще обращаются именно к гуманитарным наукам. Но к гуманитарным дисциплинам сложилось противоречивое отношение. С одной стороны, признается их важность, с другой – отмечается их известная недостаточность, своеобразная «второсортность» по сравнению с естественными и техническими

дисциплинами. Во многом это связано с элементарной неинформированностью «технарей» с достижениями в области гуманитарных дисциплин. Но частично причина кроется в том, что многие сферы гуманитаристики не решают важные задачи так эффективно, как это делают естественные и технические науки. Поэтому возникает целый спектр вопросов. Чем объяснить наличие таких разделов гуманитаристики, которые соответствуют строгим канонам научности, но при этом не имеют нужной технологичности? Как оценить те сферы гуманитарного знания, которые строгим канонам не вполне соответствуют или вовсе не соответствуют, но традиционно именуются науками? С чем связано это несоответствие: с неразвитостью, дающей надежду на улучшение ситуации в будущем, а может быть, с иной направленностью или специфичностью гуманитаристики, что требует совершенно иных критериев оценки? Имеет ли смысл совершенствовать то гуманитарное знание, которое не соответствует требованиям научности, доводя его до научных стандартов, или лучше уточнять, изменять, смягчать, размывать, наконец, отменять сами эти стандарты?

С тех пор как методология науки вовлекла в сферу своего исследования гуманитарное знание, не прекращались попытки определить его специфику и научный статус. Причем исследователи не смогли избежать сопоставления с уже достаточно развитым естествознанием, поэтому казалось необходимым четко отличить гуманитарное знание от естественнонаучного по объекту и предмету, по методам и подходам, по целям и задачам. С другой стороны, многое указывало на единство науки, что предполагало отказ от идеи какой-то особенности гуманитарных наук. По мере развития самой науки, развертывания дифференциации и интеграции научных дисциплин, расширения и переплетения предметных, проблемных и методологических сфер научной деятельности становится все труднее развести естественнонаучное и гуманитарное знание по самостоятельным квартирам, как и объединить их на основе единой методологической базы или общенаучных идеалов. Однако и первые, и вторые попытки продолжаются, давая положительные результаты, но вызывая и немало вопросов. Возникает тупиковая ситуация: описать гуманитарные объекты можно двумя взаимоисключающими способами: с одной стороны, указав на общенаучные основания гуманитаристики, с другой – выявив ее специфику. Здесь не избежать ответа на вопрос: надо ли исключить

один из способов как несостоятельный, неадекватный, ненаучный или возможно другое решение?

Следует также принять во внимание, что наряду с бурным развитием науки стремительно развивается сфера ее методологического исследования. Методология науки, особенно ее общенаучная область, имеет весьма развитую структуру и концептуальный аппарат, разнообразные подходы и модели. Имеются четкие представления о структуре и функциях научной теории и научного знания, значении научной картины мира, месте в научном исследовании парадигмы, специфике научного объяснения, роли научных законов и понятий, критериях рациональности, идеалах и нормах и прочих особенностях науки. Однако методология науки разрабатывалась преимущественно на основе исследования естественных наук. Настало время выяснить, насколько применимы подобные методологические разработки к гуманитарной сфере. И если не вполне применимы, то куда нужно направить исследовательские усилия: корректировать методологию науки или разрабатывать особую методологию гуманитарных наук? Тем более, что методологические исследования относительно гуманитарного знания до сих пор велись преимущественно либо на общефилософском, либо на частнодисциплинарном уровне, а общенаучная методологическая проблематика гуманитаристики почти не затрагивалась.

Вышесказанным определяется тема монографии, ее структура и обсуждаемые в ней вопросы.

ГЛАВА 1. ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО ОБЪЕКТЫ

1.1. К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Предпосылки гуманитарного знания как особого типа знания, по-видимому, складываются в эпоху Возрождения. Впрочем, уже в античности гуманитарность связывалась с образованностью, тонким вкусом, воспитанием, а также с сердечностью, дружелюбием, человечностью. Но представители Ренессанса пытались культивировать античный идеал образования и воспитания, каким они его видели. Именно в это время возникает идея, что человек представляет собой особый тип бытия, наряду с бытием Бога и бытием природы. Антропоцентризм Ренессанса – это не космоцентризм античности, когда человек представлялся частичкой космоса, но и не теологизм Средних веков, в котором человек как божественное творение также лишен самостоятельности. Переход от предпосылок к формированию особой сферы гуманитарного знания происходит тогда, когда человек, его духовный мир становятся самостоятельным предметом познания. Одновременно возникают дискуссии о соотношении между гуманитарными и естественными науками и, соответственно, о природе обоснования гуманитарной науки.

Вопрос о научности той или иной системы знания определялся не только фактом господства классической механики. Во многом он был предрешен немецкой классической философией. Особое значение в этом плане имел сформулированный И. Кантом идеал научности. Он, с одной стороны, определил математику и естествознание как всеобщую форму научного знания, задав образец научности и во многом определив форму развития науки. Но, с другой стороны, тем самым была заложена традиция, в рамках которой

многие гуманитарные дисциплины и их особая методология не могли обрести научный статус. Гегелевские и марксистские установки на единый научный идеал, развившие эту сторону кантовского наследия, вынуждали игнорировать многие специфичности социальных и гуманитарных проблем. Ведь статус научности гуманитарное знание приобретало лишь в том случае, когда преодолеvalo индивидуальное, единичное, эмпирическое, а субъект познания и социально-исторической деятельности возносился на трансцендентальный и абсолютный уровень. Справедливости ради следует отметить, что стремление соответствовать такому высшему проявлению научности способствовало развитию многих дисциплин социально-гуманитарного цикла: социологических, лингвистических и др., – соответствовавших строгим идеалам научности. В указанном плане нельзя не заметить влияние классической немецкой философии, особенно гегелевской, нацелившей науку на изучение культурно-исторических форм деятельности абсолютного субъекта истории. Это предопределило бурное развитие гуманитарных наук XIX и XX вв., особенно исторических дисциплин: гражданской истории, истории литературы, искусства, религии, мифологии, языка, философии, науки, государства, права, хозяйства и т. д. Их неполное соответствие строгим научным, читай – естественнонаучным, идеалам объяснялось скорее молодостью и неразвитостью этих наук, чем сущностными характеристиками. Здесь нельзя не отметить и роль философии Маркса, современные критики которого часто упускают из виду вклад марксизма именно в развитие наук социально-гуманитарного цикла. Сама социально-экономическая концепция Маркса не без оснований претендовала на роль научно-философской теории, поскольку во многом стремилась соответствовать идеалам научности своего времени и сама участвовала в их формировании.¹ Так, формационный подход выявил ту повторяемость явлений, которую прежде обнаруживало лишь естествознание в природных процессах, благодаря чему стало возможным говорить о закономерности общественной жизни. Существенно, что в середине XIX в. не только Маркс членил историю человечества

1 Афанасьев А. И., Василенко И. Д. Идеалы научности и формационный подход // Матер. I Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку-2006». – Т. 5. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 54–57.

на закономерные этапы – это становилось научной парадигмой. Подобные попытки осуществляли А. Смит, А. Тюрго, А. Сен-Симон, Г. В. Ф. Гегель и др. Кроме того, формационный подход представил общество как саморазвивающуюся систему, что реализовало научные принципы объективности и системности, а смена формаций была представлена как естественный процесс, аналогичный природным процессам. Впрочем, ограниченностей и издержек формационного подхода как в научном, так и в философском плане также оказалось немало. Среди них и подтверждаемость концепции теми эмпирическими данными, на которых она же строилась, и абсолютизация социально-экономического фактора и макросоциологических понятий, и вера в научность философского материализма, и наличие неявных социально-психологических установок эпохи христианства типа представлений о конечных судьбах человечества, которое содержится в идее коммунизма, и ценностное предпочтение борьбы и насилия, характерное для духовной атмосферы XIX в., и однолинейно-прогрессистское истолкование времени, когда будущее рассматривалось как более важное в ценностном отношении, чем прошлое, и т. д.¹ Тем не менее попытка соответствовать единому идеалу научности в формационной концепции просматривается достаточно четко.

Единый идеал научности вскоре вызвал сомнения. Здесь сказало влияние другой идеи Канта о двух сферах бытия, двух мирах, в которых существует человек: природном мире и внеприродном, человеческом мире. Но если для Маркса это означало лишь специфику социальных законов, отличных от природных, но отнюдь не предметное или методологическое противопоставление, то в ряде других направлений послекантовской и послегегелевской философии сформировалось представление о принципиальном различии природы и культуры, природы и социума. Отсюда недалеко до идеи о различии и противостоянии гуманитарных и естественных наук и применяемых ими методов.

Существенной предпосылкой и идейным фоном подобных философских размышлений была литературная деятельность в первую очередь немецких, но также и английских, французских, российских и других литераторов, получивших название романтиков

1 Афанасьев А. И., Василенко И. Л. Идеалы научности и формационный подход. – С. 54–57.

как представителей широкого культурного течения романтизма. В их изображении романтиком стал литературный и житейский герой как человек сильных страстей, возвышенных устремлений, не совместимых с обыденным миром и проявляющихся в исключительных обстоятельствах. Поэтому для литераторов, философов, ученых и вообще деятелей культуры становятся привлекательными фантастика и экзотика, яркие картины природы и жизни, поступков и помыслов, быт и нравы экзотических стран, необычность народной музыки, поэзии, сказаний как проявления национальной самобытности. Отсюда интерес к фольклору, переработка фольклорных произведений, создание собственных произведений на основе народного творчества. Их новаторство проявилось в развитии жанров исторического романа, фантастической повести, лиро-эпической поэмы, баллады, в использовании многозначности слова, разнообразных ассоциаций, многообразных тропов, особенно метафор, в открытиях в области метрики, ритмики и вообще стихосложения. Все это не могло не сказаться на философских изысканиях, тематика и проблемное поле которых существенно расширяется.

Одним из первых, кто усомнился в абстрактном естественнонаучном идеале научности, был Г. Гердер, который привлек внимание к таким феноменам, как народ, эпоха, культура. Да и Ф. Шлейермахер, отдавая должное Целому и Вечному, пытался обратить внимание на исторические реальности. Он считал, что философия должна изучать не столько теоретический разум и естественнонаучное мышление, сколько повседневную обыденную жизнь. Изучая повседневность, познание неизбежно повернет от поиска общих законов к обнаружению единичного и индивидуального. Это уже совсем не кантовская постановка вопроса: научное познание должно ориентироваться на индивидуальное. Соответственно, естествознание и математика, как и вообще «науки о природе», теряют у них свой образцовый статус и начинают оттесняться «науками о духе», ныне называемыми гуманитарными. Для нас не столь важно, что разработчики этой темы не пришли к единству относительно психологических, культурных, ценностных или исторических оснований наук о духе. Гораздо существенней, что их специфика была зафиксирована. В. Дильтей даже проводил различие между науками о природе и науками о духе по трем основаниям: по предмету познания,

по материалу и по их методу. «Науки о духе должны, исходя от наиболее общих понятий учения о методе и испытывая их на своих особых объектах, дойти до определенных приемов и принципов в своей области, совершенно так же, как это сделали в свое время науки естественные. Не тем мы окажемся истинными учениками великих естественнонаучных мыслителей, что перенесем найденные ими методы в нашу область, а тем, что наше познание применится к природе нашего предмета и что мы по отношению к нему будем поступать так, как они по отношению к своему».¹

Методологическую специфику гуманитарного знания впервые попытался зафиксировать И.-Г. Дройзен.² В 1858 г. в книге *Grundriss der Historie* Дройзен ввел в научный обиход методологическую дихотомию: объяснение и понимание. Первоначально это было у него просто различием собственно философского метода, призванного узнать что-то, физического метода, выполняющего функции объяснения, и исторического метода, необходимого для понимания. Объяснение, как его понимал Дройзен, реализуется в законообразных суждениях естественных наук и является их целью. Понимание реализуется в метафизических суждениях гуманитарных наук и является их целью. В концепции Дильтея трихотомия превратилась в дихотомию объяснения и понимания и в таком виде стала методом анализа в философской литературе.

В работах Ф. Шлейермахера, И. Дройзена, В. Дильтея, Г. Зиммеля и др. сложилась достаточно развитая концепция специфичности гуманитарных наук как наук о духе, т. е. о духовной жизни, мире переживаний и соответствующих культурно-исторических образованиях. Их усилиями отрицалась идея методологического монизма, доказывалась необоснованность переноса естественнонаучных идеалов и подходов на гуманитарную сферу, утверждалась независимость особой духовной реальности, неподвластной естественным наукам. Отличительными особенностями этой тенденции стали психологизм в онтологическом обосновании предмета гуманитарных наук, интуитивизм, вживание, понимание в методологии гуманитарного знания, антипозитивизм в гносеологии и эпистемологии. Их критики

1 Дильтей В. Описательная психология. – СПб.: Алетейя, 1996. – С. 15–16.

2 Дройзен И. Г. Историка: пер. с нем. – СПб.: Владимир Даль, 2004. – 584 с.; Коломоец Е. Н., Кукарцева М. А. Опыт метафилософии истории // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 7. Философия. – № 6. – 2000. – С. 48–59.

усматривали в этом изрядный налет иррациональности на гуманитарных науках, не совместимый с идеалами научности. Но сам факт философского анализа гуманитарной сферы и ее рациональных и нерациональных феноменов свидетельствует о попытках выявления рациональных оснований гуманитаристики и о стремлении отеснить нерациональные аспекты и сузить сферу иррационального.

В этом смысле возрождение кантовской идеи о конструктивной роли разума, в частности неокантианцами, имело немаловажное значение, а лозунг «назад к Канту» скорее означал «движение вперед» на пути расширения сферы рационального. Сказанное относится и к марбургской школе, где познание означало рациональное конструирование предмета, и к баденской школе, где наука понималась как переход от иррациональной действительности к рациональным понятиям. Даже индивидуализирующий метод, исключая формулировку общих законов истории, означал скорее наступление рационального на иррациональное, чем наоборот.

Сторонники единой методологии обычно акцентируют внимание на противопоставлении Г. Риккертом гуманитарных и естественнонаучных методов. «Я, – отмечает Риккерт, – противопоставляю генерализирующему методу естествознания индивидуализирующий метод истории.¹ На этом ставится точка, из-за чего позиция философа существенно искажается. Между тем, и это важно отметить, Риккерт, различая методы гуманитарной и естественнонаучной областей, не проводил жесткого различения предметных сфер, тем самым допуская применение методов в разных предметных областях. «Конечно, и естественнонаучный метод также применим в области культуры, и ни в коем случае нельзя утверждать, что существуют только исторические науки о культуре. И наоборот, можно до известной степени говорить об историческом методе в науках о природе».²

В отличие от Г. Риккерта, В. Виндельбанд отличает естественные науки от гуманитарных, в частности, от истории, не по предмету или методу, а по целям исследования, которые, впрочем, обуславливают применяемые методы. Поэтому он отказывается от деления знания на науки о природе и науки о духе. Принципом деления у него служит «формальный характер познавательных целей наук». Одни науки отыскивают общие законы, другие – отдельные факты и события,

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998. – С. 75.

2 Там же. – С. 44–128.

например история. Естествознание выясняет то, что всегда имеет место, а история фиксирует то, что было лишь однажды. Отсюда возникают различные типы мышления: номотетический (от греч. номос – закон) и идиографический (описывающий особенное).¹

Попытки выявить особенности гуманитарного знания не прекращаются и в XX веке, в частности в связи с разработкой проблемы интерпретации. Г. Гадамер показал, что исходные позиции для интерпретации уходят в необозримую, не поддающуюся рациональной реконструкции основу изначального дотеоретического понимания мира, укорененную в традиции, языке, общности жизни. К этому изначальному запасу понимания существенно ближе не естествознание, а именно гуманитарная сфера: литература, искусство, мораль, исторические сказания, жизнеучения. Важно подчеркнуть, что если гуманитарное знание часто натывается на островки иррационального в своем предмете, это не означает сужения сферы рационального, а, напротив, попытки их рационального «схватывания». Ю. Хабермас подчеркивает, что интерпретаторы вынуждены соблюдать стандарты рациональности, поэтому всякая интерпретация является рациональной, а надежная интерпретация достигается лишь при рациональной реконструкции всех условий, в которых интерпретируемое высказывание претендует на значимость.² Разнообразная критика стандартов научности, особенно распространенная в гуманитарной сфере, стала весьма популярной в конце XX и начале XXI веков. Она имеет на первый взгляд разрушительную для науки направленность, но обнаруживает и ряд положительных моментов, в частности, способствует дальнейшей разработке и уточнению критериев научности. Кроме того, некоторые идеи постструктурализма и постмодернизма, преимущественно литературоведческого плана (Р. Барта, Р. Якобсона, Ж. Женетта, а также М. Фуко и Ж. Деррида), в частности, касательно «смерти субъекта» и «смерти автора» и вообще относительно их критики стандартов рациональности можно использовать в конструктивном ключе. Причем, это не обязательно противоречит их фундаментальным установкам. Например, если «смерть субъекта» (М. Фуко) или «смерть автора» (Р. Барт) означает растворение

1 Виндельбанд В. Прелюдии: Философские статьи и речи. – СПб.: Изд-во Д. Е. Жуковского, 1904. – С. 319–320.

2 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 2000. – С. 51.

авторского текста в бесчисленных читательских интерпретациях или растворение его в бесконечном ряду предшествующих идей и прямых цитат из предшественников, то ничего не мешает использовать любую идею Барта, Фуко, Деррида и др. в том плане, который угоден исследователю.

Таким образом, даже краткий экскурс в историю философского осмысления гуманитарного знания позволяет выявить две тенденции. Первая тенденция акцентировала внимание на том, что гуманитарные науки как минимум в некоторых аспектах должны быть весьма схожи с естественными и использовать те же методы и средства познания и экспликации знания, представляя общенаучные идеалы. Вторая тенденция подчеркивала другую особенность: гуманитарное знание существенно отлично от естественнонаучного и пользуется специфическими концептуальными установками и средствами познания и представления знаний. Причем специфичность усматривалась в признаках, на первый взгляд, не совместимых: от иррациональности до особых стандартов рациональности гуманитарных наук. Указанные тенденции необязательно представлять борющимися «до победного конца», будто бы лишь одна из них верная. Осмысливая их как взаимоисключающие, можно продемонстрировать дополнительность данных тенденций, что больше соответствует реальному функционированию гуманитарного знания, возможно, при преобладании первой тенденции, расширяющей общенаучное поле гуманитарного знания. Очевидно также, что в ходе дискуссий выявляется достаточно широкая сфера гуманитарного знания, которую к науке не относят. Таким образом, неизбежно возникает вопрос о критериях различения научного и вненаучного гуманитарного знания.

1.2. ОСОБЕННОСТИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ. ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ГУМАНИТАРИСТИКА

Узкий и широкий смысл термина «знание», научное знание. Термин «знание» употребляется в узком и широком смыслах. В широком смысле слова знание рассматривается как некоторое содержание сознания, которое мы можем хотя бы в принципе каким-либо образом описать.¹ В таком случае в разряд знаний попадают

1 Цофнас А. Ю. Що таке знання. – О.: Астропринт, 2002. – С. 8.

разнообразные взгляды, вера, убеждения, интуитивные представления, понимание, предрассудки, предпосылочное, личностное знание и т. д. Хотя к этим формам сознания иногда применимы некоторые признаки знания, например, референциальность как отнесенность к каким-то объектам, все это знанием предпочитают не называть, когда говорят о нем в узком смысле.

Знание в узком смысле должно обладать главными признаками: обоснованностью, эксплицитностью, общезначимостью, референциальностью, валентностью (например, истинно или ложно), рефлексивностью. Все указанные признаки взаимосвязаны, например без эксплицитности или общезначимости (интерсубъективности) невозможна обоснованность, т. к. знание должно быть как-то представлено и воспринято. Только выполнение всех признаков (конъюнкция) дает то, что в строгом смысле называется научным знанием.¹ Степень узости или широты термина «знание» относительна. Но расширение термина ослабляет научность знания. А отдельные характеристики допустимы и за пределами науки. Например, эксплицитностью может обладать убеждение, вера, а к интуитивному знанию это свойство не относится. Рефлексия возможна по поводу любого содержания сознания и даже иных психических образований. Рефлексия превращает все это в знание, но дальнейшая рефлексия над знанием или его отсутствием необязательна. Некоторые важнейшие виды знания не отрефлексированы и в данной процедуре не нуждаются. Так, многие умения и навыки никак не описаны, но усвоены по образцам деятельности и воспроизводятся со знанием дела. Вряд ли о таких случаях можно сказать, что люди не знают, что они делают. Просто подобное знание или незнание не отрефлексировано. Возможно, это имел в виду Сократ, когда насмеялся над земляками, не задумывавшимися над такими проблемами: «Я знаю, что я ничего не знаю, а вы не знаете даже этого». Наука – это именно то, что имеет дело со знанием в узком смысле слова.

Важнейшей характеристикой знания является обоснованность. Обоснованность знания прямо связана с рациональностью. Рациональность рассматривается как форма обоснованности знания, а нередко отождествляется с ней. Возможные варианты указанного соотношения зависят от принятых критериев рациональности, которые не остаются неизменными. Например, жесткий критерий

1 Цофнас А. Ю. Гносеология. – К.: Алерта, 2005. – С. 33–37.

рациональности подразумевает только теоретическое или только научное знание. Для слабого критерия достаточно соблюдения некоторых правил и норм мышления или деятельности.¹

Знание, в узком смысле слова, тесно связано с наукой, хотя ученые используют и интуицию, и различные формы неявного знания, и т. п. Но в конечном выражении ученые избавляются от интуиций, неявностей, озарений и пр., представляя знание явным, рациональным, обоснованным, эксплицированным, рефлексивным, общезначимым. Поэтому научное знание – особый вид знания, отличный от обыденного, мифологического, художественного, религиозного. Оно получено с помощью особого вида деятельности – научной, использующей специальные средства.

Когда подразумевают принадлежность знания к науке как особой сфере деятельности, нередко выделяют также и следующие особенности:

1. Воспроизводимость, т. е. возможность повторения научного результата при наличии соответствующих условий.
2. Проверимость, т. е. доступность знания различным способам проверки.
3. Выводимость как возможность получения неочевидных следствий.
4. Системность, представленная, например, в теории.
5. Предсказуемость как возможность предвидеть наступление определенных событий и др. Впрочем, некоторые из них являются следствием вышеперечисленных признаков научного знания, хотя в ряде случаев имеют самостоятельную ценность.

Научное знание в соответствующих науках определенным образом организовано. В структуре научного знания можно выделить: науки и научные дисциплины, формы организации знания, например, гипотезы, теории, факты, проблемы. Различают также уровни, например, эмпирический и теоретический, основания науки, в частности, идеалы и нормы, научную картину мира, выделяют функции науки и ее методы, отмечают парадигмальность как специфическую особенность функционирования научного знания и его производства и т. д.

Изложенные выше и многие другие представления о знании, в первую очередь о научном знании, а также о науках сформировались

1 Розов М. А. История науки и проблема ее рациональной реконструкции // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 123.

в методологической литературе преимущественно на основе изучения естественнонаучного знания, которое вплоть до конца XX в. считалось более развитым, чем, например, гуманитарное или техническое. Развитие неклассической и постнеклассической науки XX в., бурное развитие гуманитарных наук в конце XX – начале XXI вв. поставили данный тезис под вопрос. В связи с этим вновь обострилась не раз встававшая в прошлом проблема сущности гуманитарного знания: какое знание и на каких основаниях причислять к гуманитарному, чем определяется научность гуманитарного знания, присущи ли ему вышеизложенные характеристики, что изучают гуманитарные науки, чем они отличаются от других наук?

Гуманитарное и негуманитарное знание. В гуманитарную (от лат. *humanitas* – человеческая природа, образованность, утонченность) сферу чаще всего включают философию, историю, обществоведение, право, мораль, искусство, мифологию, религию, педагогику, филологию, гуманитарное образование, просвещение и воспитание и даже «человеческие» общественные отношения. Здесь взаимосвязаны знания и деятельность, теория и обыденность, наука и ненаука, дисциплины и социально-культурные феномены. Выделяя отсюда гуманитарное знание, обычно его связывают с человеком в некотором возвышенном, духовном смысле, и, прежде всего, с продуктами производства человеческого духа, откуда произошел и термин «науки о духе». К гуманитарному знанию обычно не относят знание о природе, в т. ч. о человеческой природе, о технике, о социальных связях и закономерностях, хотя многие знания находятся на границах указанных сфер и указать их точный адрес весьма затруднительно.

Первая особенность гуманитарного знания в отличие от знаний о природе обычно состоит в следующем. Гуманитарное знание говорит о том, что создано человеком на протяжении его истории, а не о том, что возникло естественным образом. О естественных образованиях говорят другие виды знания, например, естественные науки. В то же время, в отличие от технического знания, которое также обращено к человеческим творениям, гуманитарное знание относится к тем объектам, которые создавались, прежде всего, в целях самоорганизации как материальные или идеальные образования. Это государство и право, мораль и религия, искусство и язык и т. д. В таком случае гуманитарное знание содержит знание о языке и его знаках

и смыслах, например, филология, семиотика, или о Боге, например, теология. Гуманитарное знание обычно не обслуживает предметно-инструментальную деятельность человека в отличие от технического знания, а обращено к самому человеку и его способам производства «духа». Поэтому к гуманитарному знанию относится знание о сознании и мышлении, например, психология, но не физиология высшей нервной деятельности, хотя без последней сознание и мышление невозможно. Физиология высшей нервной деятельности относится к естественнонаучному знанию, куда, впрочем, порой зачисляли и те разделы психологии, которые использовали экспериментальные техники.

Но при таком подходе возникает ряд трудностей.

Во-первых, неопределенный термин «дух» допускает различные толкования, ведь сюда можно отнести, кроме гуманитарного, и технического, и естественнонаучного знания, которые также являются результатом духовной деятельности.

Во-вторых, существование такого объекта, как Бог, основывается на вере и может быть оспорено. Но даже если это не отрицается, включение данного «объекта» в один классификационный ряд с материальным государством или идеальной эстетической нормой весьма сомнительно.

В-третьих, технический и гуманитарный виды знания тесно связаны, настолько тесно, что порой провести разграничительную линию невозможно. Их взаимосвязь усиливается с развитием техники и новых технологий. Современная технологическая ситуация во многом заставляет по-иному взглянуть на традиционный подход к соотношению и даже противопоставлению техники и искусства. Если по старинке рассматривать технику лишь как инструментальные средства, необходимые, в частности, художнику-творцу для создания его произведения, то упустим из виду целый комплекс проблем, характерных именно для нашего времени. Ведь само понимание искусства претерпевает изменения вследствие того, что новые технологии, начиная с фотографии и кинематографа и вплоть до современной компьютерной графики, диктуют новые условия рассмотрения подобной взаимосвязи.

На заре развития кино Анри Бергсон подверг критике «кинематографический метод», якобы вводящий подмену реального проживания жизни, «естественного» ее образа, механическим монтажным

суррогатом.¹ Сходные мотивы обнаруживаются в размышлениях Поля Вирилио в отношении телевидения. Последнее, по его мнению, разрушает реальность, подменяя ее симулятивными телесобытиями, которые в информационном мире современного человека оказываются более катастрофичными, чем реальные катастрофы, а сама реальность принципиально не отличается от своего механически воспроизведенного эквивалента.² Как бы там ни было, но многие аспекты кинематографии и телевидения, хотя и содержат чисто технические аспекты, находящиеся в ведении технических наук, включаются в сферу духовного производства и изучаются гуманитарными науками. Очевидно, что возникновение фотографии, кино, телевидения повлекло пересмотр многих традиционных представлений об искусстве, авторе, шедевре и, наконец, о «мимесисе» как одном из ключевых и вполне конкретных оснований искусства вообще.³

Если пытаться установить жесткие границы различных сфер знания, то возникновение многих технических новинок или достижений науки и искусства надо признать чудом, счастливой случайностью и т. п. Однако если выйти на социокультурный контекст исследуемых событий того времени, когда указанных границ еще не было, или учесть повседневную жизнь изобретателей с разнообразными влияниями, то чудо перестает быть таковым. Знаменитый историк школы «Анналов» Люсьен Февр обращает внимание на то, что за два столетия до изобретения телескопа оптика уже была достаточно развита, чтобы, руководствуясь теорией, отыскать такое сочетание и расположение линз, что из них получился бы прибор, известный нам как телескоп.⁴ Если следовать логике историографического описания технических открытий и не выходить за рамки технического знания, то получается, что новое техническое изобретение есть накопление и почти случайное совпадение разных типов технического знания. Однако это не так. Такие изобретения, как фотография и кино, вполне могли бы появиться и раньше. В принципе все было готово для подобных изобретений за несколько столетий до их официального

1 Бергсон А. Собр. соч.: в 5 т. – Т. 1. Творческая эволюция. – Гл. IV. – СПб.: Изд-во М. И. Семенова, 1913. – 332 с.

2 Вирильо П. Бог, кибервойна и ТВ // Комментарии. – 1995. – № 6. – С. 208–219.

3 Розин В. М. Философия техники: учеб. пособие для вузов. – М.: NOTA BENE, 2001. – 366 с.

4 Февр Л. Бои за историю. – М.: Наука, 1991. – С. 373.

рождения. Р. Арнхейм обращает внимание на то, что фотография получилась из якобы случайного совмещения знаний о химических реактивах со знанием камеры-обскура. Однако именно случайность совпадения этих давних знаний, приведшая к открытию фотографии, ставится им под сомнение. По его мнению, фотография появилась тогда, когда она смогла стать помощником в развитии реалистического стиля в искусстве, привнеся характерное чисто механическое навязывание проективного образа физического мира.¹ Если это так, то гуманитарное знание как минимум иногда является необходимым компонентом технических свершений. Следовательно, без гуманитарных наук невозможно адекватное представление истории техники, а жестко различить в последней гуманитарное и техническое знание вряд ли возможно.

У древних греков техника (*techne*) была связана не только с ремесленным мастерством, но и с высоким искусством, отдельная вещь – ремесленное и художественное произведение, продукт *techne*, особенно, если она связана с «эпистемэ». У Леонардо да Винчи живописное полотно и техническое изобретение были однопорядковыми вещами. Лишь начиная с Галилея постепенно преодолевается универсализм Возрождения. Философия, наука, искусство и техника обретают собственные ниши. Трудно сказать, какая дисциплина оказала большее влияние на другую: техника на искусство, философия на науку и т. п. Важно, что произошло такое изменение, которое превратило, говоря словами Хайдеггера, мир в картину², а человечество вступило в эпоху разделения и противопоставления субъекта и объекта. Существенно также, что различные сферы знания стали писать собственные картины, число которых быстро увеличивалось в ходе дифференциации знания, а интеграционные тенденции, не уменьшая числа картин, порой лишь размывали границы между ними.

В свете вышесказанного точное определение гуманитарного знания представляется весьма проблематичным, как и проведение жестких ограничительных линий. Тем не менее очевидно, что это знание не о внешнем мире, мире природы, а о внутреннем мире человека, который некоторым образом выражен в языке, человеческих отношениях, материальных предметах, где зафиксирован социокультурный смысл, т. е. оно охватывает пространство человеческих

1 Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М.: Прометей, 1994. – С. 145.

2 Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 232.

значений, ценностей, смыслов, возникающих при творении и усвоении культуры. Поскольку гуманитарное знание не описывает природу, технику, общество, то в нем они представлены не натуралистически, не вещно, а ценностно-духовно-смысловым образом, что требует, прежде всего, понимания, истолкования. В этом плане любой природный объект, вовлеченный в социокультурную деятельность, наделяется ценностно-смысловой сущностью и приобретает гуманитарное измерение, что может стать предметом изучения гуманитаристики.

В общем виде гуманитарное знание – это знание о внутреннем мире человека, выраженном в материальных и идеальных культурных образованиях, наделенных человеческими значениями, ценностями, смыслами.

Гуманитарные и негуманитарные науки. Гуманитаристика. Уяснение специфики гуманитарного знания и гуманитарных наук предполагает, как минимум, три пути. Первый состоит в демонстрации того факта, что основные особенности развитых отраслей естественнонаучного знания и оснований этих наук распространяются и на гуманитарные науки, следовательно, последние в целом не хуже первых, а если еще немного разовьются, то совсем догонят вырвавшиеся вперед математизированные дисциплины. Однако этот путь в качестве неявной предпосылки содержит тезис о преимуществах естественных наук по ряду параметров, среди которых в первую очередь выделяют применение логико-математических формализмов и количественных методов. Применение количественных методов в естественных науках действительно больше распространено, чем применение там качественных методов. Но почему следует считать, что это должно обязательно и повсеместно срабатывать в гуманитарных науках? Не могут ли качественные методы в гуманитарной сфере, связанные с теми или иными интерпретациями, дать лучшие результаты, чем количественные? Положительный ответ на этот вопрос сегодня уже не кажется неожиданным. Тем более, что качественные методы имеют высокий общенаучный статус, в т. ч. за пределами гуманитаристики. В математике, например, существует качественная теория дифференциальных уравнений, заложенная трудами А. М. Ляпунова, или качественные методы в вариационных задачах, разработанные Л. А. Люстерником и Л. Г. Шнирельманом. Хотя качественные методы в математике и в гуманитаристике – весьма разные

вещи, тем не менее очевидно, что количественные методы априори не должны иметь ценностное предпочтение.

Второй путь заключается в демонстрации преимуществ гуманитарных наук, т. е. демонстрации того, чего не могут в принципе естественные науки. Например, мера значимости любого великого открытия естествознания не может быть исчислена количественно. Невозможно количественно вычислить отношения между идеями, более того, только гуманитарные науки и именно за счет качественного анализа могут взглянуть на такое открытие в широком культурном контексте, без чего открытие выглядит как необъяснимое чудо. Гуманитарный подход позволяет выявить то, что недоступно естественнонаучному знанию: родство и взаимное влияние идей из разных областей знания или неосознаваемую нарративную лингвистическую основу естественнонаучных текстов. Например, только гуманитарные методы могли выявить тождественность ньютоновского представления физических объектов и представления его современника и соотечественника философа Джона Локка о людях как о социальных объектах. Вряд ли найдется естественнонаучное объяснение такому феномену, как метафоры, а без них невозможно производство и понимание нового знания, в т. ч. и естественнонаучного, особенно когда необходимо вписать новое знание в имеющиеся представления. В то же время недостатком такого пути является противопоставление естественнонаучного и гуманитарного знания, выталкивающего гуманитаристику за пределы науки.

Перспективным представляется третий путь, когда обнаруживаются различия не столько между гуманитарными и естественными науками (где можно, порой, констатировать существенную близость) и не столько между гуманитарными дисциплинами (например социологией и литературоведением), а внутри самих гуманитарных наук, по-разному ориентированных. В одних случаях они используют общенаучные стандарты (рациональности, методологии, экспликации, построения, верификации, истинности и т. д.), а в других – ориентируются на иные требования («мягкую» или «слабую» рациональность, интерпретативные средства, неопределенность собственного предмета, невозможность верификации и пр.). Для вторых главное – по-новому высветить свой предмет, а не дать его завершенное истинное знание. Последний подход не предполагает противопоставления

гуманитарных и естественных наук и ближе к реальной исследовательской практике в гуманитарной сфере.

В настоящее время принято разделение существующего знания на несколько сфер в зависимости от описываемых объектов и (или) применяемых методов: естественнонаучное, техническое, гуманитарное, обыденное, религиозное и другие совокупности знания. Причем религиозное знание иногда включают в гуманитарное. Возможно разделение по иным основаниям: научное, ненаучное, околонучное, антинучное и т. п.

Значительная часть вненаучного знания нередко зачисляется в разряд гуманитарного знания и находится в неоднозначном отношении к гуманитарным наукам. Это касается теологии, парапсихологии, некоторых разделов астрологии, мистических практик и т. п. Дело в том, что научное гуманитарное знание не может охватить всей духовной сферы. Кроме того, как всякое научное знание, оно является знанием средней степени общности, за исключением философии, которую, впрочем, редко зачисляют в разряд наук. Между тем в человеке неискоренима потребность в знании всеобщих, предельных, абсолютных начал человеческого духа или наиболее общих характеристик духовного универсума, как и бытия вообще. В теоретически-рациональной форме это сфера философского познания, но в прошлом, а нередко и сейчас там же лежит область поисков религиозно-теологических или спекулятивно-мистических форм мысли. С другой стороны, человеку необходимо знание об индивидуальных проявлениях человеческого духа, например, о творческих порывах, интуитивном или мистическом озарении. Как отмечал Гёте, для художника подлинное творчество начинается как «прорыв к наиболее высокому и трудному в искусстве, к постижению индивидуального»¹. Здесь располагается область художественного познания, исторического и гуманитарного понимания. Многое и в этой области существенно отличается от общепринятых в науке методов и норм познания. Следовательно, необходимы четкие критерии, как отличать гуманитарное знание от негуманитарного, гуманитарные науки от гуманитарного знания и выделять специфику гуманитарных теорий внутри гуманитарных наук.

1 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.: Худож. лит., 1981. – С. 84.

Если существует научное гуманитарное знание, то, очевидно, можно говорить и о ненаучном (внеаучном) гуманитарном знании. Сфере последнего не следует придавать негативный ценностный оттенок. Последний имел распространение в тот период, когда успехи науки давали повод говорить о научном знании как высшей, а порой и единственной его форме. На рубеже XX и XXI вв. ситуация изменилась, и внеаучное знание повысило свой ценностный статус.

Внеаучное знание, как и знание научное, не является намеренным обманом или досужей выдумкой, оно производится в определенных интеллектуальных сообществах в соответствии с существующими в них традициями, нормами и идеалами познания, опирается на определенные источники познания, хотя и не признаваемые наукой. Способы производства и распространения внеаучного знания существенно отличаются от принятых в науке. В то же время научное сообщество не является единственным видом познавательного сообщества.¹

Некоторые авторы различают три вида внеаучного знания: паранормальное, псевдонаучное и девиантное. К паранормальному (от греч. пара – около, при) относят учения о тайных природных и психических силах и отношениях, скрывающихся за обычными явлениями. Это область мистических учений, спиритуализма, где, отдавшись мистическому созерцанию как высшей познавательной способности, можно, как кажется адептам, проникнуть в таинственные связи мира. Сторонники псевдонаук подчеркивают свое стремление пользоваться научным методом, но их деятельность осуществляется за гранью традиционной науки, как например, уфология или астрология. Девиантное знание выходит за рамки принятых в то или иное время в науке парадигм и отклоняется от существующих методологических и мировоззренческих норм и эталонов, разделяемых большинством членов научного сообщества. Девиантные направления могут закончиться созданием признанной научной программы или же угасанием подобного направления, которое держится в основном на убежденности его создателей.²

Такую классификацию лишь в первом приближении можно назвать работающей и не только потому, что ее основания размыты. Хотя нетрудно привести примеры из области гуманитаристики

1 Филатов В. П. Научное познание и мир человека. – М.: Политиздат, 1989. – С. 158.

2 Там же. – С. 161.

относительно паранормальных, псевдонаучных, девиантных знаний, но многое из гуманитарной сферы останется вне такой классификации. Это касается, например, философии, которая, не будучи наукой, не может быть названа ни паранормальным, ни девиантным, ни псевдонаучным знанием. Назвать теологию псевдонаукой также будет ценностно неточно, хотя это явно не наука. Идеология или мифотворчество, хотя и могут использовать научные разработки, выполняют не связанные с наукой функции. В принципе различение науки и ненауки в естествознании достаточно оправдано и отработано. Но в гуманитарной сфере не все так ясно, в частности, и потому, что термин «ненаука» несет в себе явный или неявный ценностный негатив, особенно если учитывать высокий статус науки. Вообще в гуманитаристике есть огромный спектр важных дисциплин, которые не претендуют на то, чтобы быть наукой, но имеют огромное значение и для гуманитаристики, и вообще для функционирования общества. В частности, речь идет о литературной (теле-, кино- и т. п.) критике. Она принадлежит относительно свободной сфере общественного мнения, в ней сильнее проявляется индивидуальное начало, субъективное мнение, оригинальный взгляд. Критика выступает вольным интерпретатором текста, своеобразной отраслью исследовательской деятельности. По-видимому, критика следует считать разновидностью писателя, а не ученого, хотя он нередко пользуется достижениями литературоведческой науки, но делает это не в интересах науки, а в интересах общественной борьбы, обращаясь к широкой публике, во многом формируя общественное мнение.¹ По всей вероятности, проведение разграничительных линий между наукой и ненаукой (псевдонаукой, антинаукой) в гуманитаристике требует большей осторожности, чем в естествознании, с учетом, в частности, ценностной специфики вышеназванных терминов. Тем не менее, очевидно, что литературная критика никогда не станет наукой, в отличие, например, от литературного комментария при всей субъективности последнего.

Иными словами, можно вычленив огромную область венаучного гуманитарного знания с разной степенью удаленности от науки ее отдельных составляющих. При всей неопределенности разграничительных линий и возможным перемещением с течением времени

1 Зенкин С. Н. Введение в литературоведение: теория литературы. – М.: РГГУ, 2000. – 86 с.

отдельных компонентов нетрудно констатировать такие области, которые никогда не выйдут за свои границы.

Некоторые признаки тех или иных видов знания сформировались при изучении научно-теоретического знания и затем были распространены на иные сферы знания. Например, в обыденном знании по аналогии с соответствующими теориями или специфическими объяснительными моделями можно различать элементы разных видов знания: естественного (о сторонах горизонта, например), технического (как починить утюг), религиозного (все создано Богом), лингвистического (как правильно пользоваться языком), нравственного (что такое хорошо, а что такое плохо). Другие признаки выявляются при сравнении различных видов знания в зависимости от описываемых ими объектов, применения специальных подходов и др.

К области научного знания причисляют только естественнонаучное, техническое, гуманитарное знание как элемент естественных, технических и гуманитарных наук, и прежде всего, соответствующее узкому пониманию термина «знание». Порой термину «гуманитарные науки» предпочитают термин «социально-гуманитарные» (раньше говорили – «общественные науки»). Но чаще гуманитарные науки отличают от социальных, выделяя последние в самостоятельную область.

Термин «наука» применительно к гуманитарному знанию и в прошлые времена, и в нынешней литературе часто вызывал протест, особенно когда не соблюдаются так называемые жесткие критерии рациональности или знание толкуется расширительно. В последнем случае можно воспользоваться относительно нейтральным термином «гуманитаристика», куда войдет все гуманитарное знание, независимо от признания его научного или вненаучного статуса. Это гуманитаристика в широком смысле слова.

Возможно, имеет смысл отнесение политологии, социологии, культурологии и других наук, имеющих дело с человеком и его овеществленными, опредмеченными продуктами духа, к социальным и социально-гуманитарным наукам, а к гуманитарным – те дисциплины, которые имеют дело преимущественно с текстами. Однако внутри гуманитарных наук все равно придется вычленять те дисциплины, теории, подходы, которые ориентируются на общенаучные идеалы и нормы. В остаток выпадет то, что можно отнести к гуманитаристике в узком смысле слова: ориентацию на индивидуальное,

а не всеобщее, на свободу, а не необходимость и т. п. Обоснование рациональности и научности этого остатка (гуманитаристики в узком смысле) представляется важной задачей.

Наличие в науке таких стандартизирующих понятий, как рациональность, закономерность, необходимость, объективность и т. д., требует выявления их места в гуманитарной сфере. Не должен удивлять тот факт, что не всякие рассуждения о человеческом духе относятся к гуманитарным наукам, как и не всякие рассуждения о природе входят в сферу естественных наук. Некоторые авторы, пытаясь внести терминологическую ясность в эти вопросы, относят к гуманитаристике ту часть знания о человеке, которая остается после вычета «необходимости», которую изучают социология, политология, культурология. Остается человеческая свобода, которая, якобы и составит область гуманитаристики.¹ Однако все же предпочтительнее, как минимум интуитивно, термин «гуманитаристика» связывать со всей сферой гуманитарного знания, выделяя там особую сферу гуманитарной науки. Тем более, что вряд ли осуществим разрыв категорий «свобода» и «необходимость», «закономерность» и «случайность» и др.

Сфера гуманитарного знания и гуманитарных наук не обладает такой целостностью, как естествознание, при всей сложности последнего. Но это не вечная слабость гуманитарного знания, а скорее свидетельство неимоверной сложности и многообразия его объектов и, возможно, предстоящей дифференциации. Например, область исторического знания и исторических наук настолько своеобразна, имеет такое количество прикладных направлений, как никакая другая сфера науки. То же касается психологии, в которой различают естественнонаучную, гуманитарную, социальную сферы. Хотя нарратология в некотором смысле связывает гуманитарные и не только гуманитарные исследования, но и она обещает вырасти в огромную самостоятельную сферу знания.

Таким образом, можно констатировать следующее.

1. Гуманитарное знание – это знание о внутреннем мире человека, выраженном в материальных и идеальных культурных образованиях. Это сфера гуманитаристики (в широком смысле).

1 Межуев В. М. Необходим поиск новой парадигмы гуманитарного знания. – Режим доступа: http://www.lihachev.ru/chten/1999_izbrannoe/5477/mezhuev/.

2. В рамках гуманитаристики имеет смысл в первом приближении различать две крупные сферы знания: 1) гуманитарные науки, ориентирующиеся на те или иные требования научности и рациональности, 2) огромную область вненаучного гуманитарного знания с разной степенью удаленности от науки ее отдельных составляющих (гуманитаристика в узком смысле).

3. Гуманитарные науки как науки ограничивают сферу гуманитаристики знанием в узком смысле. Однако это лишь одна из тенденций гуманитарных наук. Вторая – расширение и ослабление жестких требований научности за счет учета субъективного, единичного, уникального.

4. Наиболее предпочтительным подходом к выявлению научного статуса гуманитаристики представляется тот, при котором обнаруживаются различия не столько между гуманитарными и естественными науками, сколько внутри самих гуманитарных наук.

1.3. ОБЪЕКТЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Исследователи, явно и интуитивно ощущая специфику объектов гуманитарного знания, часто отмечали их отличительные особенности: уникальность, сложность, изменчивость, активность.

Уникальны ли объекты гуманитарного знания. Весьма распространена точка зрения, что гуманитарные науки в большей степени ориентируются на уникальные объекты, такие как отдельные личности или художественные произведения, в то время как человека, в особенности его природные качества, без которых невозможна уникальная личность, изучают естественные науки, например биология. «Каждый объект, будучи повторимым в самых разных своих деталях, уникален как единство смысла во всей своей полноте и в любых тонкостях его материального воплощения в чувственно воспринимаемой форме».¹

В таких случаях нередко смешивают уникальное с единичным. Между тем различать эти понятия весьма важно. Гуманитаристика часто интересуется именно единичным, в то время как уникальность не является специфической особенностью ее объектов. Единичное

1 Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет». О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках // Вопр. языкознания. – 2005. – № 1. – С. 61.

соотносится с общим и предполагает деление объема понятия, подразумевая родовидовые отношения. На этом основании в свое время различались идеографические и номотетические методы, подходы, науки. Идеографические, описательные, науки, ограничивающиеся изучением единичных событий и фактов, отличались от номотетических, обобщающих и законоустанавливающих.¹ При всей ограниченности такого подхода нельзя не отметить его рациональное зерно: единичное может быть особой целью специфического научного исследования, что в значительной степени свойственно именно гуманитаристике.

Уникальные природные и технические объекты весьма широко представлены за пределами гуманитарного знания. Примерами могут служить возникновение жизни на Земле или возникновение человеческого разума: ни то, ни другое не имеет аналогов в известной нам части Вселенной. Да и любой природный объект в определенном отношении уникален. «Идеальная бабочка», представляющая тот или иной вид, существует только в учебниках зоологии.² Уникальное природное явление или уникальное техническое сооружение подчинено действию природных законов и знание о них – важнейшая составляющая естественных и технических наук. Гуманитарные науки также не чужды поиску закономерностей относительно уникальных объектов. Другое дело, что они не всегда могут быть сформулированы с той строгостью, однозначностью и точностью, как это происходит в естествознании. Свойство уникальности объектов гуманитаристики до сих пор нередко используется для обоснования специфичности гуманитарных наук и их методов, что порождает многочисленные длительные дискуссии относительно научности гуманитарных наук.³ В этом вопросе сложилось немало стереотипов, одним из которых является представление об уникальности личности. Между тем не всегда понятно, что именно имеется в виду под уникальностью личности. Преодолению подобных стереотипов

1 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. – 374 с.

2 Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии/К. Лоренц // Обратная сторона зеркала. – М.: Республика, 1998. – С. 191.

3 Гладкий А. В. О точных методах в гуманитарных науках // Тр. VII Междунар. конф. «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO '08. Москва, 28–31 янв. 2008 г. Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН. – М.: Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2008. – С. 2042–2056.

могут способствовать системные представления в рамках параметрической теории систем, где, в частности, различаются дескрипторы: концепт системы (принцип построения системы), структура (отношения, выполняющиеся на некотором субстрате или его свойства), субстрат (материал) системы. Соответственно, можно различать системы, уникальные по одному из дескрипторов, например по субстрату, но неуникальные по структуре или концепту, или уникальные по двум, или по всем трем параметрам.¹ Типы уникальности можно различать относительно любых систем: природных, социальных, культурных.

Именно неуникальность человека, как минимум по субстрату и структуре, имел в виду русский философ Николай Федоров, когда мечтал о воссоздании всех людей, живших на Земле: человек «будет сам воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул ... будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы и быть в гостях... во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких».²

Сложны ли объекты гуманитарного знания. Объекты гуманитарного знания часто считаются более сложными, чем природные или технические, поэтому требуют для себя разнородные исторические, юридические, религиозные, литературные, психологические и другие данные. Эта почти единодушно признаваемая точка зрения требует уточнения, ведь не совсем понятно, что такое «сложность» и как ее измерить. Во всяком случае, общепринятого определения понятия «сложность» нет. С одной стороны, сложность, как и простота, объективно присуща объектам, если иметь в виду, что эволюция закономерно ведет к усложнению и увеличению разнообразия объектов и их свойств. С другой стороны, степень сложности во многом задается познавательными целями субъекта. Ведь любой исследуемый объект, не говоря уже о предмете, который выделен в нем соответствующей изучающей его дисциплиной, очерчен исследовательскими целями, методами, теориями и т. д. В этом смысле иногда говорят о творении миров человеком. «Хотя я не знаю, что имеется в виду, когда говорят, что этот мир является простым или сложным,

1 Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев. – Wydawnictwo «Universitas Rediviva», 2001. – С. 63.

2 Федоров Н. Ф. Супраморализм, или Всеобщий синтез. – Режим доступа: http://nffedorov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=245.

я имею некоторое представление, что имеется в виду, когда говорят, что среди многих миров, если они вообще есть, есть простые и сложные, бесхитростные и изобретательные, а также прозаические и поэтические».¹ «Мы делаем звезды, как мы делаем созвездия, складывая их части вместе и отмечая их границы. Короче говоря, мы не делаем звезды, как мы делаем кирпичи; не всякое созидание требует месить глину. Создание миров, рассматриваемое здесь главным образом, производится не руками, а умами, или скорее языками или другими символическими системами».²

Классическая наука, исходя в основном из интуитивных представлений, довольно четко разграничивала то, что считалось простым, и то, что рассматривалось как сложное. Но априори у нас нет способов судить о том, что просто и что сложно.³ В принципе любой объект или любая система может оказаться очень сложной или очень простой. «Подобно тому, как неожиданная сложность возникает в вынужденных колебаниях маятника, неожиданная простота обнаруживается в ситуациях, которые складываются под влиянием совместного действия множества факторов».⁴ Причем важно отметить, что состояние исследуемого явления, характеризуемое как сложное, не всегда ему присуще, оно возникает при некоторых обстоятельствах, но определить заранее сложность поведения, как правило, невозможно. Особенно если речь идет о неустойчивых объектах, обычно описываемых синергетическими терминами «диссипативные структуры», «флуктуация», «нелинейность», «самоорганизация», «порядок и хаос» и др. Примечательно, что из описания начальных условий невозможно причинно вывести последующее состояние такого самоорганизующегося объекта, т. к. изменения в нем нарастают лавинообразно. Подобные объекты, не допускающие «грубого или операционального описания в терминах детерминистских причинностей»⁵, называются в синергетике сложными. «Сложность означает не только нелинейность, но и огромное число элементов

1 Гудмен Н. О создании звезд/Н. Гудмен // Способы создания миров. – М.: Идея-пресс – Праксис, 2001. – 326 с. – Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/goodman/STAR_R.htm.

2 Там же.

3 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М.: Прогресс, 1994. – С. 45.

4 Там же. – С. 89.

5 Там же. – С. 81.

с большим числом степеней свободы. Все макроскопические системы, такие как камни или планеты, облака или жидкости, растения или животные, популяции животных организмов или человеческие общества, состоят из элементов или компонентов (таких как атомы, молекулы клетки или организмы). Поведение отдельных элементов в сложных системах с огромным числом степеней свободы не может быть ни предсказано, ни прослежено в прошлом. Детерминистическое описание отдельных элементов может быть заменено эволюцией распределений вероятности».¹

Как полагает К. Майнцер, многие объекты гуманитаристики можно представить в синергетических терминах. «Речь идет о междисциплинарной методологии для объяснения процесса возникновения некоторых макроскопических явлений в результате нелинейных взаимодействий микроскопических элементов в сложных системах. Макроскопические явления могут быть различными видами световых волн, жидкостей, облаков, химических волн, растений, животных, популяций, рынков, ансамблей мозговых клеток, характеризующимися параметрами порядка. Они не сводятся к микроскопическому уровню атомов, молекул, клеток, организмов и т. д. сложных систем. В действительности они представляют собой свойства реальных макроскопических систем, таких как потенциалы поля, социальные или экономические силы, чувства или даже мысли».² В таких случаях гуманитарные объекты по своей сложности сопоставимы с естественнонаучными объектами. Это свидетельствует о том, что в ряде областей гуманитаристики различие между гуманитарными и естественнонаучными объектами несущественно.

Из предполагаемой сложности объектов гуманитарного знания порой делают вывод, что гуманитарные науки более междисциплинарны, чем естественные. Например, историческая антропология, интересуясь различными сторонами жизни человека, от трудовой деятельности до религиозного экстаза, от биологических основ жизни до менталитета, вступает во взаимодействие с лингвистикой и искусствоведением, историей литературы, права, науки и техники, социологией и психологией, а также со многими естественными науками от географии до биологии. Однако для современной науки

1 Майнцер К. Сложность и самоорганизация. Возникновение новой науки и культуры на рубеже веков. – Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/Man.htm>.

2 Там же.

междисциплинарность становится нормой независимо от дисциплинарной прописки. Современная наука во многом перестает быть объектной, она становится проблемной в том плане, что проблема все чаще возникает на стыке различных дисциплин, поэтому многие дисциплины приобретают междисциплинарный характер. Все это порождает значительные познавательные и методологические трудности. Некоторые надежды на их преодоление подает синергетика. «Синергетику, по-видимому, можно рассматривать как стратегию, позволяющую успешно справиться со сложными системами даже в гуманитарных областях знания. Ясно, что для междисциплинарного применения синергетики совершенно не обязательно сводить историю культуры к биологической эволюции. В отличие от любого редукционистского варианта натурализма и физикализма мы признаем характерные интенциональные особенности человеческих обществ. Таким образом, подход с позиции теории сложных систем оказывается методом, позволяющим восполнить разрыв между естественными и гуманитарными науками, который был подвергнут критике в «Двух культурах» Сноу».¹

В то же время не все объекты гуманитаристики являются синергетическими и их приходится изучать обычными классическими способами. В таких случаях к гуманитарному знанию не всегда хорошо применимы точные количественные и качественные методы, например, математические, главным образом из-за обычной «линейной» сложности объектов гуманитарного знания, а, возможно, также из-за того, что в недрах гуманитарного знания еще не выработаны те абстрактные формы, которые могут быть обработаны математическими методами.²

Ответ на вопрос о том, какие объекты сложнее или проще, требует измерения простоты-сложности. Эффективный способ предлагает системная модель. Такая модель, как и в случае с уникальностью, предполагает выделение трех аспектов системного рассмотрения (системных дескрипторов): концепт, структура и субстрат. Эти дескрипторы могут быть соотнесены друг с другом. Например, отношение структуры к субстрату дает структурную организацию системы, отношение субстрата к структуре – субстратную

1 Майнцер К. Сложность и самоорганизация. Возникновение новой науки и культуры на рубеже веков. – Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/Man.htm>.

2 Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев. – С. 11.

организацию. В соответствии с дескрипторами выделяются различные типы простоты-сложности. Наиболее существенными являются пять типов: концептуальный, структурный, субстратный, структурно-субстратный и субстратно-структурный типы простоты-сложности. Эти типы могут не соответствовать друг другу. Например, Великая Китайская стена, очень простая в структурном плане, обладает высоким значением субстратной сложности.¹ Системная модель позволяет измерять сложность как количественно, так и качественно.² Все это означает, что, во-первых, фактор сложности не является специфической характеристикой объектов гуманитарного знания, во-вторых, сложность объектов гуманитарного знания может быть измерена.

Изменчивы ли объекты гуманитарного знания. Достаточно широко распространена точка зрения о том, что объекты гуманитарного знания больше подвержены изменениям, чем, например, природные. Быстрее меняются юридические законы, моральные нормы, религиозные верования, идеалы красоты, чем горы и моря, виды растений или животных. Однако подобные сравнения не всегда корректны. Достаточно сказать, что длительность существования многих объектов микромира настолько мала, что не сравнится со многими гуманитарными феноменами. К тому же, в изменении этих феноменов гуманитарное знание пытается обнаружить такие же важные смыслы и закономерности, как и в их устойчивости. Однако особую группу изменяющихся объектов составляют специфические неустойчивые системы, впервые обнаруженные в химических соединениях И. Пригожиным. Это определенный класс систем, поведение которых чувствительно к малым возмущениям, к хаотическим флуктуациям, под влиянием которых состояние такой системы резко изменяется. Позже такие объекты были названы синергетическими. Им свойственна необратимость, что раньше являлось прерогативой гуманитарного знания. Они существуют как в естествознании, так и в гуманитаристике. С другой стороны, в изменяющихся объектах всегда обнаруживаются относительно устойчивые характеристики, что является предметом изучения науки независимо от ее ведомственной прописки.

1 Уёмов А. И. Свойства, системы, сложность // *Вопр. философии.* – 2003. – № 6. – С. 106.

2 Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. *Общая теория систем для гуманитариев.* – С. 197–209.

Активны ли объекты гуманитарного знания. Гуманитарии нередко констатировали, что объекты изучения гуманитарных наук обнаруживают особую активность в отношении знания о них и потребляющих такое знание индивидах.¹ Действительно, культура, история, язык, личность, произведения искусства, творчество, мышление и другие объекты гуманитарных наук изменяют свою природу в зависимости от того, что это знание утверждает. Знания гуманитарной науки создают для таких объектов некоторые образы, которые они принимают. А подобные образы активно воздействуют на людей, например в воспитательном плане. Особенно это характерно для прошлых исторических событий, которые во многом выглядят так, как их описывают историки, а затем изменяют свой вид в случае их переописания другими авторами. Известно, что истории рассказываются в некоторой форме, с известных позиций, в определенном контексте, из-за чего представляется далеко не вся описываемая реальность, да и то по-разному. Хотя описание событий не является исключительным изобретением рассказчиков, поскольку говорит о реальных вещах и событиях, но сами вещи и события представляются по-разному. Примером могут служить тексты в учебниках по истории, когда исторические события, действительно имевшие место, выстраиваются в контекстах развития, прогресса или наоборот – упадка, не говоря уже об идеологических интерпретациях. Слово «активность» не вполне точно отражает специфику гуманитаристики, поскольку природные объекты отнюдь не пассивны. Наблюдаемый в лаборатории живой или неживой объект при определенном воздействии может «дать сдачи», разнеся лабораторию вдребезги.² Тем не менее, подыграть экспериментатору, или, напротив, помешать ему, как это неосознанно или осознанно делают «подопытные» субъекты, природные объекты не способны.

Таким образом, уникальность, сложность, изменчивость, активность, объектов науки обнаруживаются не только в гуманитарном, но и в других видах знания, например, в естественнонаучном. Кроме того, в гуманитарных объектах можно усмотреть также черты повторяемости наряду с уникальностью, простоты наряду со сложностью, постоянства и стабильности наряду с изменчивостью, пассивности

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 285.

2 Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 7. Философия. – № 3. – 2003. – С. 20–39.

наряду с активностью. К ним применимы монодисциплинарные подходы наряду с междисциплинарными. Все это не позволяет отличать гуманитарное знание от естественнонаучного и скорее свидетельствует об их близости, чем о различии.

1.4. ТЕКСТУАЛЬНЫЕ И НЕТЕКСТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Особенности изучения текстуальных и нетекстуальных объектов. Если гуманитарное познание и его результат – гуманитарное знание имеют дело с продуктами человеческого духа, то данное предметное основание можно разделить на две группы: текстуальные и нетекстуальные объекты.

Еще Дильтей обратил внимание на некоторые особенности гуманитарного познания, дающие основания для различения текстуальных и нетекстуальных объектов гуманитарного знания. Он отмечает, что гуманитарные науки изучают, с одной стороны, исторические тексты, а с другой – живое предание. Материалом наук о духе является «исторически-социальная действительность, насколько она сохранилась в сознании человечества в виде исторических сведений и стала доступной для науки в форме общественных знаний, выходящих за пределы сиюминутной ситуации. Кроме того, сегодняшнее общество живет, так сказать, на наслоениях и обломках прошлого; отложениях прошлой работы культуры в языке и в народных предрассудках, а также в материальных изменениях, не поддающихся письменному учету, – все это составляет живое предание, которое неопенимым образом подкрепляет собой письменную традицию».¹

К нетекстуальным объектам могут быть отнесены не только материальные, вещественные, продукты культуры, но и многообразные культурные отношения и нормы, например, традиции – от бытовых до научных, или нравственные требования – от древнего табу до категорического императива и пр.

В ходе изучения объектов гуманитарного знания, особенно нетекстуальных, часто срабатывает своеобразный примитивный объективизм, когда знание заведомо считается вторичным относительно

1 Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория лит. XIX-XX вв. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 127.

объекта как в онтологическом, так и в гносеологическом смысле. Например, сначала якобы возникают нравственные нормы, а затем их обобщение и изучение в этике. Обычные представления здравого смысла на сей счет четко зафиксировал известный лингвист Х. И. Ульдалль: «В нашей повседневной жизни мы привыкли рассматривать все явления с трех самостоятельных и разных точек зрения: «вещь» существует, у нее есть определенные качества, и она совершает определенные действия... Если бы стул не существовал, у него не могло бы быть качества прочности, а не будь у него этого качества, он не мог бы совершить действие, которое заключается в поддержании сидящего на нем человека».¹ Такому мировосприятию можно приписать роль общего онтологического принципа, особенно когда его явно или неявно применяют не только в повседневной жизни, но и в науке. Он позволяет рассматривать каждый предмет, каждую вещь или явление как нечто самостоятельное и самодостаточное, как нечто существующее само по себе в силу своей собственной внутренней природы. В таком случае мир распадается на множество вещей, каждая вещь предполагает множество элементов, каждый из таких элементов рассматривается также как вещь. Подобный подход в методологической литературе именуется элементаризмом, или редукционизмом, когда знание целого сводится к знанию его частей. Он иногда именуется предметоцентризмом.² Этот подход действует не только в обыденном сознании, но и в ряде научных дисциплин, однако в рамках гуманитарных наук он как методологический принцип далеко не всегда пригоден. О его применимости можно говорить лишь относительно небольшой группы объектов гуманитарного знания, ставших объектами внешнего человеческого опыта, т. е. сопоставимых с объектами других наук. Относительно же многих нетекстуальных, а тем более текстуальных объектов можно согласиться с утверждениями о его неадекватности. Действительно, объекты изучения гуманитарных наук во многих случаях не предзаданы, а являются продуктами человеческого духа, к тому же нередко порождены соответствующими текстами, контекстами, интерпретациями и т. п.

1 Ульдалль Х. И. Основы глоссематики // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М.: ИЛ, 1960. – С. 400.

2 Розов М. А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания: проблема методологического изоморфизма // Науковедение. – 2000. – № 4. – С. 145.

Общепринятого определения текста не существует, что связано, в частности, с многообразием дисциплин, делающих его своим предметом и по-разному его изучающих.¹ Разные авторы указывают на разные стороны текста: на автора, реализующего некоторый замысел, на функцию вербальной коммуникации, на завершенность, на речетворческий процесс, объективированный в письменном виде, на наличие заголовка, ряда особых единиц, типов связи (лексической, грамматической, логической, стилистической), на целенаправленность и прагматическую установку, на информационную самодостаточность, на своего адресата и пр.² Ряд авторов пытается дать обобщенное определение текста: «Любая знаковая система, которая способна быть (или в действительности есть) носителем смысловой информации и имеет языковую природу. С этой точки зрения любой объект, являющийся творением человеческого духа и имеющий знаковую природу, может быть возможным или является действительным текстом».³

Не вдаваясь в дискуссию относительно точности определения этого понятия, примем во внимание главное: текст – знаково-символическая последовательность, имеющая языковую природу и социокультурный смысл. В этом плане текстом будет преимущественно вербальная последовательность, хотя в качестве текста можно представить и разнообразные невербальные культурные феномены вплоть до материальных культурных артефактов, технических сооружений, ценностей или норм. Но для этого потребуются специальные мыслительные операции, допущения, например о том, в каком смысле можно их считать знаковой последовательностью, в каком смысле можно говорить об авторе и пр. В ряде случаев это оправдано целями исследования. В то же время природные явления сами по себе текстами не являются, хотя в метафорическом смысле природу порой и сейчас называют книгой. Галилей в свое время раз-

- 1 Валгина Н. С. Теория текста: учеб. пособие // <http://hi-edu.ru/e-books/xbook029/01/part-001.htm>; Бахтин М. М. Проблема текста <Заметки 1959–1961 гг.>/М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – С. 297–325, 421–423 (прим.); Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста/Ю. М. Лотман // Избр. ст.: в 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 130; Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика: в 2 т. – Т. 1. – М., 2001. – С. 72–81.
- 2 Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения. – С. 72–81.
- 3 Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – Гл. 3. Методологические проблемы гуманитарных наук. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – С. 127.

личал две книги, созданные Творцом: Библию и природу, в каждой из которых обнаруживается Божественный замысел, следовательно, изучение природы так же важно, как и изучение Библии. Такая идея помогала защитить науку и поднять ее авторитет. Люди античной эпохи также «читали» природу, например, гром и молнию как знак гнева Зевса. Но обожествление и антропоморфизация природы, собственно, и есть наделение ее социокультурным смыслом. Выявление последнего – одна из задач гуманитарного научного исследования, например, изучения текстов Галилея или мифов.

Хотя в некотором отношении любой объект гуманитаристики можно представить как текст, это вовсе не обязательно: нетекстуальное можно изучать самостоятельно. Нетекстуальные объекты подразделяют на материальные, вещественные, с одной стороны, и идеальные: традиции, нормы, ценности и пр. – с другой. Но продукты человеческого духа во многом уже есть результат познания, хотя нередко и частного, поскольку овеществление и опредмечивание не только рациональный акт. Отсюда вытекают две проблемы. Во-первых, как осуществляется познание внерационального аспекта воплощенного духа, например, место психоаналитических концепций в литературоведении или политологии. Во-вторых, в каком смысле можно говорить о познании эксплицированных продуктов духа, т. е. о познании познанного. И вообще, правомерно ли говорить об особом гуманитарном познании. Эти и другие проблемы были камнем преткновения при выделении гуманитарных знаний в самостоятельную сферу и обосновании их научного статуса.

Многие исследователи усматривают основную особенность гуманитарных дисциплин в том, что текст надо читать и понимать, иными словами, входить внутрь текста, чтобы понять стоящего за ним человека. По поводу данного своеобразия гуманитарного знания М. М. Бахтин писал: «Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), т. е. создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.)».¹ Между прочим, именно данное обстоятельство позволяет относить гуманитарные науки к особой группе наук понимающих, противопоставляя

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – С. 285.

их наукам объясняющим, к числу которых относятся все разделы естествознания.

С возникновением «наук о духе» именно текст как главная сфера воплощения человеческого духа стал основным объектом социокультурной реальности, который подлежал изучению. Хотя И. Гердер, которому обычно отдают первенство в выделении гуманитарных наук, акцентировал внимание на истории народов и культур как сфере воплощения человеческого духа, уже Ф. Шлейермахер, В. Дильтей и их последователи рассматривали текст как воплощение человеческого творческого духа. Поэтому центральной задачей герменевтики Шлейермахера стала идентификация исследователя текста с уникальным духом, запечатленным в тексте, и с историческим контекстом. Дильтей больше внимания уделял специфике метода наук о духе, но основополагающее значение текста им явно подразумевалось.

Проникнуть в мыслительный процесс иначе как через соответствующий текст невозможно. Правда, человеческие идеи, цели, замыслы воплощены не только в письменных источниках, т. е. текстах в буквальном смысле слова. Они существуют и в различных вещественных и невещественных формах, образующих материальную и нематериальную культуру и социокультурные идеалы и нормы. Для описания, объяснения, понимания подобных нетекстуальных объектов созданы разнообразные способы и средства гуманитарных научных дисциплин: исторические, психологические, культурологические, социологические и т. д., не всегда предполагающие их обязательное текстуальное прочтение. В то же время понять такие объекты можно также и «читая» их как тексты. Это касается и поведения человека. В этом плане тексты не без оснований считают универсальным результатом различных видов мыслительной и практической деятельности человека. Поэтому гуманитарное знание, особенно научное, относительно указанных текстов воплощается в образных и теоретических представлениях, которыми являются, например, специфические идеальные объекты, онтологические схемы, понятия. Они описывают, объясняют, осмысливают, интерпретируют подобные тексты. В свою очередь, важным условием этого является адекватное (иногда и неадекватное) понимание таких текстов. Однако от исследователей порой ускользают два обстоятельства: 1) текст, имея собственную структуру, правила и законы организации и вообще

«собственную жизнь», может радикально изменить представленный в нем объект, так что изучается порой собственно текст, а не объект, следовательно, текстуальное прочтение не всегда эффективно; 2) гуманитарные объекты, особенно нетекстуальные, несут на себе отпечаток не только рациональной, осознанной, отрефлексированной деятельности, но и внерационального содержания «духа», рационализация которых представляет немалые трудности.

Особенности гуманитарного знания как знания о текстах.

Вычленение текста как объекта гуманитарного знания предполагает ряд особенностей данного вида знания, отмечаемых рядом исследователей.¹

Во-первых, это такие области применения знаний, которые позволяют понять иную культуру или другого человека, личность художника, ученого, политика и т. д., объяснить определенный культурный или духовный феномен, внести новый смысл в ту или иную область деятельности. Во всех этих и сходных с ними случаях гуманитарное знание ориентируется на соответствующие тексты и на особые порождающие данные тексты и порождаемые ими виды деятельности, которые называют гуманитарными: литературную критику, художественное творчество, образование, самообразование и т. д.

Во-вторых, это характеристика гуманитарных наук как рефлексивных, дающих знания о самих знаниях, воплощенных в текстах: мысли о мыслях, тексты о текстах, в то время как знания естественных наук рассматриваются как объективные, фиксирующие вечные законы природы. К этому важно добавить следующее. В естественных науках ученые также занимаются рефлексивной деятельностью по поводу научного знания. Рефлексивность не зависит от ведомственной принадлежности научного знания. Но часто рефлексия сопряжена с особой сферой деятельности, а именно – методологической. Она, хотя часто вплетается в ткань конкретной научной деятельности, в принципе относится к сфере методологии науки, т. е. к гуманитарным дисциплинам. Следовательно, деятельность ученого-естественника в этом плане нередко включает гуманитарную составляющую. Такая деятельность породила немало методологических текстов, помимо специальных философских размышлений методологического характера. Указанная литература написана не только профессиональными философами, но и выдающимися учеными-негуманитариями:

1 Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/iphras/library/filtech.html>.

А. Эйнштейном, Н. Бором, Г. Гейзенбергом и др., производившими как философский, так и специально-методологический анализ.

В-третьих, это выявление отличий гуманитарных от негуманитарных видов знания, например, естественнонаучных, технических, которые направлены не на текст, а непосредственно на соответствующие объекты: природные, технические и т. д.

В-четвертых, это фиксация опосредующей роли текста, которая чаще всего имеет определяющее значение для понимания того, что находится за текстом.

В то же время изучение гуманитарных объектов как текстов поставило ряд вопросов, среди которых и такой: существуют ли иные каналы передачи смыслов, действующие помимо текстов или наряду с ними? Он может трансформироваться в вопрос о способах представления существования в культуре гуманитарных объектов и трансляции их смыслов.

1.4.1. Способы представления бытия объектов гуманитарного знания

А) «волна», «куматоид», «социальная эстафета» как трансляторы образцов деятельности. Нетекстуальные объекты функционируют в обычном «физическом» мире, в котором физически присутствует человек и существуют объекты естественных и технических наук. Опыт и знания (эксплицированные и личностные) относительно этих объектов транслируется как осознанно, так и не вполне осознанно, в частности, по образцам деятельности. Последнее описывается в литературе с помощью понятий «волна подражания», «куматоид», «социальная эстафета». «Социальный куматоид – это некоторая «программа», в рамках которой люди осуществляют свое поведение. Простейший и базовый способ существования таких «программ» – социальная эстафета, т. е. воспроизведение тех или иных форм поведения по непосредственным «живым» образцам, воспроизведение их путем подражания. Ребенок, например, осваивая язык, не пользуется при этом ни словарями, ни грамматикой, как это может делать взрослый человек, но опирается исключительно на образцы конкретной речевой деятельности, которые ему постоянно демонстрируют все, кто его окружает».¹ А «письменный или устный текст, с помощью

1 Розов М. А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания. – С. 156.

которого мы можем зафиксировать эту программу, сам в свою очередь предполагает наличие эстафет речевой деятельности».¹

Вышеуказанные понятия являются хорошими метафорами, способными прояснить способ существования многих объектов гуманитарного знания в физическом, культурном и социальном пространствах. Например, под социальной эстафетой понимается передача опыта от человека к человеку, от поколения к поколению путем воспроизведения непосредственных образцов поведения или деятельности, возможно даже минуя процессы осмысления, распределения и пр. В таком случае многие нетекстуальные объекты гуманитарного происхождения можно представить как куматоиды (с лат. волна), когда образцы мышления, поведения и иной деятельности подхватываются новыми поколениями, распространяясь, как волны.² В частности, образовательные, воспитательные, научные, религиозные традиции распространяются именно таким образом, захватывая все новые поколения, мало изменяя или вовсе не изменяя язык общения, разделяемые идеи, здания, где происходят соответствующие процессы.

Эти же понятия хорошо описывают и способ бытия объектов гуманитарного знания, имеющих как бы двойное измерение. Ведь тексты пребывают в обычном физическом пространстве и времени, но их смыслы, образы, описываемые события и другие конструкты содержания существуют в иных мирах – в мирах соответствующих текстов, причем, независимо от физического материала данных текстов. Относительная независимость духовных и социальных явлений от материала может описываться с помощью образа волны. «Одиночная волна на поверхности водоема захватывает все новые и новые частицы воды, все время обновляясь, но оставаясь той же самой волной. Нечто аналогичное характеризует, например, и МГУ: здесь могут меняться здания, студенты, преподаватели, а университет остается университетом».³ Относительное безразличие к материалу

- 1 Розов М. А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания. – С. 156.
- 2 Розов М. А. Социум как волна: Основы концепции социальных эстафет/М. А. Розов // Феномен социальных эстафет: сб. ст. – Смоленск: Изд-во Смолен. ун-та, 2004. – С.5–35; Розов М. А. Проблема способа бытия семиотического объекта // Эпистемология и философия науки: ежекварт. журн. – 2006. – Т. VIII. – № 2. – С. 54–63.
- 3 Розов М. А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания. – С. 155.

характеризует и любой знак, например, любое слово языка. «Когда мы слышим на публичной лекции неоднократно повторяемое обращение ... «Господа!», мы ощущаем, что каждый раз это то же самое выражение. Между тем вариации в произнесении и интонации его в разных оборотах речи представляют весьма существенные различия, столь же существенные, как и те, которые в других случаях служат для различения отдельных слов...».¹

Идея подражания и связанное с этим восприятие социальных явлений как волн восходит к французскому социологу Г. Тарду, который выделял в развитии культуры «изобретения» и «подражания», объясняя при этом изобретения взаимодействием «волн подражания». «В общественном отношении все оказывается изобретениями и подражаниями; подражания – это реки, вытекающие из тех гор, что представляют собой изобретения».² Распространение новшеств путем подражания Г. Тард схематично рисует в виде концентрических кругов, расходящихся от центра. Круг подражания имеет тенденцию бесконечно расширяться, пока не наталкивается на встречную волну, исходящую от другого центра. Встречные потоки подражания вступают в единоборство, начинается «логическая дуэль» подражаний, следствием чего могут быть любые конфликты: от теоретического спора до войны.³

Понятия «куматоид» и «социальная эстафета» хорошо описывают функционирование гуманитарных объектов, в особенности, нетекстуальных, а именно: традиций, моральных норм, религиозных образов, философских понятий и других социокультурных феноменов, носителем которых является индивид. Указанные феномены во многом определяют саму жизнь индивида и способ трансляции ее образцов. «Любой социальный куматоид – это некоторая «программа», в рамках которой люди осуществляют свое поведение. Простейший и базовый способ существования таких «программ» – это социальная эстафета, т. е. воспроизведение тех или иных форм поведения по непосредственным «живым» образцам, воспроизведение их путем подражания... Такая эстафета – это простейший, элементарный социальный куматоид».⁴

1 Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – С. 140.

2 Тард Г. Законы подражания. – IV. – СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1892. – С. 3.

3 Там же. – С. 200–250.

4 Розов М. А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания. – С. 156.

Несмотря на определенную наглядность вышеприведенных понятий, остается открытым вопрос о механизме трансляции, о связи бытия и трансляции соответствующего текста со способом его создания, прочтения и понимания, которые могут не соответствовать общепринятым нормам и традициям, а определяться конкретными локальными особенностями. Иными словами, откуда берутся новые волны, куматоиды и эстафеты? Применительно к тексту: как живет конкретный текст, чем определяется его жизнь?

Представляется, что в целом данная образная система плохо применима к текстуальным объектам, поскольку они создаются осознанно, за исключением, может быть, не вполне осознанных путей трансляции некоторых норм, например, общих способов организации литературного произведения.

Б) третий мир К. Поппера, мир объективного содержания мышления. Пожалуй, наиболее известная точка зрения на способ бытия текстовых объектов гуманитарного знания принадлежит К. Попперу. Он противопоставляет субъективное и объективное, т. е. без познающего субъекта, знание. Знание, с его точки зрения, – это свойство или диспозиция текста, диспозиция, состоящая в том, что текст может быть понят. Знание рассматривается по аналогии с любым физическим свойством предмета. Какое-либо вещество, например, может быть растворимым или не растворимым в соляной кислоте. Это его потенциальность, его диспозиция существует независимо от того, будет процесс растворения когда-либо реально осуществлен или нет. Объективное знание Поппер относит к особому третьему миру, противопоставляя ему мир физических явлений и мир состояний сознания, мыслительных, ментальных состояний. Третий мир – это «мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства».¹ Говоря о независимости третьего мира, Поппер идентифицирует его с текстами, с миром книг и библиотек, уничтожив которые, мы уничтожим и цивилизацию. Идея третьего мира К. Поппера сыграла огромную роль в развитии методологических исследований. Но оставались открытыми вопросы о способе бытия смыслов объектов третьего мира, весьма существенно зависящих, например, от контекстов прочтения текстов, о структуре текстов и их влиянии на понимание описанной в них реальности и др.

1 Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – С. 440.

В) структурированная система норм. Относительно литературных произведений проблема бытия объектов гуманитарных наук рассматривается в работе Р. Уэллека и О. Уоррена «Теория литературы». Способ бытия, например, поэтического произведения они характеризуют как структурированную совокупность норм. «Поэзия должна быть рассмотрена как совокупность некоторых норм, связанных отношением структуры и лишь частично раскрывающихся в непосредственном опыте ее многочисленных читателей».¹ И далее: «Художественное произведение предстает как обладающий особой онтологической природой объект познания. Оно не является по своей природе ни чем-то существующим в самой реальной жизни (физическим, наподобие монумента), ни чем-то существующим в душевной жизни (психологическим, наподобие тех реакций, что вызываются светом или болью), ни чем-то существующим идеально (наподобие треугольника). Оно представляет собой систему норм, в которых запечатлены идеальные понятия интерсубъективного характера. Эти понятия, очевидно, существуют в совокупности общественных идей и изменяются вместе с изменениями данной совокупности; они открываются нам только через индивидуальный душевный опыт и опираются на звуковую структуру тех лингвистических единиц, из которых состоит текст произведения».²

Авторы приведенной цитаты верно фиксируют тот факт, что онтологическая природа художественного текста может быть осознана через транслируемую в культуре систему норм. По этим нормам текст, собственно, и создается. Они являются рациональными предпосылками творческого процесса, в котором переплетаются рациональное и нерациональное. В частности, через соответствующие лингвистические структуры, понятия и обычные слова в художественный текст попадает много такого, что не осмыслено и не осознано авторами. К тому же и внешне потребность в производстве художественного текста выглядит как плохо рационализуемая сила – вдохновение. Но при всем том в созданном тексте фиксируется осмысленный, осознанный социальный или индивидуальный опыт. Иными словами, создание текста можно рассматривать как рациональный процесс, подчиняющийся вполне определенным нормам, хотя и не до конца познанным. Даже если творец текста игнорирует

1 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М.: Прогресс, 1978. – С. 164.

2 Там же. – С. 170.

данные нормы, он творит по другим, как он полагает, более совершенным или адекватным замыслу, но в основном осмысленным, нормам. Выявление рациональных оснований отмеченных норм, как и рационализация внерациональных актов, является важнейшей задачей гуманитарных наук.

Г) дискурс как текст в социокультурной практике. Всякий текст погружен в некоторый социокультурный контекст, который во многом предопределяет так называемую жизнь текста. Среди понятий, позволяющих адекватно представить бытие объекта гуманитарного знания, в частности, раскрыть практику жизни текста, вычленив систему правил и требований, определяющих способ обсуждения некоторой темы, образцы постановки проблем и подхода к ним, оправдания, обоснования, связи с другими темами и пр., особую роль играет понятие «дискурс». Дискурс есть нечто гораздо большее, чем просто текст или речь, или рассуждение. Скорее, это есть текст вместе с той социальной и культурной практикой, к которой он принадлежит и которая во многом определяет жизнь текста.

В этом плане понятие дискурса открывает новые методологические возможности. В отличие от понятия текста оно не замыкает исследование на внутритекстовых структурах, а выводит во внетекстовые связи текста. По сравнению с понятием куматоида и социальной эстафеты понятие дискурса позволяет уйти от абсолютизации «объектного видения» в гуманитаристике. «Объектным видением» можно назвать такую методологическую позицию, согласно которой всякое знание производно от объекта: сначала объект – затем знание о нем. Например, сначала якобы появились моральные нормы, государство, а затем возникло знание о них: философия, этика, политология и т. д. Понятие дискурса позволяет показать, особенно в отношении нетекстуальных объектов, что сами эти объекты могут быть производными от речевых практик, текстов, понятий.

Понятие дискурса является главным понятием социогуманитарной концепции М. Фуко. Дискурсом может быть текст или высказывания, но также совокупность текстов и высказываний, функционирующих в одной и той же системе отношений. Например, дискурс клинической медицины – это тексты, высказывания, речи, производимые в некоторой ситуации определенными людьми, наделенными правом продуцировать подобные дискурсы. А рассуждения о лечении болезней, принадлежащие другим людям, например,

родственникам, не являются дискурсами клинической медицины. Причем дискурсы как тексты определяются не данным сюжетом или ключевым понятием, а наоборот, конституирование определенно-го типа дискурса продуцирует соответствующий предмет, сюжет, понятие.

Например, есть текст и его автор, имеющий на него юридические права, поскольку именно он «породил» данный текст. На первый взгляд, это относится к любому тексту. Однако Фуко показывает, что понятие автора непростое, поскольку текст может анализироваться как самостоятельный объект, о чем, в частности, свидетельствует структуралистский подход. Текст, в силу своей собственной структуры, может выражать самого себя, а не чувства, намерения и иные интенции своего автора. Фуко не возражает против структуралистской критики, показывающей, что текст необязательно рассматривать как выражение мыслей и чувств автора. Но в то же время он не склонен считать текст абсолютно не зависящим от того, кто и с какой целью его создал. А главное, Фуко не рассматривает автора и текст как естественные данности, подлежащие изучению. Он их определяет как функции дискурсов, поэтому и говорит не об авторе, а о «функции автора».

Пример дискурса – литературоведческие исследования, которые определяют, что такое автор и какое он имеет значение, в частности, при использовании понятия «труды», когда нужно рубриковать произведения такого-то автора. Иными словами, сложившаяся практика литературоведческих исследований известным образом определяет, что такое автор и какое значение для понимания произведения имеет его личность и биография, т. е. автор есть порождение дискурса не в том плане, что индивид, создавший произведение, зависит от него, а в том отношении, что продуцирует особое понятие автора, заставляющее в некотором особом отношении рассматривать данного индивида. Это и есть производство, порождение гуманитарного объекта дискурсом.

В различных дискурсах авторство приобретает различное значение. Так, обнаружение ранее неизвестного текста Маркса изменит представления о марксизме. Решающее значение здесь имеет то обстоятельство, что текст действительно принадлежит данному автору, поскольку это есть одно из правил тех дискурсов, которые сформировались текстами Маркса и практикой их обсуждения.

В них предполагается постоянное возвращение к текстам основоположников, в данном случае – марксизма, и проверка «чистоты» идущей от них традиции. Действительно, практика обсуждения на закате советской эпохи текстов молодого Маркса, в частности «Экономическо-философских рукописей 1844 года», хотя и известных ранее, но вытесненных на периферию зрелыми произведениями типа «Капитала», сформировала представления о «подлинно» гуманном характере марксизма. Для контраста вслед за Фуко можно сослаться на пример дискурса иного типа. Обнаружение нового, ранее неизвестного текста Галилея или Ньютона ничего не изменит в классической механике, несмотря на то, что Галилей и Ньютон являются ее основоположниками. Изменится представление о них, но не о механике. Здесь мы имеем дело с дискурсом, функционирующим по иным правилам, и в нем совсем другое значение имеет понятие автора. Действительно, ссылки Ньютона на Бога при выведении и обосновании законов механики или новые подробности его интереса к алхимии, или данные о родстве понятия всемирного тяготения с магическо-окультурными представлениями о тайных силах, которыми якобы наделена природа в целом и отдельные ее элементы,¹ ничего не меняют в ньютоновской механике.

Иными словами, Фуко показывает несостоятельность склонности здравого смысла считать, что «автор» – простая данность, физический объект, являющийся причиной существования другого физического объекта – текста. Отсюда следует, что гуманитарные науки, такие как литературоведение, история и др., не изучают авторов и тексты как реальные физические объекты, а создают их в данном дискурсе, или создают заново в другом дискурсе, и как созданные изучают. Если бы дискурсы были другими, они продуцировали бы другие объекты. Действительно, казалось бы, одни и те же понятия, например, «человек», «живое существо», «знак», функционируют в дискурсах разных эпох, и их объекты оказываются различными для различных дискурсов. Так, понятие «человек», о котором говорит философия и гуманитарное познание XIX–XX вв. – это совсем не тот персонаж, к которому относятся характерные для Просвещения рассуждения о человеческой природе. А «жизнь», о которой говорит биология

1 Порус В. Н. Альтернативы научного разума: К анализу романтической и натур-философской критики классической науки // Альтернат. миры знания. – СПб., 2000. – С. 13–62.

XIX–XX вв. не тот же объект, что растения и животные, о которых говорит естественная история XVIII в.

Можно согласиться с Фуко, что понятие дискурса позволяет не брать понятия как простые ярлыки для обозначения от века существующих и не зависимых от их восприятия в культуре данностей, но в ходе «культурологических раскопок», например в рамках «археологии знания», вскрыть их происхождение и законы функционирования.¹

Становится очевидным, что как текстовые, так и нетекстовые объекты гуманитарного знания во многом предопределены социально-культурным контекстом, дискурсом, в котором они живут, а следовательно, нельзя изучать их только лишь как предметные данности. Скорее наоборот: эту данность они получают в некотором дискурсе.

Таким образом, попытки представить бытие гуманитарных объектов в виде куматоидов, третьего мира, особых норм и дискурсов проясняют ряд особенностей объектов гуманитарного знания. Их текстуальное представление весьма плодотворно, но порождает и дополнительные проблемы, в частности проблему самостоятельной жизни текста.

1 Фуко М. Археология знания. – К.: Ника-Центр, 1996. – 208 с.

ГЛАВА 2. НАРРАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ГУМАНИТАРИСТИКИ

2.1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НАРРАТИВА

В конце XX в. гуманитарные науки открыли для себя еще один объект изучения – нарратив. Его исследование оказалось столь продуктивным, что произошел нарративный поворот в гуманитарных и не только гуманитарных исследованиях. Более того, многие приняли тезис постмодернистов о том, что гуманитарное знание есть лишь собрание нарративов, повествований на заданную тему.

Нарратив (от англ. narrative – повествовательный, повествование) как эмпирическая данность весьма разнообразен, но на первый взгляд очень прост. Это различные истории: рассказы для детей, дискуссии на кухне, автобиографии, воспоминания об отпуске, сообщение о приснившемся сне или о болезни, обсуждение научных проблем. Длительное время нарратив исследовался лишь в теории литературы и лингвистики. Было, в частности, установлено, что термин «нарратив» означает несколько иное, чем повествовательный текст, рассказ. Акцент делается не на событие рассказывания, а на сами рассказываемые события, на «историю», которая как бы упорядочена еще до текстуального изложения. Но такая упорядоченность возникает, как утверждают нарратологи, именно благодаря повествованию, только эта работа остается обычно незаметной, что порождает иллюзию объективного описания реальных упорядоченных в пространстве и во времени событий. Поскольку повествование присуще любой сфере человеческой деятельности, все возрастающий интерес к нарративу быстро вышел за пределы теории литературы.

Понятие нарратива было обобщено, расширено и в то же время специфицировано в широком спектре вопросов, изучаемых

лингвистикой, литературоведением, психологией и др. Нарратив стал не просто предметом многих теоретических исследований. Он превратился в настоящую парадигму методологии гуманитарного и не только гуманитарного знания. Главным источником нарративного поворота стало открытие в 1980-х гг. того, что повествовательная форма – и устная, и написанная – составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую и философскую основу наших попыток описать природу, социум, человека.¹ С одной стороны, это проявление общего кризиса рационалистических методологических моделей, основанных на естественнонаучных идеалах, с другой – осознание ограниченности известных позитивистских и марксистских установок на поиск законов человеческого поведения.

Нарративный поворот сомкнулся с так называемым «лингвистическим поворотом» в исторической науке, т. е. с мощной методологической самокритикой, которой подвергла себя западная историография во второй половине XX в. Тогда обратили внимание на обусловленность исторических концепций не фактами и даже не только философскими и идеологическими убеждениями и предрассудками историков, а схемами рассказывания, законами языка, применяемого в повествовательных целях.

Необходимые условия нарратива: действующие лица и развивающийся во времени сюжет. Этим условиям отвечают многие виды дискурсов: басни, мифы, сказки, фольклорные истории, объявления, эволюционные объяснения и т. д. в форме диалогов и монологов, литературных и обыденных историй, устных и письменных текстов. Сюда могут входить правдивые и вымышленные истории, некоторые исторические, правовые, религиозные, философские, научные тексты. В обобщенном смысле «нарратив – это имя некоторого ансамбля лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его или ее социально-коммуникативных способностей с лингвистическим мастерством».² Любая известная человечеству культура была культурой, рассказывающей истории. Нарратив представляет собой универсальную характеристику культуры

1 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // *Вопр. философии.* – 2000. – № 3. – С. 30.

2 Там же. – С. 30.

в том смысле, что нет, по-видимому, ни одной культуры, в которой отсутствовали бы те или иные его виды. Культуры аккумулируют и транслируют собственные опыт и системы смыслов посредством повествований, запечатленных в мифах, легендах, сказках, эпосе, драмах и трагедиях, историях, рассказах, шутках, анекдотах, романах, коммерческой рекламе и т. д. Способность быть носителем культуры неотделима от знания смыслов ключевых для данной культуры повествований. Степень социализации индивида также связывается с уровнем его языковой компетентности, ключевым фактором которой является способность индивида рассказывать и пересказывать истории. Иными словами, без нарратива невозможно социальное взаимодействие, создание и трансляция социального знания, а также становление личности.

Рассказывание историй в виде исторических описаний, художественных повествований, теорий науки и т. п. представляет собой нарративное описание. В литературной критике, семиотике, историографии выделены черты нарративного описания, позволяющие охарактеризовать нарратив в рамках культуры.

Среди этих черт отмечают, во-первых, наличие конечной цели рассказа, из которой все упоминаемые события получают объяснение. Во-вторых, в нарративном описании имеет место отбор наиболее важных событий, непосредственно относящихся к конечной цели. В-третьих, в нарративе осуществляется упорядочивание событий в определенную временную последовательность. Каждое последующее событие, как правило, представляет собой следствие предыдущего события. Кроме того, в оформленной истории, могут содержаться демаркационные знаки, позволяющие определить начало и конец истории: «жили-были...», «однажды, в далекие времена...», «знаете ли Вы о том...», «...вот и все», «...на этом я заканчиваю». Благодаря использованию указанных характеристик, придается смысл той или иной последовательности событий и определенному направлению жизни. В-четвертых, нарратив определенным образом оформлен как стабильный, прогрессивный или регрессивный. Например, в стабильном нарративе действующее лицо, выступающее злодеем в начале, не может стать героем в конце. В прогрессивных и регрессивных нарративах возможны изменения характеров, но тогда в повествовании должно иметься объяснение причин подобной трансформации.

Формы нарративной организации обнаруживаются внутри самой культуры, более того, по своей фундаментальной сюжетной линии они соответствуют литературным жанрам. Так, согласно теории канадского литературоведа Н. Фрая, существуют четыре базисные формы нарратива, укорененные в человеческом опыте. Это «родовые сюжетные структуры», «мифосы»: трагедия, комедия, сатира, роман. Позднее Х. Уайт показал, что историк использует их, придавая известным историческим фактам определенную сюжетную линию и конфигурацию в соответствии с требованиями той или иной сюжетной структуры или мифоса.¹

В то же время не все формы организации и представления знания являются нарративами. Ненарративными формами дискурса, например, в науке, могут быть такие описания, объяснения, перечисления, логические рассуждения, модели, теории, классификации, в которых отсутствует повествовательная линия, цель или конец повествования, в соответствии с которыми выстраивается сюжет. Хотя в естественных науках ученые также используют различные риторические приемы и повествовательные схемы, чтобы придать своим научным результатам вид объективных, трансцендентальных, вневременных и универсальных истин, скажем, говорят якобы от имени самой природы, но в самой структурной организации научной теории, особенно естественнонаучной, и при построении следствий на первый план выходят ненарративные формы представления знания. Например, научная теория предсказывает явления или события, которые еще неизвестны, следовательно, они не могут служить фактором выделения обуславливающих их явлений или событий. Не являются нарративами и исторические хроники как простые списки событий. Впрочем, практически всегда они могут быть представлены как часть более широкой нарративной формы или сами включать в себя нарратив. Например, классификация животных по уровню опасности, которой они подвергаются в результате человеческой деятельности, может включать драматические рассказы о вымирании целых видов. Аналогично исторические хроники могут быть снабжены комментариями, реализующими определенную сюжетную линию.

Таким образом, нарратив как повествование, подчиняющееся определенной цели, под которую выстраивается сюжет повествования

1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 528 с.

и отбираются факты и события, выступает неустрашимым элементом наших представлений о мире. Хотя некоторые элементы научных текстов типа дедуктивных выводов, классификаций или исторических хроник не являются нарративными, часто структура нарратива пронизывает и научные тексты, особенно гуманитарные, неявно предопределяя расстановку исследовательских акцентов.

2.2. РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ И КОНСТИТУИРУЮЩАЯ ФУНКЦИИ НАРРАТИВА

Одна из главных проблем, возникающих при исследовании нарратива, – это соотношение самого повествования с тем, о чем повествуется. Содержание повествования, разворачивающееся в нарративе, не существует как таковое, само по себе, а оказывается связанным различными способами со структурой, формой и целями его письменной или устной презентации.¹ Иными словами, само описание может быть нарративным, но нарратив не является простым описанием наличествующих вещей и происходящих событий. Истории рассказываются с определенных позиций, в определенном контексте, из-за чего представляется далеко не вся реальность, да и то по-разному. В то же время описание событий не является исключительным изобретением рассказчиков, поскольку говорит о реальных вещах и событиях. Примером могут служить тексты в учебниках по истории, когда исторические события, действительно имевшие место, выстраиваются в контекстах развития, прогресса или наоборот – упадка, не говоря уже об идеологических интерпретациях. Достаточно указать на событие Бородинского сражения войны 1812 г. В российской исторической литературе оно описывается как победа Кутузова, во французской – как победа Наполеона.

В таких ситуациях часто возникает проблема репрезентации, в рамках которой решается ряд вопросов: о чем именно говорит нарратив, как он говорит, кому и с какой целью? Уже этим проблема репрезентации в нарративе отличается от репрезентации в теориях, законах, понятиях и других средствах представления знания, особенно в естественных науках. Научное описание обычно,

1 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. – С. 33.

особенно вначале, не задается вышеприведенными вопросами, поскольку нормы и стиль описания, а зачастую и концептуальный аппарат, уже заданы соответствующей дисциплиной, особенно в рамках «нормальной» науки. Лишь позднее, в ходе трансляции научного описания может возникнуть необходимость дополнительного разъяснения или увязки нового описания с имеющимися. Понимают ли данное описание члены научного сообщества – вопрос важный, но не первостепенный. Максвелл, Эйнштейн, Бор, адресуя свои тексты научному сообществу, ориентировались в первую очередь не на идеал понятности, а на идеал научности, объективности и др., не думая о тех, кому описание предназначалось, несмотря на то, что в личных встречах, дискуссиях, переписке и т. п. форма представления знания порой оттачивалась. В частности, из-за этого их теории какое-то время не воспринимались современниками. Нарративное описание, напротив, в первую очередь ориентируется на адресата. К нему обращены цель повествования, подбор фактов, средства и язык описания, форма нарратива и сам сюжет. В этом смысле научное описание может быть ненарративным. Кроме того, научное описание «подгоняет» факты не под цель повествования или под «понятность», а под исходные теоретические принципы. В таком случае «осюжечивание» необязательно, следовательно, подбор фактов или событий будет другим.

Нарративное описание, ведя повествование к концу сюжета как к цели, явно или неявно предполагает наличие такой цели в действительности. В онтологических доктринах прошлого цели предполагались не только там, где действуют люди, в обществе, в истории, но и в природе. Подобный взгляд навязывался как обыденным опытом, так и влиятельным телеологическим учением Аристотеля. Падение подброшенного камня на Землю, например, объяснялось наличием цели у каждого предмета, в т. ч. у камня, стремившегося занять привилегированное положение в центре космоса, каковым и была Земля.

Наука и философия, особенно в период становления науки Нового времени, много сил и времени потратили на то, чтобы исключить из научных описаний цель. Бэкон, Декарт, Спиноза, Ньютон, различая физику и метафизику, исключали конечную причину и цель из природы и соответственно из физики. «Весь род тех причин, которые обыкновенно устанавливают через указание цели,

не применим к физическим и естественным вещам».¹ Устранение принципа целесообразности из естествознания Нового времени превратило природу в незавершенный ряд, не имеющий конца и смысла, в значительной степени, хотя и не полностью, элиминировав тем самым подобные нарративы из естественнонаучных описаний.

С конца XX в. цели субъекта, ранее исключенные из науки во имя объективности, теперь в той или иной мере осмысливаются как дополнение к не устранимой из науки объективности, что фиксируется понятием постнеклассической науки и рациональности как смысла и целесообразности. «Постнеклассическая рациональность учитывает соотношенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности».² Более того, «только в том случае, если мы вернем рациональности ее изначальное значение, если поймем ее как разум, как смысл, мы сможем положить в основу как наук о природе, так и наук о культуре единое начало, единый принцип целесообразности, преодолев, наконец, их застарелый дуализм».³ Все это потребует анализа естествознания на предмет меры допустимости в нем нарративов.

Однако в исторических описаниях нарративная структура сохранялась всегда. По-видимому, отсюда она не устранима, за исключением исторических хроник. Но к последним историческая наука не может быть сведена. Следовательно, напрашивается вывод о принципиальной нарративности описаний в исторических науках, а, возможно, и во всех гуманитарных науках.

Анализ репрезентативной функции нарратива связан, прежде всего, с определением реальности. Можно было бы сказать, что под реальностью, которую исследует, например, историк, понимаются происшедшие в прошлом события. Но исследователь выделяет именно данные события, исходя из своего исследовательского интереса. Причем эти события даны ему некоторым историческим документом, написанным некоторым автором. Даже если автор никак

1 Декарт Р. Метафизические размышления/Р. Декарт // Избр. произ. – М.: Госполитиздат, 1950. – С. 374.

2 Степин В. С. Научное познание и ценности технотронной цивилизации // Вопр. философии. – 1989. – № 10 – С. 18.

3 Гайденко П. П. Проблема рациональности на исходе XX века // Вопр. философии. – 1991. – № 6. – С. 14.

не истолковал записанные события, он все равно их почему-то выделил, оставив тем самым свое присутствие, свой голос в документе.

По мнению известного специалиста-нарратолога Х. Уайта, истории производятся из различных свидетельств, фактов, хроник посредством операции, которую он называет «осюжечиванием». Иными словами, фактам, которые «в своем необработанном виде вообще не имеют смысла», придается определенная форма. Уайт обращается к работе Леви-Стросса, который утверждает, что согласованность любых якобы данных рядов исторических фактов есть согласованность повествования, но эта согласованность достигается только подгонкой «фактов» к потребностям формы повествования. В этом смысле «история никогда не освободится от природы мифа».¹

Таким образом, реальность никак не дается нам «сама по себе», она говорит множеством голосов, которые эту реальность интерпретируют и даже могут изменять до неузнаваемости. В частности, в одном контексте данное событие может быть отмечено как существенное, а в другом может быть опущено как несущественное. Тем не менее очевидно, что реальность в исторических документах представлена. Но о ее репрезентации можно говорить лишь в определенном смысле, в рамках выделенного исследователем голоса, когда выявлены намерения, цели и вообще контекст исследуемой эпохи. Тем самым вопрос о «подлинной» реальности снимается. Статус объективности приобретает та репрезентация, которая предпочтительнее других по некоторым основаниям. Иными словами, мы как бы сами создаем реальность в виде определенных историй, выстраивая ее по правилам нарратива. Реальность замещается рассказом. В этом смысле он не имеет референта вне себя, он самореферентен. Указание на некоторое реальное событие, которое действительно имело место, есть лишь наша материалистическая или наивно реалистическая интуиция. Но для описания, объяснения, понимания события она ничего не дает, поскольку одно событие или их ряд бессмысленны вне связи, вне целостности, вне цели повествования, выделенные из бесконечного нагромождения явлений, их связей и отношений, причем выделенные необязательно по какому-то одному основанию. Все это дает право утверждать, что события или историческая ре-

1 White H. Historical Text as Literari Artifact // The Writting of History. Literary Form and Historical Understanding. Ed. By R. H. Canary and H. Kozicki. The University of Wisconsin Press, 1978. – P. 43.

альность «в себе» – это всего лишь только «простая» последовательность без начала, середины и конца, которую, впрочем, еще никому не удалось репрезентовать в чистом виде вследствие бесконечности вмещающихся в нее событий.

В этом смысле репрезентативная функция нарративных описаний отличается от ненарративных, например от физических. Физические теории, помимо своей логической или математической структуры, имеют еще и физическое значение, т. е. относятся к реальным объектам. В экспериментальной физике понятия описывают чувственно воспринимаемые вещи, иными словами, имеют непосредственную референцию и репрезентацию. Но и в теоретической физике при опосредованной референции, когда понятия описывают различные идеализации, в конечном счете, репрезентируется вещь. Является ли такая репрезентация рецидивом механистической картины мира и требует улучшения в смысле нарратизации физической реальности или она отражает особые ненарративные структуры реальности – это особый вопрос.

По мнению еще одного известного философа и теоретика литературы Поля Рикера, нарратив взамен описания мира предоставляет лишь пере-описание его. Нарратив, говорит он, имеет сходство с метафорой, которая есть способность «видимого как...» и тем самым открывает нам область «как если бы...». Функцию нарратива в темпоральном отношении Рикер называет так же, как и Уайт, «осюжеживанием». Сюжет является посредником между событиями и рассказываемой историей, объединяя хронологическое с нехронологическим, трансформируя события в историю, «схватывая их вместе в акте рефлексии и направляя к заключению или цели».¹

Еще более категоричны Й. Брокмейер и Р. Харре: «Мы будем называть допущение о существовании некоей единственной, лежащей в основании нарратива истинной человеческой реальности, которая якобы и должна быть представлена в нарративном описании, ошибкой репрезентации».² Эта точка зрения, по-видимому, основана на признании радикального различия между материальным миром и социальной действительностью и возможностями их репрезентации. «Материальный мир является действительно сложным

1 Riceur P. *Hermeneutics and Human Science*. – Cambridge University Press, 1995. – P. 286.

2 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. – С. 36.

и многоаспектным, но каждая версия схватывает какой-либо из аспектов одного-единственного физического универсума».¹ Вопреки мнению авторов эти же слова вполне можно отнести к социальному миру или миру культуры в том смысле, что события человеческой жизни действительно состоялись, они имели место, так же как и физические явления. Нарратив схватывает и сами события, и их взаимосвязь, как это делает и описание физического мира. Но нарративное описание одновременно с репрезентацией конструирует социально-культурный мир, задавая определенные смыслы, выстраивая определенную логику, домысливая многие связи, усматривая смыслы, которых там не было. Здесь прослеживается некоторая аналогия с естественнонаучной теорией, которая, отражая некоторые аспекты реальности, одновременно увязывает их в особое смысловое поле, задаваемое, например, языком данной теории. «С репрезентацией связано концептуальное представление некоторой реальности».² Неслучайно и ученые, и методологи науки, анализируя современные тенденции науки, отмечают, что «современная наука в целом становится все более нарративной».³ Даже естественнонаучные теории, такие как механика Ньютона или общая и специальная теории относительности, будучи продуктами научного дискурса, не являются зеркальными репрезентациями субстантивной рациональности Вселенной, а нарративами, творческим вымыслом теоретиков.⁴

Репрезентативная функция нарратива как представление независимой реальности оборачивается простой констатацией того, что нечто имело место. Ведь смысл это нечто приобретает только в нарративе. Поэтому описание, содержащееся в нарративе, является одновременно конструированием смыслового поля. Однако следует подчеркнуть, что это конструирование порождает особые последствия, преобразующие реальный мир не только в «его картину», но и в мире человеческого бытия, чего не делает естественнонаучное описание с миром природы. Естественнонаучная картина мира, в отличие от нарративного описания, не переделывает реальный мир,

1 Там же. – С. 35.

2 Ратников В. С. Физико-теоретическое моделирование: основания, развитие, рациональность. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 16.

3 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопр. философии. – 1991. – № 6. – С. 51.

4 Лук'янець В. С. Постмодерністське мислення і раціональність // Постмодерн: переоцінка цінностей: зб. наук. пр. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – С. 24.

хотя может этому способствовать через технические и прикладные науки и инженерную практику, но это различные процессы. Нарратив же вписывается в реальную жизнь, являясь ее частью, порождая многие ее аспекты. Поэтому наиболее важной представляется конституирующая, порождающая саму реальность функция нарратива. В этом пункте описательно-конструктивная функция нарратива и принципиально отличается от соответствующей функции теории, особенно естественнонаучной, и сходна с ней. Любая теория также не является зеркальным отражением действительности, а представляет собой некоторую конструкцию для лучшего понимания и объяснения реальности, а нарратив не только модель некоторого события, но его порождающая модель, выдающая себя за реальность и вызывающая вполне реальные последствия этого феномена. В частности, марксистский нарратив, или точнее, метанарратив социально-исторического процесса не только выдавался за реальность, но и породил вполне реальную и в известном смысле достаточно жизнеспособную советскую реальность. Многие явления культуры возникают в том числе и благодаря конституирующей функции нарратива. Например, правила игры в футбол могут быть изложены так, как обычно поступает теория с явлениями, в данном случае как описание соответствующих действий футболистов на поле. Это важно, например, для судей, болельщиков и самих футболистов, которые могут благодаря написанным правилам отличить правильные действия от неправильных. Но тем самым лишь уточняется смысл игры, который уже известен. К тому же далеко не всякое описание выражает смысл футбола. Поэтому добрый старик Хоттабыч наградил всех игроков на поле мячами, чтобы каждый мог вволю поиграть и не сражался бы за один-единственный мяч.

Но ведь когда-то эти правила создали футбол именно как ту новую реальность с новыми смыслами, которой раньше не было. И всякий раз для обучающихся футболу и обслуживанию игры ее правила выступают нарративом, порождающим целую сферу нового бытия со своими собственными смыслами: саму игру, футболистов, судей, болельщиков, стадионы, футбольную инфраструктуру, огромные денежные потоки отнюдь не «пустых» денег, а с их соответствующей «привязкой» к футболистам, клубам, рекламе и т. д. Элементы этого нарратива в принципе могут выполнять и другие функции, реализуя иные виды бытия: зарабатывание денег футболистами, клубами,

спонсорами или отдых болельщиков с соответствующей торговой или релаксационной инфраструктурой и др.

Аналогично обстоит дело с автобиографиями как литературным и научным жанрами. Автобиографии представляют собой нарративы, на первый взгляд, описывающие реальные жизненные ситуации. Но в то же время и в первую очередь они конструируют саму жизнь, приобретающую тот смысл, который задан данной формой автобиографии, той последовательностью, которую выбрали, и которая соответствующим образом увязала факты. «За кадром» осталось бесконечное число событий и их связей, которые могли быть увязаны другими нарративами, выстроив тем самым иные жизни. Более того, автобиографический нарратив не только конструирует прошедшие события в связанное целое, он и во многом предопределяет последующее поведение людей, «продлевая» смыслы, стимулируя усилия на достижение определенных целей, заданных данным нарративом, придавая завершенность жизненным этапам, нацеливая на последующие достижения.

В то же время нарративы не группируют явления произвольно. Порядок повествования в некотором смысле объективен. А именно в том смысле, что не задается только рассказчиком, историком или иным субъектом. Ведь существуют определенные культурные нормы, в которых сформировался субъект и в которых разворачивается реальная жизнь, культурное творчество и сама наррация. Поэтому нарратив может выступать специфической формой связи между личностной реальностью и культурой. Рассказывая истории, мы конструируем себя в данной культуре. «Нарратив – это слово для обозначения специального набора инструкций и норм, предписывающих, что следует и чего не следует делать в жизни, и определяющих, как тот или иной индивидуальный случай может быть интегрирован в некий обобщенный и культурно установленный канон».¹

Нарративные формы могут выступать как модели реальности и применяться для создания определенной ситуации, например, в случае нарративной стабильности. Для сохранения стабильных отношений важно постоянно демонстрировать нерушимость, постоянство, вневременность таких ценностей, как взаимная любовь, родительский или сыновний долг, честность и т. п., даже когда в дей-

1 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. – С. 37.

ствительности они не вполне соответствуют идеалу. В другом случае важно трактовать происходящие изменения как прогрессивный рост и развитие, а существующие неудобства, лишения и страдания рассматривать как проходящие, временные на пути к счастливому будущему. Здесь реализуется прогрессистский нарратив. Так социальная реальность в соответствующие временные и пространственные отрезки принимает ту нарративную форму, которая оказывается более подходящей для решения определенных задач общественной жизни.

Здесь необязательно видеть только козни или злой умысел идеологов, обманывающих народ в угоду узкогрупповым интересам, хотя и такое случается. Гораздо важнее то обстоятельство, что в культуре и языке выработались соответствующие повествовательные формы, в которых можно передать не только ощущения и настроения, но и глубокие и сложные теории. По-видимому, эти нарративные формы сложились как способ переживания и осмысления взлетов и падений индивидуальных и социальных судеб, спрессовавшись в соответствующих языковых формах.

Производство тех или иных концепций тесно связано с определенными нарративными схемами. Действительно, оптимистический нарратив не может соответствовать концепции Шпенглера, а марксистская теория общественно-экономических формаций не укладывается в пессимистический нарратив. Но что определяет временную соотношенность соответствующих нарративных форм и смыслового содержания тех или иных концепций? Почему в одно и то же время производятся разные теории в различных нарративных формах или почему люди выбирают пессимистические или оптимистические варианты? Концепция нарратива не может дать ответ.

Нарратив как модель некоторого мира может представлять вымышленный мир, но исследователь или просто читатель, находясь в этом вымышленном мире, рассуждает и переживает, как в мире реальном. В этом плане нарратив выступает своеобразной формой эксперимента, в котором проверяются введенные воображением свойства вымышленного мира. Кроме того, вымышленные персонажи зачастую продолжают жить в реальном мире, как, например, нравственные образы или образцы, по которым выверяется реальное поведение людей. Литературные образы Рахметова, Базарова, Онегина, Печорина и др. были нравственными ориентирами для целых социальных групп

и поколений. В этом смысле нарратив является частью человеческой жизни. Поэтому он чрезвычайно подвижен и приобретает формы, соответствующие требованиям культурной ситуации.

Гуманитарные науки благодаря изучению нарративов играют особую роль в познавательной деятельности, в осмыслении человеком собственной природы и мира в целом. Во-первых, нарративы вездесущи, они представлены во всем, что мы говорим, делаем, чувствуем, мыслим. Нарративами пронизаны художественные, религиозные, правовые тексты. Поэтому исследование нарративов призвано внести существенный вклад во все сферы человеческого понимания мира. Во-вторых, нарративы являются частью изменчивой, подвижной человеческой реальности. Нарратив имеет широкие возможности задавать порядок, организацию, согласованность человеческому опыту, а главное – изменять их при изменении опыта за счет гибкости и открытости своей структуры. Классические теоретические модели, подобные естественнонаучным, такой гибкостью не обладают. В частности, поэтому не всегда гуманитарные науки должны строиться по образцу естественнонаучных. Более того, гуманитарные науки за счет исследования нарративов могут прояснить многие естественнонаучные и технические тексты, а главное – помочь понять основания любой человеческой деятельности, приобретая таким образом ту методологическую всеобщность, о которой издавна мечтали методологи. К сожалению, эта всеобщность также весьма относительна, хотя бы потому, что в науке существуют и не-нарративные тексты.

Хотя постмодернизм констатирует «смерть субъекта» в плане растворения его в социокультурных структурах, имеются веские основания утверждать, что сами эти структуры порождают его вновь.¹ Одной из таких порождающих структур является нарратив, из которого автор, он же субъект, не устраним. Воссоздание субъекта, в свою очередь, ставит вопрос об объекте, а следовательно, так или иначе о соотношении самого повествования с тем, о чем повествуется. Субъектно-объектные отношения, в частности, позволяют зафиксировать в гуманитаристике признаки традиционной научности в теориях, парадигмах, картинах мира.

1 Агафонова Е. В. Соотношение автора и нарратора в современном философском дискурсе: в контексте смерти субъекта. – Режим доступа: <http://www.humanities.edu.ru/db/sect/190>.

Таким образом, проблема репрезентативной функции нарратива связана с решением вопроса об онтологии той реальности, о которой говорит нарратив, поскольку структура и форма нарратива неявно задают смыслы описываемых событий. Данное описание становится частью реальности, порождая некоторые последствия. Следовательно, можно говорить о конституирующей функции нарратива, которая не просто отвечает за соответствующую репрезентацию, но и конституирует многие аспекты действительности. В гуманитарных концепциях этот феномен особенно заметен в отличие от естественнонаучных теорий, где нарративы не играют определяющую роль.

2.3. НАРРАТИВ, АВТОР, БИОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ

Связующее звено между нарративом и автором нередко усматривают в биографии, которая представляет довольно полное повествование об авторе. Так сформировался биографический подход, иногда не вполне точно именуемый методом, как способ изучения и представления авторской деятельности. Последняя выглядит закономерной во времени как последовательность ступеней творчества и в пространстве культуры или социума. Биографический подход преимущественно основывается на предположении о том, что можно восстанавливать и изучать индивидуальную, социальную и культурную реальность через анализ биографических материалов и событий, сохраненных в них, через оценки, отзывы, мнения и установки, содержащиеся в автобиографиях, дневниках, письмах, воспоминаниях и т. д. Биографический подход широко применяется в истории, социологии, психологии, литературоведении, культурологии, философии, методологии науки и других дисциплинах. Возможностей биографического подхода немало, но и трудностей достаточно. С одной стороны, он позволяет лучше понять определенную эпоху, повседневную жизнь людей, произведения искусства и научные или религиозные тексты, уловить закономерные и уникальные моменты индивидуальной или всемирной истории. С другой стороны, он нередко вызывает недоверие вследствие кажущейся или действительной субъективности при написании биографий

или автобиографий и соответствующем истолковании социальных, научных или культурных феноменов. Поэтому часто обсуждается проблема возможностей и границ биографического метода. Немаловажное значение биографический подход приобрел в связи с лингвистическим и нарративным поворотом в современных исследованиях. Детерминированность авторских интенций лингвистическими и вообще социокультурными факторами, а также не зависящее от автора бытие текста в культуре и его многообразные интерпретации иногда расцениваются, в частности в постмодернизме, как смерть автора. В то же время современная культурная ситуация с необходимостью воспроизводит фигуру автора, порой нетрадиционным способом, особенно в художественной и популяризаторской литературе. Среди таких способов есть следующий: некто раздает темы и проблемы ученым или литераторам для разработки, а потом структурирует, стилизует собранные фрагменты и публикует довольно целостное произведение под своим авторством. Все это актуализирует изучение биографии автора и в плане поиска внутриличностных и внеличностных детерминант его творчества, и в связи с проблемой интерпретации его произведения, и в отношении возможностей биографического нарратива в этих процессах.

Биографическое описание используется в самых разных целях. Биография автора, например, ученого или писателя, может исследоваться, чтобы лучше понять время, в котором он жил. Его оценки, наблюдения, дневники могут дать огромный материал для выводов. Его видение данной эпохи помогает лучше ее понять. Факты биографии в данном случае используются исследователем для объяснения эпохи, например, состояния науки того времени.

Биография автора может быть изучена как жизнь данного индивида с его собственным мироощущением, отношениями с другими людьми, где его творчество представляется лишь незначительным элементом жизни. Это оценивается исследователем в известном социальном и культурном контексте, из которого объясняются факты биографии ученого, литератора, религиозного или политического деятеля. Он рассматривается, например, как типичный представитель эпохи, научного, писательского, религиозного или иного общества. Здесь, естественно, возможны варианты. Так, биография гениального математика Григория Перельмана, доказавшего знаменитую гипотезу Пуанкаре, была написана Машей Гессен без всякого

общения с объектом своего исследования, без знакомства с его дневниками, высказываниями, оценками, а только на основе воспоминаний друзей и оппонентов.¹ Книга соответствует требованиям жанра, но вызывает и немало вопросов. Насколько в таком случае описание жизни и творчества великого математика соответствует именно его представлениям об изображаемой эпохе, важны ли они для адекватности фиксируемых автором закономерностей творческого пути объекта исследования или важен лишь социальный, научный, культурный и тому подобный контекст?

Биографию можно изучать в плане формирования автора как творца и в этом контексте лучше понять и его самого, и его произведения, что предполагает учет первых двух моментов. Биография может изучаться и в чисто научном контексте, когда собранные данные кладутся в основу, скажем, комментариев к произведениям данного автора в некотором академическом проекте. Но в целом биографический жанр, как и многие исследования в гуманитаристике, находится на стыке науки и литературы. Некоторые его произведения довольно высоко подняли планку научных и литературных требований. Можно упомянуть биографию выдающегося математика, лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Нэша, написанную в конце 90-х гг. прошлого века Сильвией Назар, имевшую значительный культурный резонанс. Вообще биографии представляет собой интересное, порой захватывающее литературное повествование, которому предшествует серьезная исследовательская и аналитическая работа по сбору и отбору материала, скрупулезная работа с источниками, со свидетельствами очевидцев, исключительная точность в изложении научного или иного культурного контекста и пр.

Понимание автора как творца начало формироваться в эпоху Возрождения, когда человек-творец потеснил бога-творца в картине мира. Недоверие к человеческому творчеству в эпоху средневековья объяснялось тем, что творчество приписывалось богу, а подражание ему могло быть расценено как дьявольское передразнивание со всеми вытекающими отсюда последствиями для любителя творчества. В частности, для средневекового монаха, переписывающего и комментирующего Священное Писание или Священное Предание, важнее было точно донести Божественный замысел или идеи Отцов

1 Гессен М. Совершенная строгость: Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия: док. проза; пер. с англ. И. Кригера. – М.: Астрель, CORPUS, 2011. – С. 7.

церкви, чем выразить свое личное мнение. Лишь в период Возрождения, когда человек начинает считать творцом самого себя, потеснив бога в своей ценностной картине мира и растворив его в природе, человеческое творчество поднимается на небывалую высоту.

Определение автора как творца, который несет ответственность за создание своего произведения, было впервые четко сформулировано в романтической традиции в XVIII в. Тогда же были юридически узаконены права собственности автора на свое творение. До того установление авторства связывалось с нарушением запрета на священные каноны. «У текстов, книг, дискурсов устанавливалась принадлежность действительным авторам (отличным от мифических персонажей, отличным от великих фигур – освященных и освящающих) поначалу в той мере, в какой автор мог быть наказан, т. е. в той мере, в какой дискурсы эти могли быть преступающими. Дискурс в нашей культуре (и, несомненно, во многих других) поначалу не был продуктом, вещью, имуществом; он был по преимуществу актом – актом, который размещался в биполярном поле священного и профанного, законного и незаконного, благоговейного и богохульного».¹ Именно поэтому великие мыслители Средневековья, оставившие заметный след в философии и теологии, имели такие трудные судьбы. Если же автор не нарушал запретов, а был передаточным звеном, повторяя, например, Священное Писание или Священное Предание, то он не был автором в подлинном смысле слова, его имя имело значение лишь в профессиональном плане для потенциальных заказчиков, например, при росписях храмов, и для будущих учеников, а биография мало кого интересовала и с творчеством не связывалась.

Когда же смысл произведения начали рассматривать в связи с авторской интенцией, особенно в XIX – начале XX вв., изучение биографии стало важным. Факты биографии включались в число факторов, детерминирующих смысл произведения. Они способствовали проникновению в авторский замысел, помогали увидеть степень совпадения субъективностей автора и читателя. Иными словами, знание биографии автора постепенно получает значение в рамках определенной методологической позиции, например, когда герменевтика рассматривается как проникновение в субъективность автора, когда подразумевается, что автор написал то, что хотел написать, а читатель

1 Фуко М. Что такое автор? / М. Фуко // Воля к истине; пер. с фр. – М.: Магистериум-Касталь, 1996. – С. 7–46.

прочитал именно то, что написал автор, или когда господствует идея беспредпосылочного и незаинтересованного субъекта, как, скажем, в позитивизме. При таких подходах практически не возникает проблема иной интерпретации: если известно, что хотел сказать автор, то незачем как-то иначе интерпретировать текст. Однако остается проблема неверной или верной интерпретации, причем не только текста, но и авторского замысла. Верной будет не просто та интерпретация, которая не расходится с авторской, а та, которая позволит правильно понять автора. Для этого особенно важно проникнуть в авторский замысел и вообще в его душевную жизнь. Способ проникновения в чужую субъективность указал В. Дильтей, определив его как высший вид понимания: «перенесение – себя – на – место – другого», т. е. сопереживание.¹ Дильтей далее отмечает необходимость грамматической и исторической подготовительной работы для того, «чтобы ориентацию понимания на устойчивые предметы – на прошлое, пространственно отдаленное или чуждое по языку – перенести из эпохи и среды, в которой жил автор, в эпоху и среду, которая окружает читателя».² Понимание достигается лишь на основе целостности душевной жизни, т. е. необходимо полное душевное слияние с изучаемым временем, его людьми, их внутренним миром. Как тут обойтись без знания их биографий? Хотя Дильтей не говорит непосредственно о биографическом подходе, но, во-первых, его рассуждение о понимании начального этапа Реформации пронизано именами Сакса, Дюрера, Лютера, без знания биографических данных которых невозможно представить себе эпоху³; во-вторых, в проблеме исторического познания он главенствующее место отводит автобиографии. Понимание других людей основывается на переживании и понимании самого себя.⁴ «Постижение и истолкование собственной жизни проходит ряд ступеней: наиболее совершенная их экспликация и есть автобиография... Автобиография способна, наконец, развернуться в историческую картину».⁵ Но духовная жизнь индивида находит свое выражение в языке, где она объективно выражается. Поэтому

1 Дильтей В. наброски к критике исторического разума // Вопр. философии. – 1988. – № 4. – С. 146.

2 Там же. – С. 148.

3 Там же. – С. 147.

4 Там же. – С. 141.

5 Там же.

«истолкование завершается в интерпретации следов человеческого бытия, оставленных в сочинении».¹

В таком случае не только изучение биографии автора является необходимым условием понимания его произведений, но и понимание его произведений является условием понимания самого автора и его биографии. Это касается сферы и литературы, и искусства, и науки, и религии. И хотя авторская оценка является значимой и авторитетной, интерпретация его произведений является важным способом установления необходимой целостности душевной жизни, позволяющей сопереживать, а значит понимать. В этом смысле Шлейермахер заявил, что автор должен быть понят лучше, чем он сам себя понимал. Дильтей осторожно называет такое высказывание смелым и парадоксальным афоризмом, но, в сущности, с ним согласен, видя в этом не просто образ глубокой исследовательской работы, но и буквальный смысл.²

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. было установлено, что биографический подход невозможен без изучения авторского наследия. Не только биография автора способствует лучшему пониманию его произведений, но и изучение творчества автора помогает создать «правильную» биографию.

В XX веке, особенно в рамках лингвистического поворота, в частности, в исторической науке, а также постпозитивистского интереса к социокультурным детерминантам научного творчества, интерес к биографическому подходу получил новый импульс. Например, описание нормальной науки требовало изучения биографии научного сообщества, а осмысление революционной науки оказалось невозможным без биографического описания жизни ученого, поскольку новые принципы понимания проблемы логически не вытекали из прежнего знания, и даже противоречили ему. Выход из логики науки в ее историю, в том числе биографическую, был неизбежен. Соотношение интенций автора, его биографии и социокультурного контекста ставило вопрос о предрассудке данной эпохи, который во многом определяет индивидуальные представления и (или) неявном предпосылочном, чаще всего «личностном», знании,³ которое

1 Дильтей В. наброски к критике исторического разума. – С. 147.

2 Там же. – С. 141.

3 Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М.: Прогресс, 1985. – 343 с.

либо пребывает в плену предрассудка эпохи, либо прорывает его горизонт.

Один из способов преодоления предрассудка указал Г. Гадамер: надо не переноситься в духовную атмосферу того времени и мыслить в его понятиях, а использовать временной интервал для обнаружения предрассудка того времени. Нам надо определить предрассудок, ибо иначе он определяет нас.¹ Действительно, не выявив предрассудки изучаемой эпохи, мы неявно приписываем ее участникам собственные представления и предрассудки, искажая биографии людей. В результате возникает эффект кривого зеркала, когда естественные поступки выглядят аморально, а трезвый учет обстановки определяется как роковая ошибка. Показательна в этой связи судьба выдающегося советского ученого В. П. Сукачева, оказавшего заметное влияние на фитоценологию и науки экологического цикла. Его концепция основывалась на понятиях «биогеоценоз» и «диалектико-материалистическая методология». Экстраполяция частного случая на более широкий круг экосистем и идеологический довесок к теории превратили это понимание в догму, что имело противоречивые последствия, в частности, репрессии против оппонентов. Однако, учитывая предрассудки эпохи, вряд ли следует осуждать Сукачева, тем более что идеологический довесок явно спас его науку от разгрома.

Растворение авторского «Я» в социокультурном контексте и лингвистических структурах принесло отрицание авторской интенции при определении или описании значения произведения, перенесло акцент на символическую многозначность авторского текста и неисчерпаемость его смысловых инстанций, поставило задачу экспликации неявных смысловых пластов произведения. «Смысловой горизонт понимания не может быть ограничен ни тем, что имел в виду автор, ни горизонтом того адресата, которому первоначально предназначался текст... Тексты не добиваются от нас, чтобы мы понимали их как выражение субъективности автора. То, что зафиксировано письменно, свободно от случайности своего происхождения и своего автора и открыто новым позитивным связям».² Приблизительно той же позиции придерживается П. Рикер: «Судьба текста не помещается в замкнутый горизонт жизни его

1 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: в 2 т. – Т. 1. – К.: Юніверс, 2000. – С. 278.

2 Там же. – С. 459–460.

автора. То, что говорит текст, важнее того, что хотел сказать автор».¹ Действительно, читая текст, мы необязательно должны представлять реального автора-субъекта, стоящего за ним. Некоторые исследователи даже утверждают, что знание биографических данных мешает восприятию текста, искажает его смысл. «Когда на чистый голос текста накладывается еще и реальная физиономия автора как личности, восприятие текста искажается. Оно становится более одномерным, более плоским».²

Проблема смерти автора имеет, как минимум, два аспекта. Первый – многообразие читательских интерпретаций авторского текста, делающих излишним знание авторского замысла. Второй – интертекстуальность, когда тексты явно и неявно различными способами ссылаются друг на друга (Р. Барт, Ю. Кристева). Происходит своеобразное растворение авторского текста в высказанных ранее идеях, образах, вообще прежних «голосах».³

Таким образом, вопрос о роли биографического подхода не может обойти проблему «смерти» автора, под которой, в частности, понимается отсутствие соответствия между авторской интенцией и смыслом текста, когда авторское намерение не принимается как основное условие для понимания его произведения.

В современной культуре стала нормой дистанция между автором и его произведением. Порой создается искусственный автор, своеобразная авторская маска для данной совокупности текстов. Имя автора даже становится брендом, под которым работают большие коллективы. Человек, носящий данное имя, может не иметь отношения к тексту, публикуемому под его именем. В этом плане вопрос о соотношении текста и автора не сводится только лишь к вопросу о биографии, а проблема изучения биографии автора приобретает совершенно иной смысл.

В известной степени это связано с лингвистическим поворотом, произошедшим в философии в начале XX в., с попытками поставить безлично-безымянный язык на место говорящего.

-
- 1 Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М.: Academia-Центр, Медиум, 1995. – С. 217.
 - 2 Корнев С. Сетевая литература и завершение постмодерна // НЛО. – 1998. – № 32. – С. 38.
 - 3 Барт Р. Смерть автора/Р. Барт // Избр. работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс; Универс, 1994. – С. 384–391.

Современная культурная ситуация обусловила небывалый расцвет двух культурных феноменов: цитаты и комментарии, что, в свою очередь, породило открытость и незавершенность мысли и текста и необязательность их понимания. Читатель интерпретирует тексты в меру своей эрудиции, порой узнает, но чаще не узнает источник цитирования. Автор, а не читатель является главным определителем того, что является искусством, а что нет. Здесь имеет особое значение имидж автора. Он не имеет прямого отношения к биографии автора. Это некая искусственная подмена авторского образа, хотя и не полностью выдуманная, учитывающая некоторые реальные черты и факты биографии. Имидж создается самим автором или его продюсерами и «раскрутчиками» для того, чтобы убедить читателя в том, что только эти произведения заслуживают всеобщего внимания и могут быть отнесены к разряду шедевров. Данная ситуация порождает удивительное следствие: читатель или слушатель имеет моральное и эстетическое право не понимать и не стыдиться этого непонимания, т. е. произведения можно интерпретировать как угодно, цитаты необязательно узнавать, следовательно, образование не нужно.

Говоря о «смерти автора», необходимо учитывать, что это нередко является особым приемом мнимого самоустранения, используемого самим же автором. Благодаря этому он активизирует позицию читателя, предоставляет ему свободу интерпретации и этим, можно сказать, конструирует или создает своего читателя. Кроме того, созданный им имидж является необходимым условием для формирования определенного круга читателей. А они в свою очередь становятся фондом поддержки и закрепления этого имиджа.

В результате такого соотношения автора и произведений, входящих под его именем, его биография дробится, расщепляется, распадается. Ведь автор, во-первых, представляет собой некоторое юридическое лицо, имеющее соответствующие документы, удостоверяющие его личность и авторские права. Во-вторых, он некоторый индивидуальный и культурно-исторический индивид, проживающий определенную жизнь, не имеющую прямого отношения к его произведениям. В-третьих, автор являет собой персонаж, так или иначе включенный в его произведения. В-четвертых, он некий имидж, имеющий лишь формальное отношение к его произведениям. В-пятых, это знак для объединения или классификации

определенных произведений. Перечень может быть продолжен. Поэтому воссоздание биографии становится непростой проблемой. Биография превращается в некоторый сложный конструкт, где должны объединиться и смыслы его произведений и его личные жизненные идеалы и намерения в некотором целостном концептуальном или ценностном контексте, и культурно-историческая ситуация, и реальные факты его жизни, но определенным образом осмысленные и поданные.

В этом плане автор не умирает, а, напротив, получает определенный статус внутри некоторого общества и культуры. Фуко в этом плане подчеркивает, что «имя автора не идет, подобно имени собственному, изнутри некоторого дискурса к реальному и внешнему индивиду, который его произвел, но что оно стремится в некотором роде на границу текстов, что оно их вырезает, что оно следует вдоль этих разрезов, что оно обнаруживает способ их бытия, или, по крайней мере, его характеризует».¹

Таким образом, можно утверждать, что современная социокультурная ситуация не только умерщвляет автора, но и воспроизводит его вновь, а вместе с ним и его биографию. Биографии писателей, ученых и вообще исторических, социальных и культурных деятелей по-прежнему являются предметом изучения. Между тем проблемой остается выяснение механизмов превращения тех или иных индивидуальных, случайных биографических фактов в общезначимый и, как кажется, закономерный культурный результат. Но биографии чаще всего как раз и пишутся с оглядкой на данный результат, т. е. в жизни автора отыскиваются данные, которые, якобы, можно рассматривать как толчок, условие или даже причину научного открытия или гениального романа, а нередко вся жизнь описывается так, словно она закономерно ведет к указанному достижению как цели. Общеизвестны ссылки на Архимеда, который открыл закон плавающих тел, решая поставленную перед ним практическую «правительственную» задачу: имело ли место хищение золота при изготовлении короны? В советские времена будущим ботаникам и биологам много рассказывали о том, как карманы Мичурина-мальчика были вечно наполнены различными семенами, что якобы способствовало формированию великого селекционера. А биографии многих ученых укладывались в рубрику «Вся жизнь – научный подвиг».

1 Фуко М. Что такое автор? – С. 18.

В подобных случаях сознательно или неосознанно используется лингвистическая повествовательная структура – нарратив. Благодаря ему индивидуальная жизнь как единый и целостный феномен не распадается на бесконечное множество самостоятельных, независимых и несвязанных событий и явлений, а представляется с помощью биографического или автобиографического нарратива, выстраивающего четкую сюжетную линию. В частности, в биографии любой факт понимается путем указания на его значение, вытекающее из последовавших за ним других событий, результатов, последствий.

Биографические нарративы, на первый взгляд, описывают и объясняют реальные жизненные ситуации. Но в то же время и в первую очередь они конструируют саму жизнь. Она приобретает тот смысл, который задан данной формой биографии, той последовательностью, которую выбрал биограф и которая соответствующим образом увязала факты, например, как восхождение к некоторой цели. «За кадром» осталось бесконечное число событий и их связей, которые могли быть увязаны другими нарративами, выстроив тем самым иные жизни. Более того, биографический или автобиографический нарратив не только объясняет прошедшие события, конструируя связанное целое, он и во многом предопределяет последующее поведение людей, «продлевая» смыслы, придавая завершенность жизненным этапам, стимулируя усилия на достижение определенных целей, заданных, например, прогрессистским нарративом. Аналогичную функцию выполняет и нарратив общественного прогресса как «биография» страны, народа, человечества: происходящие изменения объясняются как прогрессивный рост и развитие, а существующие лишения трактуются как преходящие на пути к счастливому будущему. Ту же функцию, но с обратным знаком, выполняет регрессистский нарратив. Так индивидуальная или социальная реальность в соответствующие временные отрезки принимает ту нарративную форму, которая оказывается более подходящей для биографа.

Нарративы биографий реальных людей были и остаются нравственными ориентирами или антиориентирами для целых социальных групп и поколений. Примером может служить образ «великой и трогательной дружбы» Маркса и Энгельса или образ Ленина как идеального человека. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше» – эти стихи В. Маяковского вызвали к жизни не одно индивидуальное бытие, разумеется, не в смысле физического

индивида, а в смысле той системы ценностей, по которой жили, действовали конкретные индивиды, стремясь походить на некий идеал. Таким образом, биографический нарратив является частью реальной человеческой жизни, а не просто ее теоретическим конструктом. В этой связи существенной проблемой оказывается объективная, беспристрастная, «всамделишная» биография.

Итак, можно констатировать, что нарративная составляющая так или иначе обнаруживается в гуманитарных исследованиях, особенно связанных с проблемами текста, авторства, биографии. Современная культурная ситуация не только вызывает так называемую смерть автора, но при необходимости воскрешает его, актуализируя роль биографического подхода и как способа понимания эпохи, и как особой формы отношения к произведениям, выходящим под определенным именем, и как проблемы конструирования авторской биографии, где нарративная структура не устранима. Но если нарратив составляет фундаментальную основу гуманитаристики, актуализируется проблема его роли в гуманитарных науках.

2.4. НАРРАТИВ И НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. СУБЪЕКТ ОБЪЯСНЕНИЯ В ГУМАНИТАРИСТИКЕ

В настоящее время в методологической литературе хорошо осознана ограниченность позиции субъекта как незаинтересованного наблюдателя, что стало существенной причиной кризиса универсалистски-рационалистических научных представлений. Современные методологические и научные теории включают ценности и цели субъекта в научную картину мира и теоретические описания. С другой стороны, происходящий на рубеже столетий нарративный и лингвистический поворот в гуманитарных дисциплинах растворяет субъекта в повествовательных структурах, которые как бы говорят сами по себе вместо субъекта. Детерминированность субъекта лингвистическими и вообще социокультурными факторами, а также не зависимое от автора бытие текста и его многообразные интерпретации теоретики постмодернизма расценивают как смерть субъекта. Тем не менее пересмотр принципов и размывание границ научной рациональности, проникновение понятий и методов гуманитарных наук в социальные и естественные науки и наоборот не отменяет того факта,

что важной, если не главной, функцией науки остается объяснение, однако акценты в его исследовании существенно сместились именно в сторону субъективной составляющей и нарративных компонентов.

Начало анализу объяснения было положено исследованиями естественнонаучного объяснения, и первые подходы, относящиеся к XIX в., связаны с попытками представить его как самостоятельную формально-логическую процедуру. При всем многообразии предложенных впоследствии моделей объяснения – феноменологических, редукционистских, дедуктивно-номологических, исторических и др. – их объединяло стремление к формализации объяснительного процесса. В результате, особенно под влиянием неопозитивизма, объяснение сводилось к логическому выведению объясняемых положений (экспланандума) из объясняющих (эксплананса). Хотя такой подход позволил выяснить структуру объяснения, выявить его специфику, разработать критерии правильности и решить ряд других проблем, его односторонность обнаружилась довольно быстро. Поэтому позднее как научное, так и вненаучное объяснение рассматривается уже не как самодостаточное, а как включенное в социокультурный контекст. В частности, существенно расширились представления о структуре объяснительной процедуры, в особенности в связи с успехами гуманитарных наук, особенно литературоведения. Кроме традиционных эксплананса и экспланандума, в нем стали различать контекст и подтекст объяснения, идеалы и нормы объяснительной процедуры, исходные условия объяснения, смысловой каркас, предпонимание и понимание и др.¹ Если же учесть, что в ходе объяснительного процесса непременно наличествуют его участники, которые дают и воспринимают объяснение, явно или неявно используют разнообразные исходные условия, идеалы и нормы, в особенности различные лингвистические конструкции, в частности нарративы, вносят подтекст и контекст в объяснительную деятельность, то актуализируется проблема субъекта объяснения, который воспроизводится самой объяснительной процедурой, включенной в соответствующие социокультурные, в частности лингвистические, структуры.

Под субъектом объяснения можно понимать индивида как представителя некоторого сообщества в широком или узком смысле слова

1 Афанасьев О. И. Проблема розуміння в структурі наукового пояснення // Філософська думка. – 1986. – № 1. – С. 39–47.

с определенными исторически и социально различными нормами и традициями, языковыми и психологическими особенностями. Субъектом научного объяснения можно считать ученого как представителя научного сообщества или конкретной научной школы, использующего научный язык, исповедующего определенные идеалы науки, «нормального» ученого, работающего в рамках определенных научных норм, не помышляющего выйти за пределы данной научной традиции, или, напротив, «революционера», стремящегося выйти за пределы сложившихся представлений.

Кроме того, ученые или другие индивиды как субъекты объяснения живут повседневной жизнью, структуры которой не могут не отразиться на их образной системе видения мира, на их мышлении и деятельности, в т. ч. научных. В ходе объяснения явно и неявно применяются разнообразные лингвистические структуры, например, повествовательные, усвоенные индивидами в процессе социализации. При всех детерминирующих индивида социокультурных, лингвистических, научных нормах сама объяснительная процедура требует того, кто их «переварит», применит и даже изменит применительно к конкретному случаю. Таким образом, субъект объяснения, в частности научного, аккумулирует в себе практически все каналы вхождения личностных, социальных, ментальных, лингвистических, культурных факторов в объяснительную процедуру, являясь неустрашимым элементом объяснительного процесса. Понятие субъекта объяснения позволяет не только выйти за рамки узкого логицизма или методологизма при изучении процесса объяснения, но и представить его как личностно-субъективный процесс, реализующий, внедряющий, изменяющий интерсубъективные нормы и идеалы.

Субъект объяснения обычно включен в одну из двух типичных ситуаций: первая – формирование объяснения, когда имеет место объяснение-процесс, и вторая – его трансляция, дающая объяснение-результат. Из-за этого субъект объяснения как бы раздваивается. Тот, кто производит объяснение, есть субъект объяснения-процесса. Тот, кому адресуется объяснение, есть субъект объяснения-результата.

В первой ситуации имеет место становление (формирование) объяснения, когда субъект как бы объясняет нечто самому себе, доводя его до приемлемого уровня. Здесь типичны два варианта. В одном из них субъект дает объяснение, не выходя за пределы имеющегося видения, общих представлений, верований и научных концепций.

В этом случае культурный контекст, например, идеалы и нормы объяснения, образная картина мира или иные предпосылки используются неявно, поскольку не требуют специального осмысления, они привычны, сами собой разумеются. Новое знание не противоречит сложившимся представлениям. Здесь объяснение легко формализуется и роль субъекта сводится к накоплению знаний и умелому выбору объяснительных положений, что Т. Кун назвал решением головоломок.¹ В другом варианте, когда имеющегося арсенала объяснительных средств недостаточно, субъект формулирует принципиально новую концепцию, оригинальное видение, закладывающее основы нового понимания. Тут неизбежно возникает вопрос о неявном предпосылочном, чаще всего «личностном», знании,² в то время как в первом случае – о предрассудке данной эпохи, который во многом определяет индивидуальные представления.

Своеобразное знание, именуемое предрассудком, означает то, что предшествует рассудку. Традиция европейского Просвещения придала термину «предрассудок» негативный смысл. Однако если объяснение, как и всякий познавательный акт, осуществляется при обязательном использовании неявного предпосылочного знания, не столько обуславливающего ошибки и заблуждения, сколько задающего определенные направления интеллектуальной деятельности, а порой и результаты, то понятие предрассудка приобретает положительный смысл. Предрассудок ответственен за определенный смысловой фон, контекст и подтекст объяснения. Предрассудок можно назвать и предпониманием, если иметь в виду понимание как мыслительную процедуру субъекта объяснения, заключающуюся в приписывании смысла некоторому объекту. Примером предрассудка может служить аналогия как идеал объяснения в Средние века или объективно-каузальное объяснение как идеал науки Нового времени. Каждый из них предвосхищал соответствующие смыслы используемых терминов и их связь в некоторую целостность, обеспечивающую то или иное понимание, в рамках которого давалось объяснение некоторому частному феномену: затмению луны как Божественному промыслу или как естественному процессу движения небесных тел. В этом плане предрассудок неявно предопределяет выбор модели объяснения. Поэтому так важно сделать его явным.

1 Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. – 288 с.

2 Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – 343 с.

Но тогда, когда контекст эпохи осознан, предрассудок определен, ответственность за выбор модели объяснения лежит уже на субъекте объяснения. Объективные социокультурные детерминанты не могут полностью описать этот процесс, хотя бы потому, что новые принципы понимания проблемы логически не вытекают из прежнего знания и даже противоречат ему.

Во второй типичной ситуации, в которую включен субъект объяснения, осуществляется трансляция объяснения либо в «своей» традиции, когда субъект объясняет нечто собственному сообществу, либо в «чужой», когда объяснение воспроизводится или изучается в иной культурной ситуации. В зависимости от того, кому объяснение предназначено, используются разнообразные повествовательные структуры, применяются метафоры, различные лингвистические аналогии и другие изобразительные средства языка. Благодаря, например, метафорам создается наглядная картина явления или порождаются ассоциации, позволяющие уловить новые смыслы. Так, современные представления о мегамире включают странные, на первый взгляд, термины: «горловина», «дыра» и др. Контекст объяснения и предрассудки эпохи связаны в языке, мыслительных нормах, образах мира, бытия, познания, обычной жизни. Достаточно упомянуть дарвиновский метафорический термин «борьба за существование», ненужный в его концепции, поскольку там фигурировало понятие «естественный отбор». Но в повседневности викторианской эпохи, в ситуации политических столкновений термин «борьба» был более понятен субъекту объяснения-результата.

Особое значение, в частности для объяснительных моделей, в гуманитарном знании имеют специфические повествовательные структуры, включенные в описательные и объяснительные процедуры, например нарративы. Даже если не соглашаться с идеей Ж. Ф. Лиотара о замене объяснительных теорий нарративами, следует признать присутствие нарративных структур не только в литературе, но и в истории, философии, науке, что порой осмысливается как проявление нарративной рациональности и осознается как нарративный поворот в эпистемологии.

Как уже отмечалось выше, среди отличительных черт нарратива обычно фиксируют наличие конечной цели повествования, из которой все упоминаемые события получают объяснение, отбор наиболее важных событий, непосредственно относящихся к конечной цели,

и упорядочивание событий в определенную временную последовательность – осюжечивание. Кроме того, по сюжетной линии определяют многообразные формы нарратива, например, прогрессивный или регрессивный. И постановка цели, и отбор событий, и осюжечивание, и характер нарратива не могут быть полностью растворены в социокультурных нормах, т. к. зависят от субъекта объяснения.

Нарративы участвуют в объяснительных процессах как минимум в трех случаях: 1) когда сам нарратив выступает объяснением; 2) когда нарратив в качестве лингвистической структуры неявно присутствует в объяснении; 3) когда объясняющая теория транслируется (раскаывается) в культуре.

Вообще в нарративном объяснении событие или явление характеризуются путем указания на его роль и значение в связи с определенной целью, проектом или некоторой целостностью, иными словами, проясняется его значение, вытекающее из последовавших за ним других событий, результатов, последствий.

Нарративы обладают хорошей объяснительной способностью в сферах, привычно использующих различные повествования, например, в теории литературы и кино, в исторических дисциплинах, в философии, этнографии, теологии, психоанализе. Они связывают неизвестное с известным различными способами, в т. ч. путем указания определенного правила, схемы, сценария, сравнения, метафоры, аллегории и т. д., в частности когда создается исторический нарратив. Например, историк, пытается выстроить повествование так, чтобы события, представленные в истории, а также действия персонажей были понятны вне зависимости от того, какой промежуток времени отделяет читателя от происходящих в истории событий. Причем чем длиннее этот промежуток, тем более непонятными кажутся давние события. Они выглядят странными, загадочными, таинственными в основном из-за своей укорененности в древних способах жизни, отличных от наших. Историк придает смысл древним событиям, описывая их в категориальных формах культуры, таких как философские понятия, религиозные верования, нравственные нормы, формы повествований. В результате прошлое представляется как реальность, продолжением которой является современность. Немаловажно, что выделяются наиболее важные и исключаются «ненужные» события, исходя из цели повествования, выбирается определенный стиль и точка зрения, словно формируется сюжет художественного

произведения, автором которого и одновременно субъектом объяснения выступает историк.

В гуманитарных дисциплинах нарративные объяснения выступают важнейшим способом перехода на теоретический уровень организации знания, обеспечивая целостность, непротиворечивость, систематичность и другие характеристики теории. Например, они придают смысл человеческим действиям, представляя их как закономерные связи и отношения. Этому служат понятия, образующие повествовательную схему: цели, мотивы, интенции, препятствия, непредвиденные обстоятельства и т. п. Благодаря им несвязанные и независимые предметы, явления и события рассматриваются как связанные элементы целого. В объяснениях деятельности социальных групп и народов нарративы демонстрируют взаимосвязанность, закономерность, значимость разнообразных несвязанных, случайных, незначительных дел и событий, увязывая их в целостные образования. Индивидуальная жизнь как единый и целостный феномен не распадается на бесконечное множество самостоятельных событий и явлений, а объясняется с помощью автобиографического или биографического нарратива, выстраивающего четкую сюжетную линию. По-видимому, нарратив составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую и социокультурную основу нашего объяснения мира.

В естественных науках также достаточно очевидна локальность производства и трансляции знания с использованием различных риторических приемов и повествовательных схем учеными, чтобы придать своим научным результатам вид объективных, трансцендентальных, вневременных и универсальных истин. Так, «Оптика» Ньютона использовала принципы построения и терминологию работ Эвклида, заимствуя их риторическую силу, хотя содержала только описания экспериментов и их результатов.¹

Объяснительную силу имеют не только научные понятия и принципы, но и сама используемая субъектом структура научных текстов. Создается иллюзия, что тексты говорят как бы от имени природы, благодаря условной риторике и образцам научной речи, например, опусканию местоимений, использованию страдательного залога, беспристрастному тону и другим обязательным лингвистическим

1 Харре Р. Социальная эпистемология: передача знания посредством речи // Вопр. философии. – 1992. – № 9. – С. 49–62.

структурам, делающим научные тексты убедительными. В этом плане субъект вновь расщепляется, но уже на автора и объясняющего. Автор объяснения, как обычный индивид со своей биографией, эмоциями, заблуждениями и т.п. отличается от «объяснителя», говорящего как бы от имени истины, хотя реально это одно и то же лицо. Справедливо отмечает Р. Барт: «тот, кто говорит, – это не тот, кто пишет, а тот, кто пишет, – это не тот, кто существует».¹

В объяснительном тексте обычно убираются все, что может указывать на автора. Только специальное исследование, например, биографическое или методологическое, может восстановить авторский след, что порой имеет существенное значение для субъекта объяснения-результата. А в самой структурной организации научной теории, особенно естественнонаучной, и при построении следствий на первый план выходят ненарративные формы представления знания. Например, научная теория предсказывает явления или события, которые еще неизвестны, следовательно, они не могут служить фактором выделения причиняющих их явлений или событий.

Этот феномен порой используют для различения логико-научной, или парадигматической, и нарративной рациональности.² В таком случае нарративное объяснение событий строится посредством прояснения их значения, вытекающего из последовавших за ними других событий, а «парадигматическое» объяснение демонстрирует связь данного утверждения с другими на основе формальной логики.

Имеет место как противопоставление традиционных объяснительных схем нарративным, так и их сближение. Например, К. Хьюбнер, ссылаясь на А. Данто и солидаризуясь с ним, полагает, что строгое дедуктивное объяснение и повествование – это две различных формы объяснения, причем одно может быть переведено в другое.³

При всей популярности нарратологического подхода, особенно в исторических науках, именно здесь можно встретить и немало возражений против нарратологических объяснений: то их обвиняют в ненаучности, в литературности, то в лингвистической привязке, не позволяющей выйти в реальную историю, то в субъективизме. Последнее замечание веско аргументировано. Действительно, в нарративе

1 Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. – М.: Прогресс, 2000. – С. 221.

2 Bruner J. Actual Minds, Possible Worlds. – Cambridge: Harvard University Press, 1986.

3 Хьюбнер К. Критика научного разума. – М.: ИФРАН, 1994. – С. 248.

часто присутствует такая упорядоченность фактов, которую только данный историк считает важной. Нередко историк вставляет в нарратив даже выдуманные факты ради наполнения исходного материала эмоциональной, жизненной насыщенностью, что обеспечивает эффект присутствия читателя в исторической ситуации. Такой текст кажется весьма убедительным благодаря последовательности повествования, убедительной нарративной увязке разнообразных данных. Нередко это представляется более доказательным, чем логика поведения исторических агентов или законы функционирования социальной системы, или набор статистических каузальных связей именно за счет изобразительности «живой жизни». Нечто подобное в определенных рамках имеет право на существование, ведь даже Гегель называл такие повествования прагматической историей, но, с точки зрения классической науки, это недопустимо. Если история хочет оставаться на почве строгой науки, нарративные объяснения, как минимум, не должны быть ни определяющими, ни единственными. Нарративная стратегия исторических дисциплин и вообще гуманитаристики не должна подменять научную объективность.

По-видимому, в случае вовлечения в науку текстов из сферы гуманитаристики от нарративности как решающего признака гуманитаристики можно избавиться, если конечно считать ее недостатком, что отнюдь не очевидно, на пути применения математических или системных методов за счет применения формального языка, свободного от соответствующих топологических фигур. Однако это не альтернатива, скорее хорошее дополнение к нарративности гуманитаристики.

В обоих случаях определенная роль принадлежит субъекту объяснения, а в нарративных объяснениях эта роль решающая. В парадигматическом объяснении индивидуальный талант и профессионализм нередко определяют удачность выбора эксплананса и убедительность объяснения как в случае имеющейся парадигмы в нормальной науке, так и в случае создания новой парадигмы в революционной науке. При воспроизведении подобных объяснений роль субъекта весьма незначительна. В нарративном объяснении субъект определяет цель, т. е. то событие, к которому ведет выстроенная им последовательность, отбирает главные, с его точки зрения, события, выстраивая их в соответствующий его пониманию сюжет. Подобное осужечивание – главный признак нарративного объяснения

и демонстрация его субъективности, хотя последняя различными лингвистическими приемами скрывается. В то же время такое объяснение не следует считать совершенно произвольным. Порядок повествования в некотором смысле задан: существуют разнообразные, но определенные культурные нормы, в которых сформировался субъект и в которых может разворачиваться реальная жизнь, научное и культурное творчество и сама наррация.

Распространение теорий, научные публикации, коммуникации в рамках научного сообщества также включают в себя различные повествовательные структуры. Трансляция, как и создание, научных текстов даже в естественных науках, а тем более – в гуманитарных, во многом определяется дискурсивными практиками, принятыми в тех или иных научных сообществах. Примерами могут служить преобладающие социальные представления, идеологические, моральные, политические предпочтения, которым придается вид объективных и беспристрастных описаний мира. В ряде культурных текстов скрыто присутствуют расистские нарративы, исторические описания, оправдывающие ценности современности и многообразные идеологические предпочтения субъекта объяснения.

Иными словами, субъект объяснения аккумулирует в себе практически все каналы вхождения личностных, социальных, ментальных, лингвистических, культурных факторов в объяснительную процедуру. Структура объяснения, в частности нарративные конструкции в объяснительных процессах, постоянно воспроизводят потребность в субъекте объяснения как неустранимом его компоненте, реализующем, внедряющем, изменяющем интерсубъективные нормы и идеалы. Субъект объяснения предопределяет и формирование объяснения, и его трансляцию, как в случае парадигматического, так и нарративного объяснения, как при сохранении классических объяснительных схем, так и при нарративной объяснительной стратегии, выбирая соответствующие нарративные и социокультурные формы, а, следовательно, полностью неся ответственность за построение объяснения.

Рассмотрение субъекта объяснения как важнейшего компонента структуры объяснительного процесса, а вместе с субъектом и нарративной стратегии как его неизбежного спутника, позволяет расширить рамки анализа объяснительной процедуры и помогает более адекватному представлению модели объяснения.

Таким образом, можно констатировать следующее.

Наряду с классическими объяснительными схемами существуют, особенно в гуманитаристике, нарративные объяснения. Нарративы участвуют в объяснительных процессах как минимум в трех случаях: 1) когда нарратив явно задействован в объяснении; 2) когда нарратив в качестве лингвистической структуры неявно присутствует в объяснении; 3) когда объясняющая теория транслируется в культуре. Нарративная направленность объяснения задается субъектом объяснения как неотъемлемым компонентом объяснительной процедуры, аккумулирующим практически все каналы вхождения личностных, социальных, ментальных, лингвистических, культурных факторов в объяснительную процедуру. Нарративные объяснения, придавая смысл человеческим действиям, демонстрируют взаимосвязанность, закономерность, значимость разнообразных несвязанных, случайных, незначительных дел и событий, увязывая их в целостные образования и снабжая жизненной выразительностью, являясь существенным дополнением ненарративных объяснительных схем.

ГЛАВА 3. ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ: ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

3.1. КОМПОНЕНТЫ ГУМАНИТАРНОЙ ТЕОРИИ

В методологической литературе под научной теорией обычно понимают определенную систему подтвержденного знания, объясняющую некоторую совокупность явлений. В достаточно сложной структуре теории в первую очередь выделяют несколько обязательных компонентов, совокупность которых и делает данное знание теорией. Чаще всего обращают внимание на следующее. 1. Принципы, без которых невозможна организация теории и которыми выступают постулаты, аксиомы, теоретические допущения и даже отдельные законы, определенным образом высвечивающие эмпирический базис теории. Важную роль, особенно в фундаментальных теориях, играют философские представления. 2. Идеализированные объекты, которые отличают теорию, например от эмпирического знания. 3. Совокупность законов и выводимых из них утверждений, образующих структуру теории и выражаемых в некоторой совокупности понятий, образующих ее язык и основные смыслы – концептуальное поле. 4. Сфера применимости и сфера предсказания, которые связывают с технологическим воплощением теории. 5. Объект и предмет теории. Иногда специально выделяют концепт теории – ее ключевые смыслы. Концепт обеспечивает системное представление (понимание) объекта и предмета. Часто подчеркивают, что в теории присутствует логика, по правилам которой выводятся следствия и одни утверждения из других. Но этот логический аппарат не всегда фиксируется в явном виде, поскольку им может быть не только

специальный логико-математический аппарат. Нередко по умолчанию предполагается аристотелевская логика и соответствующие правила вывода.

Считается, что перечисленных признаков достаточно, чтобы систему знаний назвать научной теорией¹. Указанные компоненты выделялись при анализе естественнонаучного знания и порой служили аргументом против попыток квалифицировать гуманитарное знание как теории или для противопоставления естественных и гуманитарных наук и их методов. Между тем, можно показать, что некоторые гуманитарные теории соответствуют вышеперечисленным признакам.

Принципы теории. Принципы теории позволяют систематизировать эмпирический материал, строить систему понятий и законов, поэтому их еще называют системообразующими признаками. Это могут быть аксиомы в математических и логических теориях, фундаментальные законы в теории Ньютона, уравнения Шредингера в квантовой механике, законы Кирхгофа в теории электрических цепей и т. д. В гуманитарных науках соответствующие принципы также служат способом организации изучаемого материала в систему. Так, в исторических науках аграрные законы Рима могут служить основой упорядочивания событий римской истории. В других теориях в основу истории Рима положено римское право, в-третьих – классовые противоречия. О роли исходных принципов в теориях литературоведения свидетельствует дискуссия, развернувшаяся между символистами и формалистами в начале XX в. в России. Подход, идущий от А. Потебни и поддерживаемый А. Белым, А. Блоком, В. Ивановым, основывался на принципе, гласящем, что поэзия есть мышление образами. При таком подходе звуки стиха выступали чем-то второстепенным и нужно было искать то, что за ними стояло, в частности истолковывать смыслы образов. Подход формалистов в лице Б. Эйхенбаума, О. Брика, Л. Якубинского и др. основывался на принципе, утверждавшем самостоятельную роль и самоценность звуков в стихах. Благодаря этому исходному принципу теория формалистов совершенно иначе выделяла и истолковывала стихотворный и прозаический материалы. Из него следовало, что словесное искусство должно изучаться в его специфических

1 Костюк В. Н. Методология научного исследования. – К.-О.: Вища шк., 1976. – С. 61–65.

чертах, определяемых формой, и что для этого необходимо исходить из различных функций поэтического и практического языка. На этой основе были обнаружены ритмико-синтаксические фигуры. Теория стиха становилась на путь разработки ритма как конструктивной основы стиха, выявлялась проблема конструкции художественного произведения. В связи с этим литературные произведения получили точные критерии для оценки и интерпретации. Некоторые из них получали новое видение. Б. Эйхенбаум по этому поводу писал: «В связи с вопросом о конструкции новеллы была написана и моя статья «Как сделана «Шинель» Гоголя», ставящая рядом с проблемой сюжета проблему сказа – проблему конструкции на основе повествовательной манеры рассказчика. В статье этой я старался показать, что гоголевский текст «слагается из живых речевых представлений и речевых эмоций», что слова и предложения выбираются и сцепляются у Гоголя по принципу выразительного сказа, при котором особенная роль принадлежит артикуляции, мимике, звуковым жестам» и т. д. С этой точки зрения разобрана композиция «Шинели», построенная на смене комического сказа (с анекдотами, каламбурами и пр.) сентиментально-мелодраматической декламацией и придающая повести характер гротеска. В связи с этим конец «Шинели» трактуется как апофеоз гротеска – нечто вроде немой сцены «Ревизора». Традиционные рассуждения о «романтизме» и «реализме» Гоголя оказывались ненужными и ничего не уясняющими»¹. Таким образом, новый исходный принцип предопределил не только иную организацию исследуемого материала, но и новые следствия, что дало неожиданный ракурс видения художественного произведения.

Аналогичным образом поступает историк, пытаясь осмыслить некоторый документ, исходя только из знания существовавших в то время, допустим, экономических отношений. Он знает о них из других документов, с помощью которых он упорядочивает многообразие фактов и представляет его в виде некоторой целостности, основанной на определенных принципах. Иными словами, исходя из данных принципов он конструирует теорию, которая позволяет ему объяснить документ, и потом с помощью понятого таким

1 Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода». V. / Б. М. Эйхенбаум // О литературе. – М.: Сов. писатель, 1987. – С. 375–408. – Режим доступа: <http://www.opojaz.ru/method/method05.html>.

образом документа рассмотреть и объяснить факты. Подобным способом изобилие исторических данных подвергается упорядочиванию, превращаясь в систему, которой приписывается всеобщий характер на основе некоторых принципов. Наличие различных принципов, образующих различные теории, по-разному объясняющие эмпирические факты, только подтверждает вышесказанное. Так, римская экспансия объясняется одними авторами через элементарный принцип стремления к власти, который можно вывести, например, из классового подхода. Другими – исходя из юридического принципа нарушения законов Рима его врагами, что давало римлянам «законное» право расправиться с ними. Можно вывести всю внешнюю политику Рима из его конституционных принципов и т. д. Подобные принципы Хюбнер называет аксиоматическими установлениями научных исторических теорий, которые принимаются *a priori*, как и в естественных науках¹. Хюбнер делает далеко идущий вывод: «Историк на самом деле работает так же, как естествоиспытатель. Ведь и здесь, и там каждый отдельный факт может быть увиден только в свете теории. Он зависит от теории. А теория, следовательно, является условием возможного познания»².

Идеализированные объекты теории. Идеальные теоретические объекты – идеализации или конструкты – являются отличительным признаком науки любого предметного содержания. С их помощью осуществляется моделирование исследуемой реальности. Идеализированные объекты классической теории представляют собой, с одной стороны, упрощение исследуемого объекта, игнорирование многих реальных связей и отношений, но, с другой стороны, и его «доводку до идеала» в процессе создания теории. Как инструменты духовного освоения мира они образуют особого рода реальность объективированных мыслительных форм, которая, будучи онтологически вторичной, тем не менее, также обладает объективностью, так сказать, «второго порядка» – объективностью проективно-конструктивной деятельности человека, точнее интерсубъективностью в пределах данного научного сообщества. В естественных науках это «идеальный газ», «абсолютно черное тело» и др. В гуманитарных науках это «гештальт» в гештальтпсихологии, «общественно-экономическая формация» К. Маркса, «идеальные типы» М. Вебера.

1 Хюбнер К. Критика научного разума. – С. 253–255.

2 Там же. – С. 255.

Специфика конструкторов в гуманитарных теориях состоит в том, что они не столь общезначимы, как в естествознании, и ограничены определенной школой или последователями некоторого направления, из-за чего часто связаны с именем автора. Однако их теоретическая эффективность не меньше, чем в естественнонаучных теориях. Они позволяют конструировать, организовывать исследуемую историческую, психологическую, социально-историческую реальность, способствуя объединению разрозненных явлений в целостную мыслительную картину и в этом контексте изучать отдельные феномены. Вебер, например, выделяет две идеальнотипические организации экономического поведения: традиционную и целерациональную. Преодоление традиционализма связано с развитием современной рациональной капиталистической экономики, которая предполагает наличие определённых типов социальных отношений и определённых форм социального порядка. Несмотря на то, что сам Вебер пытался уйти от диктата естественнонаучных идеалов, доказывая гуманитарный характер социологии, тем не менее аналогия теоретических конструкторов в естественнонаучных и гуманитарных теориях довольно прозрачна.

Относительно идеальных объектов гуманитарной теории следует помнить, что им также опасно придавать онтологический статус. Между тем люди нередко действуют так, будто эти конструкции и есть реальный мир, а ее идеализированные объекты – реальные связи и отношения самой действительности, что ведет к насаждению утопий в социально-политической практике. А. Платонов в 30-х гг. точно подметил: «Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренне думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного плаката»¹. Правда, это был лишь один из миров. Другие миры, наличествующие в то же время, существенно отличались от этого: мир обывателя, чиновника-карьериста и др. Примером также может служить сформировавшийся за годы советской власти тип «*homo soveticus*» вместо культивируемого всеми государственно-партийными средствами «нового человека». «Фактически нам действительно удалось создать человека советской формации, освобожденного от всякой инициативы, а, следовательно, и от всякой ответственности. Он родился в недрах казарменного социализма –

1 Платонов А. П. Деревянное растение: из записных книжек (1927-1950). – М.: Правда, 1990. – С. 13.

тоталитарной системы, убивающей все живое, непосредственное, чувствующее, открытое для мира. Этот человек равнодушен и хмур. Он гордится своей нищетой и невежеством, готов довольствоваться минимумом, только чтобы ничего не делать и ни за что не отвечать. Он завистлив к чужому достатку, к достижениям ближнего и агрессивно настроен против любого, кто не укладывается в общий ряд посредственностей, равно как и против любых начинаний, грозящих привычному укладу жизни»¹. Хотя здесь описан литературно-шаржированный тип, он не так уж далек от реальности. Поэтому желателен тщательный учет многообразных возможных следствий пропагандируемых идеализаций, которые могут не совпадать с декларируемыми.

Законы в гуманитарных теориях. Теории в естественных науках, помимо прочего, имеют своей целью объяснение определенного класса природных явлений. Это осуществляется, в частности, с помощью широкой системы естественных законов. Применительно к гуманитарным наукам о многих, если не обо всех, теориях в принципе можно сказать то же самое, только функцию объясняющих законов в них могут выполнять другие структуры. Тогда теории можно различать по степени близости к собственно номологическому объяснению, т. е. через законы, установленные в данных теориях.

Сторонники единой методологии науки пытались доказать научность, например, истории демонстрацией номологических объяснений в исторических текстах. В результате сложилась модель охватывающего закона в истории в рамках подводящей теории объяснения². Эта модель вызвала серьезную критику, особенно по поводу несоответствия практике исторических исследований, где историки вовсе не озабочены поисками общих законов для объяснений³. Объяснительную функцию, как выяснилось, могут выполнять лингвистические структуры соответствующего текста, в котором изложены результаты исследования и сам текст в целом. Это хорошо видно на примере марксистских объяснений, которые вполне соответство-

1 Теория и жизненный мир человека/РАН. Ин-т философии; ред. В. Г. Федотова. – М.:ИФРАН, 1995. – С. 190.

2 Гемпель К. Функция общих законов в истории/К. Гемпель // Логика объяснения. – М.: Дом интеллект. кн., Рус. феноменолог. о-во, 1998. – С. 16–31.

3 Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 496 с.

вали номологической схеме и были весьма убедительны, но лишь в рамках марксистского дискурса.

Исследования лингвистических структур научных текстов пролили дополнительный свет на реальные и конструируемые структуры, в т. ч. законы, закономерности, тенденции, выполняющие описательные, объяснительные, предсказательные и иные функции. В частности, требования к теории, сохранив необходимость исходных принципов, идеальных моделей, специальной терминологии, допускают в качестве средств выводов и рассуждений логику естественного языка с его лингвистическими фигурами, нарративность объяснений, апелляцию к сложившимся в культуре правилам и нормам, выступающим в роли объяснительных законов, и прочие «смягчающие обстоятельства». Не последнюю роль играют и многоаспектность гуманитарных объектов, и интертеоретическое окружение, и социально-культурный контекст.

Во-первых, некоторые объяснения, к примеру, исторические, нередко используют законы других наук: психологии, биологии, физики. Во-вторых, вместо законов природы здесь могут выступать правила и нормы из определенной области знания, например, из римского права в исторических теориях или особые ритуалы, стереотипы поведения, неявные или явные правила деятельности: нравственные, политические, юридические и пр. Подобного рода образования так же, как и законы природы, служат объяснению определенного класса исторических, психологических, литературных явлений. Правда, нужно обладать недюжинными знаниями, чтобы определить адекватность применения соответствующего объясняющего положения. Так, можно объяснить растространенный в позднее средневековье мотив искусства: изображение ада, страшного суда и других ужасов, – пережитой коллективным сознанием травмой, вызванной эпидемиями чумы. Подобное объяснение хорошо укладывается в законы психологии. Однако эпидемии чумы случались и в античности, например в период пелопонесских войн, но они не спровоцировали изображение ужасов в литературе или искусстве того времени, т. е. психоаналитическое объяснение в качестве «всеобщей» формы здесь не подходит, хотя игнорировать его нельзя. Более подходящим способом будет учет особой духовной ситуации, связанной с христианскими образами мировоззрения и искусства, выступающими своеобразными законоподобными правилами.

К такого рода правилам Хьюбнер относит, в частности, десять библейских заповедей, нравственный категорический императив, различные политические директивы как всеобщие направляющие политической воли, например, Устав Объединенных наций или идею национализации промышленности. Указанные правила составляют основу экономического и социального строя, даже если они не зафиксированы письменно, не кодифицированы. Это справедливо и в отношении юридических кодексов, и вытекающих из них законов. В искусстве и религии также обнаруживаются общие правила, например, в виде законов учения о гармонии, в виде основ тонических систем, в виде элементов стиля, форм культовых действий и т. д. «Множество примеров, которые могут быть здесь приведены, почти столь же велико, как и многообразие сфер жизни. Вся наша жизнь протекает по правилам, которые зачастую не уступают в строгости и точности законам природы. Можно вспомнить о повседневных правилах общения, вежливости, гостеприимства и поведения, правилах уличного движения, бизнеса и товарообмена, правилах поведения на производстве и при исполнении служебных обязанностей, и прежде всего – о правилах речи. Даже когда мы играем, мы отдаем себя во власть строгих правил – правил игры»¹. Подобные правила, как и законы, обладают признаками повторяемости, всеобщности, необходимости в определенных культурных, исторических, национальных и других рамках. Люди всегда так поступают и иначе поступить не могут по нравственным, идеологическим, юридическим и иным соображениям, с необходимостью и предсказуемостью определяющим их поведение. Хотя правила и нормы изредка нарушаются, чего нельзя сказать о природном законе, но указанные нарушения также вызваны определенными причинами, обусловленными некоторыми другими правилами или даже законами. Но реализующиеся при этом физические или биологические законы историк не использует для исторического объяснения: ему интересны не они, а вышеназванные правила или нормы, действующие как законы.

Хьюбнер, ссылаясь на Данто и солидаризуясь с ним, полагает, что строгое дедуктивное объяснение и рассказ – это две различные формы объяснения, причем одно может быть переведено в другое². А. Данто, на которого ссылается Хьюбнер, – родоначальник

1 Хьюбнер К. Критика научного разума. – С. 243–244.

2 Там же. – С. 248.

аналитической философии истории, подведший своеобразный итог нарративистским наработкам в этой науке. Из-за чего его работу «Аналитическая философия истории» (1965) даже сравнивают с «Суммами» Ф. Аквинского. В указанной работе Данто показал, что структура исторического объяснения и структура нарративных предположений совпадают. Вот как демонстрирует Хьюбнер, солидаризуясь с Данто, совпадение объяснения и нарратива:

(1) x – это F в момент t_1 ;

(2) ко времени t_2 с x происходит H (т.е. действует либо всеобщий закон, либо некий причинный эпизод);

(3) x становится G к моменту t_3 .

Таким образом, средняя часть рассказа (2) объясняет, как произошло преобразование (1) в (3). Хотя это объяснение может и не содержать всеобщего закона, его можно вывести: F , с которым происходит H , становится G . Упомянутый в третьей посылке закон далеко не всегда будет тривиальным, особенно если речь идет о сложной биологической или психологической ситуации. При этом следует учитывать, что повествования обычно описывают преобразования, охватывающие большой отрезок времени, поэтому средняя часть состоит из множества шагов, повторяющих по форме рассказ в целом (атомарные рассказы). В заключение перечисляются следующие отличительные особенности связного рассказа, который ожидается от историка: 1) рассказ повествует о некотором преобразовании, причем нечто является непрерывным субъектом этого преобразования; 2) в рассказе объясняется преобразование этого субъекта; 3) рассказ содержит столько информации, сколько необходимо для (2). Иными словами, заключает Хьюбнер, здесь отчетливо видна аналогия с дедуктивным объяснением¹.

Таким образом, в гуманитарных теориях обнаруживаются структуры, важные для научного объяснения, предсказания, ретросказания, описания и других функций научной теории, сходные со структурами естественнонаучных теорий. Это законы или выполняющие их роль правила и нормы, а также нарративы, либо включающие в себя законы, либо могущие быть преобразованными в законы.

В то же время другие авторы усматривают в нарративности и иных специфических повествовательных структурах, включенных в описательные и объяснительные процедуры, неустранимую

1 Хьюбнер К. Критика научного разума. – С. 248.

специфику гуманитаристики, принципиально отличную от номологических объяснений. Ж. Ф. Лиотар даже предлагает заменить объяснительные теории нарративами. Адепты этой точки зрения указывают на присутствие нарративных структур не только в литературе, но и во многих, если не во всех, научных теориях, что порой осмысливается как проявление нарративной рациональности и исследуется как нарративный поворот в эпистемологии. Х. Уайт в своей «Метаистории» четко определяется: объяснения исторических событий состоят из комбинации логико-дедуктивных и топологически-фигуративных компонентов¹. И чуть далее еще более определенно подчеркивает неадекватность научной «номологически-дедуктивной» парадигмы как орудия исторического объяснения². Что касается неадекватности «номологически-дедуктивной» парадигмы, то это, как было отмечено выше, явное преувеличение, которое отнюдь не следует из факта нарративности исторических и других гуманитарных объяснений. Но верно то, что нередко нарративность выглядит как противоположность номологическим формам, особенно если акцент делается именно на нарративности или других неномологических структурах теории.

Отмечаемая исследователями нарративность исторических теорий, сближающая науку с литературным повествованием, порой преувеличивается в пользу последнего. Слова, грамматика и синтаксис любого языка не подчиняются ясному правилу, позволяющему различить денотативное и коннотативное измерения данного высказывания. Обычно поэты достигают необыкновенно впечатляющего эффекта, играя с этой двусмысленностью, что также верно и в отношении великих нарративизаторов исторической реальности³. Историки и хотели бы говорить буквальные вещи и ничего, кроме истины, не рассказывать об объекте своего исследования, но невозможно повествовать, не прибегая к фигуративной речи и дискурсу, который по своему типу является скорее поэтическим (или риторическим), нежели буквалистским. Чисто буквалистское описание того, «что произошло» в прошлом, может быть использовано только для создания анналов или хроники, но не «истории». Историография является дискурсом, который, как правило, нацелен на конструкцию прав-

1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – С. 8.

2 Там же. – С. 9.

3 Там же. – С. 10.

доподобного повествования о серии событий, а не на статическое описание положения дел¹.

Действительно, никто не сомневается, что исторические события происходят и более или менее адекватно фиксируются хронистами, летописцами или другими современниками. Соответственно «феодализм», «капитализм», «средневековье», «папство», «пролетариат», «социалистическая революция» и др. имели место в действительности, причем до того, как историки или философы начинали их анализировать. Но представить подобные феномены как объекты исторической науки совсем не означает их фотографически «отразить» в теории. Приходится использовать определенную устойчивую манеру языка, с помощью которой исторический мир представляется и наделяется смыслом. По-видимому, здесь много вымысла, о чем свидетельствует хотя бы возможность по-разному представить исследуемые феномены. Но если мыслительные операции вполне рациональны, выводы, где нужно, дедуктивны, объяснения номологичны, хотя за нарративной формой текста все это далеко не всегда осознается, то ничто не мешает такие теории считать научными. Сомнения возникают тогда, когда акцент делается на нарративности и лингвистических фигурах как проявлениях литературности. Как бы там ни было, исторические факты концептуально конструируются в мысли, а в виде лингвистических фигур – в воображении и существуют в соответствующем дискурсе. Изменение дискурса будет означать переконструирование исторического события, но лингвистическая фигуративность, скажем, нарративность, останется неизменной. Измениться может лишь тип нарратива, например, комедийное описание вместо трагедийного, если верно гегелевское замечание о том, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Точнее было бы сказать: не повторяется, а описывается.

Уайт, демонстрируя нарративную природу исторических исследований, заключает, что исторические концепции «являются в действительности формализациями поэтических озарений, которые аналитически предшествуют им и которые санкционируют конкретные теории, используемые для придания историческим изложениям вида объяснения»².

1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – С. 13.

2 Там же. – С. 20.

По мнению Уайта, в тексте работают не только отдельные нарративные эпизоды, но сам текст исторического описания как целостное образование выполняет функцию объяснения без всякой апелляции к законам. Истории (как и философии истории) объединяют определённый объём «данных», теоретических понятий для «объяснения» этих данных и повествовательную структуру для их представления в виде знаков совокупности событий, предположительно случившихся в прошлые времена. Кроме того, настаивает Уайт, они включают глубинное структурное содержание, которое по своей природе в общем поэтично, а в частности лингвистично, и которое служит в качестве не критически принимаемой парадигмы того, чем должно быть именно «историческое» объяснение. Эта парадигма функционирует как «метаисторический» элемент во всех исторических работах¹.

Согласно Уайту, нарратив является обязательным спутником исторического объяснения. Признавая успехи научных исторических объяснений, Уайт полагает, что и там не обошлось без нарративов. Уайт идет еще дальше, утверждая, что «общее» историческое объяснение скрыто в самой языковой структуре исторических сочинений. Структура сводится к четырем модусам: «я постулировал четыре главных модуса исторического сознания на основе префигуративной (тропологической) стратегии, которая наполняет каждый из них: Метафору, Синеждоу, Метонимию и Иронию. Каждый из этих модусов сознания обеспечивает основание для особого языкового протокола, посредством которого префигурируется историческое поле [historical field] и на основе которого для «объяснения» этого поля могут быть использованы специфические стратегии исторической интерпретации. Я настаиваю, что посредством объяснения различных тропологических модусов, лежащих в основе трудов признанных мастеров исторического мышления XIX века, могут быть поняты и исследователи, и их связи друг с другом как участников общей традиции исследования. Короче говоря, моя позиция состоит в том, что доминирующий тропологический модус и соответствующий ему языковой протокол составляют неустраняемый «метаисторический» базис всякого исторического сочинения. Я считаю также, что метаисторический элемент в трудах выдающихся историков XIX века образует «философию истории», исподволь скрепляющую их работы»².

1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – С. 17.

2 Там же. – С. 19.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что анализ нарративного содержания гуманитарных теорий, особенно по поводу наличия законов как их объяснительных возможностей, является свидетельством продолжающихся споров о том, к чему ближе история и гуманитарные науки: к науке или к литературе и искусству. И если Данто, Хьюбнер склоняются к первому, то Уайт – ко второму, причем по-разному оценивается нарративная природа гуманитарных объяснений. Вопрос чаще всего в том, что позволяет их считать научными, а что – литературными. Очевидно, что это наличие или отсутствие закона. В локальных нарративах наличие законов или законоподобных правил продемонстрировали Данто и Хьюбнер. С метанарративами, о которых говорит Уайт, дело обстоит несколько сложнее. Уайт верно подметил, что убедительность метанарративу придает весь текст или тексты соответствующей теории и даже все учение как своеобразная метатеория. Однако и здесь нетрудно увидеть номологический след. Так, закономерно выглядит смена цивилизаций у А. Тойнби. Стремясь представить свои теории как научные, авторы подразумевают главный признак научности – законы. Таким законом в марксистской теории, например, был закон смены общественно-экономических формаций, который в терминологии Уайта был типичным метанарративом, в терминах Поппера – историцистским высказыванием, а в марксистском понимании – научным законом, будучи эмпирическим обобщением «Монблана фактов», как образно выразился Ленин. Между прочим, некоторым идеалам науки, по крайней мере, своего времени, марксистская концепция соответствовала¹, из-за чего долгое время слыла научной теорией. Другое дело, что последовательность исторических событий не может быть представлена в виде классических законов. Это тенденции, имеющие вероятностную природу. Кроме того, тенденция может неожиданно прекратить свое проявление или смениться на противоположную. Все это удаляет такие виды гуманитарных объяснений, основанных на нарративах, метанарративах, тенденциях и пр., от классически номологических, что порой затрудняет их отнесение к классически научным. Но они могут соответствовать нестрогим, «смягченным» критериям научности и, оставаясь в сфере науки, возможно, окажутся полезными не только в роли мальчиков для битья, но и в роли «ищущих» стро-

1 Афанасьев А. И., Василенко И. Л. Идеалы научности и формационный подход. – С. 26–28.

гости и точности. Тем более, что нарративы, метанарративы и другие компоненты теорий могут играть ключевую системообразующую роль. А системность – важное свойство теоретичности и научности.

Однако в гуманитаристике по-прежнему сильны позиции сторонников «особости» ее теорий, причем аргументов также набирается немало: от уникальности гуманитарных объектов и произвольности действий субъектов до невозможности или ограниченности применения точных методов. Из этого порой делают вывод, что законы, установленные в гуманитарных науках, если таковое возможно, принципиально иные по сравнению с естественнонаучными. «Объекты гуманитарных наук, в частности, тексты не могут подчиняться законам, подобным естественнонаучным, поскольку любой текст, созданный каким-либо автором по своему произволу, становится историческим событием, и если он не укладывается в рамки ранее сформулированного «гуманитарного» закона, то закон оказывается опровергнутым – в то время как сформулированные в естествознании законы природы единичными аномалиями не опровергаются»¹. Из этого, в частности, следует, что вместо метода и точности гуманитарные науки должны, напротив, поощрять плодотворное применение воображения – то есть тот аспект восприятия мира, который и обеспечивает многоцветность мысленных образов и интенсивность чувств в качестве функционального эквивалента четко определенных законов и абстрактных теорий, требуемых наукой. «В то же время гуманитарные науки должны опираться на акты суждения, на способность проводить различия и принимать решения, которые не могут быть основаны на «объективных» измерениях или на дедуктивных логических выводах. Если понять особый потенциал гуманитарных наук должным образом, то они будут ближе к понятию искусства (Art), чем к идее науки (Science)»².

Можно констатировать, что очерчивается сфера гуманитаристики, сторонящаяся общенаучного сближения и настаивающая на «непохожести» гуманитарного знания. Что здесь преобладает: неустранимая специфика гуманитаристики или элементарное незнакомство гуманитариев с внегуманитарными методами исследования,

1 Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет». – С. 50.

2 Гумбрехт Х.-У. Ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts»/Журн. зал «НЛО» 2006. – № 81. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/gu1.html>.

а естественников – с гуманитарными подходами, обусловленное чрезмерной специализацией образования? По-видимому, научность теорий следует понимать с учетом многих критериев, где наличие классических объясняющих законов не всегда является главным требованием.

Лингвистический и нарративный поворот в методологии науки совпал с методологическими штудиями по поводу неклассической и постнеклассической науки, в частности в связи с распространением синергетических идей. Среди них особое значение имели как минимум две. Во-первых, придание всеобщего характера «стреле времени», выражающей необратимость не только социальных, но и природных процессов. Это потребовало пересмотра классических представлений о законах природы, поскольку там подразумевался симметричный во времени мир, в формулах не различалось прошлое и будущее, из-за чего «классические» законы почти невозможно было обнаружить в социокультурных процессах. Во-вторых, придание непредсказуемости и случайности «законного» характера. В далеких от равновесия системах флуктуации нарастают лавинообразно, и невозможно однозначно предсказать траекторию объектов и будущие состояния систем. Даже если удастся определить тенденцию, не факт, что в любой момент она не сменится на противоположную. «История человечества не сводится к основополагающим закономерностям или к простой констатации событий. Каждый историк знает, что изучение исключительной роли отдельных личностей предполагает анализ социальных и исторических механизмов, сделавших эту роль возможной. Знает историк и то, что без существования данных личностей те же механизмы могли бы породить совершенно другую историю»¹. Таким образом, какие-то механизмы могут усилить «незаметные» случайности, приводящие, в конце концов, к возникновению нового, как происходит в естественном отборе, когда механизм закрепления наследственности закрепляет и передает по наследству маленькие случайные изменения, помогающие организму выжить. Так работает необратимость, где есть событие, изменение, эволюция и где нет динамического равновесия и классических законов, не учитывающих необратимости. Возможно, микроистория нащупает «новую» статистическую закономерность, которую ищет

1 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени. – С. 53–54.

синергетика. Но пока специалисты не могут описать эти процессы в математических моделях, приходится зачислять их в качественные теории. Кроме того, историку не всегда интересен механизм «исторической эволюции» или «всеобщая» модель, ведь не меньшее значение имеет индивидуальное событие. Однако научно описать его без учета всеобщей модели или эволюции, по-видимому, невозможно: индивидуальный факт всегда освещен общей теорией, хотя она при описании факта может оставаться «за кадром».

Биологические формы существования человека не отделимы от социокультурных, что делает и его самого, и общество нелинейными, неустойчивыми, сложными, необратимыми и плохо предсказуемыми системами. В то же время многие поступки настолько просты, понятны и предсказуемы, что странно было бы стрелять из пушек по воробьям. В устойчивых системах необратимостью и флуктуациями, по-видимому, можно пренебречь, однако не вполне ясно, в каких случаях достаточно классического подхода, а в каких требуется неклассический.

Неклассический этап развития науки, сопровождаемый лингвистическим поворотом в методологии науки, потребовал некоторого пересмотра классического идеала научности. В частности, смягчилось жесткое понимание рациональности, а требования к теории, сохранив необходимость исходных принципов, наличия хотя бы вероятностных закономерностей, идеальных моделей, определенных терминов, допускают, помимо традиционных средств вывода, также и рассуждения на естественном языке – с его лингвистическими фигурами, нарративностью и прочими «смягчающими обстоятельствами». Хотя естественные науки не только на ранних этапах своего развития, но и теперь, всегда проявляют тенденцию к повышению строгости. В то же время заметного сближения гуманитаристики с естествознанием, с одной стороны, и с другой – разных ориентаций гуманитаристики, пока не наблюдается. Тем не менее определенно можно зафиксировать наличие в гуманитаристике теорий, ориентирующихся на классические идеалы науки, в т. ч. на установление закономерных отношений в исследуемой сфере. Особенно это проявляется в применении математических методов и моделей и в распространении количественных теорий.

Понятия в гуманитарной теории. Среди понятий гуманитарных наук есть такие, которые просто именуют некоторым классом

гуманитарных предметов, например, в литературоведении: роман, сказка, сюжет наподобие понятий «химический элемент», «молекула». Есть такие, которые соответствуют идеальным понятиям физики типа «сила тяготения», «гравитационное поле», «электромагнитная волна», это понятие «хронотоп» в литературоведении и культурологии. Причем понятия гуманитарных наук выполняют примерно такие же функции, как и в других науках. Они обеспечивают определенное понимание изучаемых наукой объектов. При изменении понятийного аппарата меняется и видение объектов. Так, понятие «хронотоп», введенное в литературоведение и теорию культуры М. М. Бахтиным, существенно продвинуло изучение жанровой типологии романа и показало неприменимость к роману сюжетной модели, разработанной В. Я. Проппом для волшебной сказки, т. е. способствовало выявлению принципиального отличия сказочного и романного текстов. Возможно, это связано и с тем, что концепции Бахтина и Проппа относятся к разным типам гуманитарного знания. Однако для значительного числа терминов гуманитаристики существует проблема однозначности и точности, хотя не все гуманитарии ощущают потребность в уточнении терминологии. В ряде случаев многозначность и неточность не мешают исследованию. Однако при изложении результата это может вызывать непонимание у коллег. Впрочем, все равно при многозначности ощущается потребность в точном определении каждого термина.

Философская составляющая в гуманитарных науках. Известно, что философские принципы и категории вплетаются в ткань любого научного знания. Попытки элиминировать философские основания из науки не увенчались успехом. В то же время предметное и дисциплинарное размежевание философии и естествознания не менее очевидно. Гуманитарное знание также тесно связано с философскими установками, принципами и категориями. Но четкого размежевания философских и гуманитарных концепций не наблюдается.

Некоторые философские концепции оказали существенное и непосредственное влияние на становление и развитие многих гуманитарных теорий. Можно упомянуть литературоведческие теории, сложившиеся под прямым воздействием феноменологии Э. Гуссерля. Их творцы (Жорж Пуле, Дж. Хиллис Миллер), в частности, считали своей задачей описание мира авторского сознания, каким

оно предстает в его произведениях. Под влиянием феноменологии сложилась и теория авторского отклика (Стенли Фиш, Вольфганг Изер), принимающая форму описания постепенного продвижения читателя через текст при анализе того, как читатель создает смысл, устанавливает связи, заполняет пробелы догадками, предсказаниями, ожиданиями, где, таким образом, текст существует только в духовном опыте читателя¹. Можно отметить и влияние концепций философии истории на исторические теоретические построения. Впрочем, порой провозглашается стремление гуманитариев, в частности тех же историков, отмежеваться от философии.

В методологической литературе образцом теории часто считается логико-математическая, или естественнонаучная теория, например, классическая динамика, включающая необходимые структурные компоненты вроде принципов и законов, характеризующаяся точностью расчетов и надежностью предсказаний и вообще соответствующая классическому образцу научности. Современное теоретическое естествознание начиналось преимущественно с эмпирических обобщений, дистанцируясь от философии как науки наук. Справедливости ради отметим, что движение «от эмпирии» было именно преимущественным, а не абсолютным, поскольку гносеологические и методологические предпосылки теоретических построений в естественных науках складывались все же в значительной мере в философии: у Ф. Бекона, Р. Декарта и их последователей. Напротив, значительная часть теорий в гуманитаристике родом как раз из философии, которая безразлична к эмпирической проверяемости или количественным методам, предсказательной силе или точным расчетам и от которой гуманитаристика отнюдь не дистанцируется. Методы, пришедшие из философии, не работают так, как научные, у них другая цель. Да и становление современной методологии науки, которая во многом является методологией естествознания, шло преимущественно от науки, а не от философии, которая подвергалась критике, особенно в своей онтологической основе, например, позитивизмом и неопозитивизмом. Методология гуманитарного знания, напротив, складывалась в основном под воздействием философии, хотя имела и менее заметная тенденция – обобщение методологических особенностей гуманитарных наук и их ориентация на научные, а не на философские

1 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение. – М.: Астрель, АСТ, 2006. – С. 140–141.

стандарты исследования, в т. ч. и на строгие методы. Впрочем, в область гуманитарной методологии нередко попадало то, отнесение чего к сфере методологии науки является, по меньшей мере, спорным. Это связано с тем, что в самих гуманитарных науках линия раздела науки и ненауки весьма спорна и неопределенна.

Казалось бы, как в свое время размежевались философия (метафизика) и естествознание (физика), так в будущем по мере развития гуманитарных наук они отделятся от философии. Соответственно лозунг «физика, бойся метафизики!», приписываемый Ньютону, может преобразоваться в призыв: «гуманитаристика, бойся философии!». Однако такой тенденции не наблюдается. Да и в самой физике, особенно в ходе научных революций, когда та или иная метафизическая парадигма выходила на передний план, физики боролись не с метафизикой вообще, а с данной метафизической парадигмой, явно или неявно отстаивая другую. В гуманитаристике философские корни не менее, если не более, глубоки. Потребность в дистанцировании здесь не возникает. Что касается гуманитарных теорий, методов и даже проблем и терминологии, то многие из них формировались в русле соответствующих философских доктрин, за исключением специфических, частных методов. В этом смысле философская составляющая в гуманитарных науках, по крайней мере, на нынешний момент, не устранима.

Связь с обыденным сознанием. Существенное отличие гуманитарного знания от естественнонаучного – необходимость обращаться к обыденному сознанию, к повседневным представлениям. В естественнонаучном знании нет нужды постоянно обращаться к реальному опыту людей. Здесь четко видно, как сохраняется внутренняя логика теоретической мысли. Даже если новое знание не вытекает из старого, задним числом устанавливают их соответствие. В гуманитаристике положение несколько иное. Гуманитарные концепции существуют не только в сообществах теоретиков, но и в головах писателей, читателей, критиков, напрямую связаны с образовательными учреждениями и культурными и социальными институтами, вообще активно входят в дискурсивную практику. Порой некоторые идеологические построения кажутся убедительными только потому, что высказываются некоторой харизматической личностью или ей приписываются, из-за чего провозглашаются теорией, как, впрочем, и те или иные обобщения житейской мудрости. Поэтому в гуманитарном

знании теоретические идеи часто взаимодействуют с повседневностью. Это не всегда учитывается исследователями. Историк или культуролог порой представляет историю общественной идеи или взглядов идеологов по аналогии с развитием естественнонаучной мысли, когда анализируются лишь связи идей, высказанные в разные исторические периоды, их эволюция. А многие теоретические, идеологические, теологические идеи особым образом преломляются в обыденном сознании людей, порой неузнаваемо изменяя свое содержание, и в этом измененном виде вновь возвращаются в головы теоретиков. Например, средневековое христианство, «понимаемое не как собрание верований, текстов и ритуалов, унаследованных от более ранних эпох, но как конкретное содержание духовной жизни народа, оказывается существенно иным образованием, нежели первоначальное евангельское учение или официальное богословие. Главное же заключается в том, что смысл учения постоянно и неприметно меняется, в зависимости от периода, от социальной среды, в которой оно распространяется, от потребностей и уровня понимания»¹.

Технологические воплощения гуманитарных теорий. Сферу применимости и сферу предсказания связывают с технологическим воплощением теории. М. Эпштейн показывает, что многие выдающиеся деятели культуры, например, русского Серебряного века, Д. Мережковский, В. Иванов, А. Белый, были не только писателями и теоретиками, но и раздвигали границы литературы, открывали в ней новую эпоху, исходя из теоретического видения ее задач и возможностей, создавали программу и практику символизма как целостного культурного движения, в котором были и художественная, и научно-теоретическая, и философская, и религиозная составляющие. В гуманитарной сфере есть место для проективно-трансформативной деятельности. Это, например, словарная, а в значительной мере и словообразовательная работа В. Даля, по-новому структурировавшая лексические запасы русского языка и прибавившая к нему около 14 тысяч собственно далевских новообразований; «воображаемая филология» В. Хлебникова, которая вылилась примерно в такое же число неологизмов и в эксперименты с морфологией и синтаксисом, значительно увеличившие гибкость русского языка; в наше время – «граматология» Ж. Деррида, которая из теоретической сферы

1 Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопр. философии. – 1988. – № 1. – С. 69.

постоянно выходит на уровень трансформации языковых практик. Все это можно отнести к гуманитарным технологиям, т. е. практикам второго, надтеоретического, а не дотеоретического уровня¹.

Предмет и объект гуманитарной теории. В методологии науки различают объект и предмет теории. Среди авторов нет единства по поводу толкования этих терминов, в частности, одни называют предметом то, что другие называют объектом, и наоборот². В свое время весьма популярным было следующее словупотребление, описанное Б. С. Дыниным: «Под предметом надо понимать материальное явление (луна, рассвет, огонь и т. п.), которое осознается человеком до и помимо применения им метода исследования.... Под объектом теории надо понимать фиксированные при помощи знаковых систем свойства и отношения, которые выявляются в предмете в процессе его исследования посредством метода»³. Это понимание во многом предопределялось гегелевской идеей единства объекта и субъекта. Не возражая по существу дела, термины часто меняют местами. В настоящее время общепринята такая трактовка. Объектом выступает как материальное, так и идеальное явление, например, сама теория или концепция, или внутренний мир, чувства и мысли, скажем, автора литературного произведения или естественнонаучной теории, подлежащие изучению. Предметом же становится то, что сконструировано теоретическими средствами.

Специфика гуманитарной теории состоит, в частности, в том, что она может создавать не только свой предмет, но и свой объект. Точнее участвовать в его создании вместе с другими дискурсами. В этом существенное отличие гуманитарной теории от естественнонаучной, которая, хотя и конструирует свой предмет, но не конструирует свой объект. Природные (физические) объекты существуют сами по себе. Поэтому здесь возникает проблема соответствия теории объекту как проблема истинности. В гуманитарной теории и вообще в гуманитарном дискурсе, где могут присутствовать разные теории и не только теории, природный (физический) объект не представлен, например автор литературного произведения или исторический персонаж как биологический организм или совокупность физических величин,

1 Эпштейн М. Н. Культуроника: технология гуманитарных наук. – Режим доступа: http://www.topos.ru/articles/0410/04_08.shtml.

2 Грязнов Б. С., Дынин Б. С., Никитин Е. П. Теория и ее объект. – М.: Наука, 1973. – 248 с.

3 Дынин Б.С. Метод и теория. – М.: Знание, 1968. – С.9.

поскольку это неважно. Обыденное сознание и здравый смысл еще могут соотносить Александра Пушкина как автора «Евгения Онегина» или Екатерину Вторую как основательницу Одессы с существовавшими в действительности людьми, благо их внешний вид и даже черты характера хорошо известны. Но в литературоведении автор «Евгения Онегина» как объект, существующий объективно, представлен сложнейшей конструкцией, в которой природные данные этого курчавого мужчины не присутствуют. Здесь автор не имеет объема груди, роста, веса, длины носа, цвета глаз и т. д. Возможно, в будущем возникнут дискурсы и теории, в которых будет прослежена связь указанных свойств с данным литературным произведением, но сейчас автор «Евгения Онегина» есть нечто другое. Это совокупность некоторых мыслей и чувств как бы висящих в воздухе, поскольку не доказано, что они могут принадлежать исключительно кареглазым, а не голубоглазым, низкорослым, а не высокорослым, брюнетам, а не блондинам. Более того, тот фрагмент внутреннего мира автора, который ответствен за замысел и написание «Евгения Онегина», реконструирован на основе исторических, культурологических, психологических, литературоведческих и тому подобных данных, которые, в свою очередь, являются конструкциями, сформированными историческими, культурологическими, психологическими дискурсами и теориями. Это и есть гуманитарный исторический или культурологический объект в виде человека, точнее его внутреннего мира, текста, события, поступка, якобы существующих объективно. Объективными они могут считаться лишь для той теории, которая на их основе сконструирует свой предмет как аспект или модель данного объекта. Удачная теория может даже изменить представление об объекте, реконструировав его, что постоянно происходит в гуманитаристике, особенно в истории, требуя ее переписывания, и служит у профанов поводом для насмешек.

Разница между гуманитарным предметом и гуманитарным объектом состоит в том, что первый конструируется соответствующей теорией, а второй – многообразными теориями, концепциями, дискурсами и появляется, как правило, раньше первого. Поэтому об истинности гуманитарного описания – исторического, психологического, литературоведческого – как соответствия объекту нельзя говорить в том самом смысле, что в естественных науках. Зато можно говорить об адекватности интерпретации в рамках соответствующего контекста,

системы ценностей, теории и т. д. В этом смысле не только предмет как аспект объекта создается гуманитарной теорией, но и сам объект как историческая, психологическая, литературная реальность, хотя в природном, физическом смысле изучаемый человек или явление существует самостоятельно, независимо от оценки, физически реально. Об объективности существования гуманитарного объекта можно говорить лишь в том смысле, что исследователь имеет право данный дискурс или теорию рассматривать как независимо от его исследования сложившуюся реальность, требующую изучения, а не реконструкции.

В качестве выводов отметим следующее.

1. Гуманитарные теории содержат стандартные компоненты, которых достаточно, чтобы причислить их к научным: исходные принципы, идеализированные объекты, совокупность законов и понятий, сферу технологических воплощений, объект и предмет. Различия между теориями проявляются в специфике компонентов, особенно законов или других объясняющих положений или системообразующих концептов. Теории первого типа включают в себя законы, в т. ч. и из других наук, правила и нормы, выполняющие роль законов, а также такие нарративы, которые либо включают в себя законы, либо могут быть преобразованы в законы. Теории второго типа используют нарративы, метанарративы, тенденции, лингвистические фигуры, языковые структуры.

2. Синергетические и другие неклассические естественнонаучные идеи необратимости и «законности» случайности и непредсказуемости могут найти применение по отношению к необратимым социокультурным феноменам. Но пока специалисты не могут описать эти процессы в математических моделях, приходится зачислять их во вторую группу теорий, не лишая статуса научности.

3. По сравнению с естественнонаучными теориями гуманитарные теории могут создавать не только свой предмет, но и свой объект, активно используют философские идеи и теснее связаны социокультурной практикой.

3.2. МЕТОДЫ В ГУМАНИТАРИСТИКЕ

Термин «метод» употребляется в теоретических построениях как минимум в четырех смыслах. Во-первых, под методом понимается

четкая последовательность шагов по достижению результата, что особенно характерно для строгих теорий классической науки. Как правило, это рационально заявленная и обоснованная последовательность действий с применением специальных средств и инструментальных операций. Среди общенаучных методов к таким относится, скажем, метод дедукции, среди специальных методов – метод спектрального анализа или метод раскопок в археологии. Во-вторых, метод рассматривают как совокупность требований, которая предъявляется к исследовательской деятельности и которая может быть сформулирована с разной степенью строгости и определенности. Например, художественный метод понимается довольно определенно, но о строгости его применения говорить трудно. В-третьих, методом может выступать сама теория, примененная для исследования, где последовательность шагов довольно условная, хотя бы в силу многообразия компонентов теории. Если теория строгая, то как метод она будет соответствовать классическим канонам науки, если нет, то она будет методом в четвертом смысле. В-четвертых, методом нередко называют некоторый подход, представляющий собой одну или несколько идей, а последовательность и характер действий остается на усмотрение исследователя. В некоторых случаях подход и метод четко различаются, например, системный подход и системный метод, но чаще всего такого различия, к сожалению, не проводят, что характерно для многих гуманитарных исследований. Похоже, что в гуманитаристике можно обнаружить все четыре, если не более, смысла употребления термина «метод», которые обычно не различаются. С одной стороны, это следствие недостаточной развитости теоретических построений, с другой – неосознанное стремление придать статус научности своим рассуждением.

По мнению сторонников единой методологии, гуманитарное знание связано с общенаучными методами, наличие которых будто бы является свидетельством научности гуманитаристики. Здесь метод понимается, как правило, в первом смысле, т. е. как четкая последовательность действий. Однако немало выдающихся авторов связывают гуманитарные науки с особыми методами, например, «понимающими». Ф. Шлейермахер указывал на необходимость созвучности состояния исследователя внутреннему миру другой личности¹. В. Дильтей особо подчеркивал роль «перенесения-себя-на-место-другого»,

1 Шлейермахер Ф. Герменевтика. – СПб.: Европ. дом, 2004. – 242 с.

эмпатии, сопереживания, придавая интерпретации явный психологический оттенок¹. Здесь метод понимает скорее в четвертом смысле как некоторый подход. И хотя «методы», подобные эмпатии, скорее свидетельствуют об искусстве исследователя, чем содержат упорядоченный набор последовательных шагов, все же соответствующий уровень знаний обеспечивает возможность особого «вживания» в иную культуру. Это означает своеобразный настрой разума и чувств, когда исследователь понимает, что именно знает, видит и чувствует человек изучаемой культуры. Характерный пример приводит У. Эко, комментируя свой роман «Имя розы»: «Однажды на даче мы жгли костры, и жена укоряла меня, что я не смотрю на искры, как они взлетают к вершинам деревьев, к электрическим проводам. Прошло время. Она прочла главу о пожаре и спросила: «Значит, ты все-таки смотрел на искры?» Я ответил: «Нет. Но я знаю, как на них смотрел бы средневековый монах»².

Вживание в чужую культуру не может быть названо строгим методом исследования, тем более, что в чистом виде оно невозможно, ибо невозможно переселиться в иное время, забыть о собственной культуре, в которой живет и действует исследователь. Кроме того, не вполне ясно, как субъективное ощущение вживания и сопереживания перевести в интересующую, не зависящую от психологического состояния исследователя последовательность действий, составляющих метод в первом, строгом смысле.

Другим способом исследования, который присущ именно гуманитарному знанию, часто называют диалог культур. «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом; между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур... при такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются»³. Ясно, что подобный диалог требует изучения языка иной культуры, форм поведения людей, смысла их символики, т. е. высокого уровня знаний, получение которых требует немалого количества разнообразных

1 Дильтей В. наброски к критике исторического разума. – С. 145–146.

2 Эко У. Имя розы. – М.: Кн. палата, 1989. – С. 435.

3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – С. 334–335.

методов. Диалог, так же, как и эмпатия, не может быть сведен к определенной последовательности познавательных действий.

Методы «вживания» в иную культуру, диалога культур не могут быть названы научными методами, т. к. не указывают ту общезначимую последовательность шагов, которая всегда давала бы результат. Они близки к искусству, поэтому научными методами их можно назвать лишь в расширительном смысле. Как правило, их используют теории второй группы, о которых шла речь выше, – с нестрогими требованиями к методу, к формулировке законов, ограничивающиеся нарративами, философскими метанарративами, лингвистическими фигурами и др.

Более строго выглядят герменевтические процедуры, особенно в попытках выработать конкретную методологию понимания, например в социологии, психологии, антропологии, без обращения к общефилософским обобщениям. Разрабатываются критерии валидности герменевтических процедур, принципы адекватной интерпретации и др. Э. Бетти, например, в полемике с Гадамером, пытается в отличие от философской герменевтики придать «методологической» герменевтике черты строго работающего метода. Он формулирует специальные каноны. Среди них требование соответствия реконструкции текста точке зрения автора и связанное с этим требование автономности текста как обладающего собственной логикой; необходимость ввести в метод исследования принцип так называемого герменевтического круга, когда единство целого проявляется через отдельные части, а смысл отдельных частей проявляется через единство целого; канон актуальности понимания, подразумевающий бессмысленность полного устранения субъективного фактора, поскольку для того, чтобы реконструировать чужие мысли, нужно соотносить их с собственным «духовным горизонтом»; канон смысловой адекватности понимания, или канон герменевтического смыслового соответствия, направленный на интерпретатора и требующий от него согласовывать собственную жизненную актуальность с толчком, исходящим от объекта. В этих канонах Бетти усматривал критерий правильности и объективности герменевтической интерпретации¹. В подобных попытках проявляется потребность в уточнении методов гуманитаристики в целях повышения их строгости. Очевидно, что

1 Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2011. – 144 с.

первое понимание термина «метод» как последовательности шагов считается более привлекательным, хотя каноны и требования Бэтти до этого уровня недотягивают. Все же можно констатировать осознанное движение в указанном направлении. Бэтти в таких стремлениях не одинок. Ю. Хабермас предлагает осуществить рациональную реконструкцию условий интерпретации¹. Э. Д. Хирш считает возможной объективную интерпретацию литературного произведения, исходящую из адекватного понимания авторского текста².

Другие авторы акцентировали внимание на подходах, связанных с индивидуальностью объектов гуманитаристики. Так родилась концепция индивидуализирующих методов, в частности, в истории (Риккерт)³, и идеографических методов (Виндельбанд), где термин «метод», по сути, означает подход или совокупность требований.

Особую группу методов составляют структурно-семиотические методы, претендующие на научное объяснение текста как определённым образом организованной знаковой системы⁴. Привлекательность такого методологического подхода вызывает к жизни попытки сблизить герменевтический и структурно-семиотический виды анализа⁵. Структурно-семиотические методы близки к строгому пониманию метода и вместе с методами лингвистического анализа (метод синхронных срезов, дистрибутивный и трансформационный анализ и др.) в целом соответствуют классическим требованиям. Они позволяют соответствующие теории числить строго научными, практически ничем не отличающимися от естественнонаучных, особенно если там применяются математические методы.

С математическими методами в свое время связывались большие надежды онаучивания гуманитаристики, ведь стремление к строгости, однозначности и другим классическим общенаучным критериям не чужды и ей. Например, в XX в. лингвисты осознали,

- 1 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 2000. – С. 51.
- 2 Фортунатова О. В. Герменевтический метод Э. Д. Хирша // Культура народов Причерноморья. – Т. 39. – Филол. науки. – С. 122. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp39/knp39_119-123.pdf.
- 3 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998. – С. 54.
- 4 Лотман Ю. М. Структура художественного текста/Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб.: Искусство – СПб, 1998. – С. 14–288.
- 5 Рикёр П. Что меня занимает последние 30 лет. – Режим доступа: <http://philosophy.ru/library/ricoeur/last.html>.

что язык представляет собой систему знаковых отношений, причем безразличную к физической природе знаков и отношений. Поскольку математика также занимается чистыми отношениями и природа объектов здесь не существенна, стало ясно, что язык можно изучать математическими средствами. Правда, реальностью такая возможность стала лишь после того, как в XIX в. математика стала строить неколичественные абстрактные модели, применимые к более широкой сфере, чем отношения между величинами и пространственными формами. «Одним из результатов этой встречи было возникновение новой математической дисциплины – математической лингвистики, предметом которой стала разработка математического аппарата для лингвистических исследований»¹.

В то же время выяснилось, что математический аппарат применим только к устойчивым структурам языка, а устойчивы далеко не все из них, благодаря чему язык эволюционирует. «Наш обычный разговорный язык из-за присущих ему колебаний и несоответствий грамматического и психологического находится в состоянии подвижного равновесия между идеалами математической и фантастической гармонии и в непрестанном движении, которое мы называем эволюцией»². По-видимому, к подобным эволюционным процессам математические методы не применимы. Однако на этом основании упрекать математику в том, что какие-то случаи она не охватывает, не имеет смысла. Для описания присущих языку эволюций нужны другие, возможно, нематематические средства. Но именно четкое уяснение роли математических моделей и вообще стремление к классическому идеалу теории позволило бы ясно отграничивать в языке «фантастическое» от «математического» и находить те сферы, где нужны иные методы.

Итак, отмеченные методы и теории, как и применяемые там математические методы, не решают всех задач в гуманитаристике. Последнее обстоятельство подчас трактуется как невозможность или существенная ограниченность возможностей строгих методов в гуманитаристике «Мы бессильны построить универсальную математическую модель даже самого «простого» и «поверхностного»

1 Гладкий А. В. Размышления о взаимодействии лингвистики и математики. – Режим доступа: <http://elementy.ru/lib/164549>.

2 Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: в 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – С. 210.

явления духовной культуры – явления, которое люди сами вызвали к жизни и всё новые модификации которого они постоянно порождают. Причина банальна: нельзя сконструировать математизированную картину универсума, которым управляет множество относительно равноправных demiургов; кто-нибудь из них во что бы то ни стало отменит закон, установленный другим»¹. Действительно, немалое пространство гуманитарных исследований математическими и другими точными методами не покрывается по разным причинам. Среди них не последнюю роль играет проблема адекватности метода. Она особенно актуальна, когда методы одной теории используют в рамках другой. Адекватность метода обеспечивается выполнением, по крайней мере, двух условий². Во-первых, он должен быть релевантным проблемам соответствующей гуманитарной дисциплины, т. е. соответствовать смыслу решаемых в ней задач. Во-вторых, он должен быть дивергентным – существенно отличаться по используемым средствам, т. е. применять инородный язык и способы решения задач, не совпадающие с теми, которые привычны для профессионалов данной области знания. Здесь прослеживается аналогия с первоначальным использованием математики в физике. Однако применение самой математики в гуманитаристике ограничено, поскольку она, выполняя дивергентное условие адекватности, не всегда выполняет релевантное. Математика не выражает чисто человеческие интенциональные и телеологические отношения и не интересуется отношениями вместе с коррелятами, в данном случае, межличностными отношениями³.

Требованиям адекватности может соответствовать какая-либо общенаучная теория, например, теория информации и связи, теория знаковых систем и др. – в силу своего общенаучного характера. Вопрос только в том, насколько такие теории окажутся адекватными и насколько большой и существенный массив проблем соответствующей гуманитарной науки они способны охватить.

Представляются уместными в этом отношении общие теории систем. Ведь нет такой гуманитарной дисциплины, которая

1 Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет». – С. 43–62.

2 Цофнас А. Ю. Теория систем и теория познания. – О.: Астропринт, 1999. – С. 26–51, 65–66.

3 Афанасьев А. И., Цофнас А. Ю. Научный статус гуманитарного знания // *Наук. вісн. Чернів. ун-ту: зб. наук. пр.* – Вип. 561–562. Філософія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 3–8.

не говорила бы о системах общественной или личной жизни и деятельности, системах человеческих представлений, системах ценностей и норм, системах социального управления и т. п. Все они, так или иначе, используют соответствующую системную терминологию (понятия надежности, стабильности, центрированности, автономности, регенеративности, изоморфизма, синтеза систем и т. п.). Даже если принять тезис В. Дильтея о том, что гуманитарные науки, в отличие от естествознания, не объясняют, а понимают, то и в этом случае процедура понимания – это всегда целостное представление объекта, а целостность – одна из системных характеристик¹.

Преимуществами перед другими теориями систем обладает общая параметрическая теория систем (ПТС)², которая не только содержит достаточно строгие определения всех упомянутых понятий, но и устанавливает их корреляции (закономерности), не опираясь при этом на количественные представления, столь малоинтересные гуманитаристике. А выполняя требование дивергентности, ПТС использует формальное неклассическое исчисление – язык тернарного описания (ЯТО)³. В любой из гуманитарных наук можно выделить системологическую проблематику, которая с помощью ПТС и ЯТО может получить адекватное представление и соответствующие номологические объяснения. Если идеалом «хорошей» науки остается количественный анализ, то граница наук строгих и не очень сохраняется и общая параметрическая теория систем является одним из возможных путей их сближения⁴.

Таким образом, можно констатировать, что в гуманитарном знании понятие метод используется в разных смыслах. Те гуманитарные теории, которые ориентируются на классические каноны научности, рассматривают метод как четкую последовательность действий или

- 1 Уемов А. И., Штаксер Г. В. К проблеме построения измерительной шкалы для определения степени целостности систем // Системные исследования: методол. проблемы: ежегодник. 2002. – М.: Едиториал УРСС. – С. 7–33; Афанасьев А. И., Цофнас А. Ю. Научный статус гуманитарного знания. – С. 3–8.
- 2 Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.; Уемов А. И., Сараева И. Н., Цофнас А. Ю. Общая теория систем для гуманитариев. – 276 с.
- 3 Uyemov Avenir I. The ternary description language as a formalism for the parametric general systems theory: Parts 1–3 // International Journal of General Systems. – 1999. – Vol. 28 (4–5). – 2002. – Vol. 31 (2). – 2003. – Vol. 32 (6).
- 4 Афанасьев А. И., Цофнас А. Ю. Научный статус гуманитарного знания. – С. 3–8.

используют строгие теории в качестве метода. Другие теории рассматривают метод как совокупность не вполне четких требований, как нестрогую теорию, некоторый подход или в другом расширительном смысле. Здесь строгость метода подменяется эрудицией, интуицией, особым чутьем и другими выдающимися субъективными качествами исследователя. Тенденция к расширению влияния первых теорий сталкивается с проблемой адекватности метода, преодолеть которую в плане сближения строгих и нестрогих теорий поможет параметрическая теория систем.

3.3. ТЕХНЭ И МЕТОД

В каком бы из четырех вышеуказанных смыслов ни применялся термин «метод», он связывается с некоторой упорядоченностью средств, действий, направленных на получение некоторого результата. С упорядоченностью соотносится и греческое слово «технэ», давшее начало целой группе терминов («техника», «техничность» и др.) и огромному смысловому блоку, где в один узел связаны едва ли не все проявления техногенной цивилизации: от скромного мастерства до преобразующей роли науки и техники. Переход от технэ к современной цивилизации имеет большое количество нюансов, исследование которых продуцирует множество подходов, где особое значение имеет хайдеггеровский анализ превращения технэ в техницизм с указанием на опасность последнего и где не столько решается, сколько ставится вопрос о сущности техники¹. В поисках ответа современные исследования сочетают резкую критику технократизма с уважительным отношением к мастерству. Техника и наука рассматриваются не только с точки зрения возможных опасностей, но и в аспектах, способных гармонизировать человеческое творческое присутствие в мире за счет обновленных методов. Складывается впечатление, что в свое время технэ как мастерство переродилось в технику, оттеснив искусство как творчество, именно благодаря реализации научного и технического метода, различное понимание которого детерминирует разные программы творческой и исследовательской деятельности.

1 Хайдеггер М. Вопрос о технике/М. Хайдеггер // Время и бытие: ст. и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 221–238.

В античности технэ, на первый взгляд, понималось очень широко. Технэ – это, во-первых, ремесло, во-вторых, искусство и, в-третьих, наука¹. Поскольку та сфера знаний, которую мы называем наукой, в Древней Греции понималась практически, а не умозрительно, то неудивительно, что научная технэ сродни ремесленной и художественной технэ. По Аристотелю, все различие между науками и технэ сводится к тому, что первые не приносят никакой пользы обществу, а вторые – приносят. Но существенного отличия между ними нет: они познают общее через причины. Софисты понимают технэ как ремесло и оценивают его очень высоко. Этому нужно учиться, и за такое обучение не стыдно брать деньги. Хайдеггер замечает, что даже философия в ту эпоху, например, у Платона и Аристотеля, также есть технэ, хотя и особого рода².

В то же время технэ понимается древними греками достаточно точно и определенно, несмотря на отнесение к технэ столь разнообразных видов деятельности. Однозначность понимания технэ определялась античной парадигмой космоса, с которой соотносились все представления о гармонии, красоте и особенно о порядке. Собственно космос по-гречески и означает порядок, упорядоченность. Поэтому ремесленные умения и высокое искусство, за которое отвечали музы истории, астрономии, танца, трагедии, комедии, различных видов поэзии и пр., считались мастерством и отличались от вдохновения и одержимости, выбивавшихся из упорядоченности, например в той же поэзии. Сократ на этот счет заявляет, что все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря технэ, а лишь в состоянии вдохновения³. Платон ставит поэзию выше технэ, приравнивая первое к одержимости, безумию, сравнивает поэтов с пророками и считает, что поэтам необходимо божественное вдохновение, наитие. Однако, как показывает Аристотель, и этот вид деятельности можно привести к мастерству, к технэ. Собственно говоря, мастер не творит изготавливаемый им предмет, а последний как бы сам выявляется при посредничестве искусного мастера, который лишь обнаруживает потенциально присущие вещам

1 Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре/А. Ф. Лосев // Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – С. 167.

2 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме/М. Хайдеггер // Время и бытие: ст. и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 192–220.

3 Платон. Ион/Платон // Избр. диалоги. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 262.

идеальные формы. Иными словами, различие между технэ и нетехнэ идет по линии различения аполлоновского и дионисийского начал в деятельности вообще, и творчестве в частности. Впрочем, мифология не зафиксировала ссор Аполлона и Диониса, если не считать не совсем понятной расправы вакханок с Орфеем, что давало основание надеяться на сотрудничество рационального мастерства *techné* и вдохновенного чувственного *mania*.

Мастерство, особенно как воспроизводство, продолжает цениться и в средние века, а к творчеству мастеров относятся с подозрением, поскольку оно под стать лишь Творцу. Возрождение реабилитирует творчество во многом на уровне философии за счет пантеистического растворения Бога в природе, когда творческий талант можно расценивать как божественную искру. А по-настоящему творчество отделяется от технэ лишь в эпоху романтизма, когда возникает принципиально новая концепция субъекта деятельности, который превращается в суверенного творца своего произведения, а оно, в свою очередь, в средство проявления личности этого творца. Существенно, однако, что у Леонардо да Винчи живописное полотно и техническое изобретение были однопорядковыми вещами, как технэ в античности. Лишь начиная с Галилея постепенно преодолевается универсализм Возрождения. В новое время технэ как деятельность разделяется на инженерию и искусство и связывается в основном с первым. Здесь начинает преобладать метод как рациональная последовательность действий, а также устанавливается тесная связь с наукой, познавательной деятельностью и методами научного исследования. Наука, по выражению Хайдеггера, превращается в теоретическую технику. Уже Галилей придает научному методу решающее значение, по сути, открывая для науки наблюдение и эксперимент и подключая многообещающие резольютивный и композитивный методы.

Таким образом, универсализм античного и возрожденческого технэ благодаря актуализации метода, который лишь потенциально содержался в технэ и теоретически не осознавался, превращается в технику и связанную с ней науку, олицетворением которых становится метод как осознанная и обоснованная последовательность действий, направленная на получение определенного результата.

В искусстве и литературе метод стал трактоваться иначе: не как последовательность действий, а как система принципов, управляющих процессом создания произведений искусства

и приобретающей самостоятельность литературы, откуда такое понимание, по-видимому, перекочевало затем в гуманитаристику. Понимание метода как продуманной, рациональной, ведущей к успешному осуществлению цели, последовательности операций не приобрело распространения, поскольку явно описать такого рода метод не удавалось, за исключением разве что вспомогательных технических операций. Поэтому как рудимент технэ осталась качественная характеристика в смысле техничности, мастерства в искусстве и литературе, поскольку количественно выразить мастерство затруднительно. В таком качественном смысле парадигма «*techne*» работает до сих пор: мы восхищаемся техникой живописца, музыканта, литератора, лектора, ученого, футболиста и других представителей творческих специальностей, для которых «техничность» не должна, казалось бы, преобладать над «Божьей искрой».

Тем не менее для творческой деятельности понятие метода иное. Методом часто называют совокупность требований, идеалов, целей и т. п., мало заботясь о способах их реализации, т. е. о собственно методе. Такое понимание метода было, например, явно сформулировано в конце 20-х гг. XX в. в марксистско-ленинской эстетике, но имело довольно широкое распространение в различных сферах деятельности. Например, метод социалистического реализма предполагал описывать реальность, с одной стороны, точно, а с другой – в соответствии с идеалами социализма, с точки зрения желаемого будущего, что определялось идеологией и конкретными задачами идеологического воздействия. Максим Горький, который объявлялся основоположником соцреализма, считал, что главной задачей данного метода является воспитание социалистического, революционного взгляда на мир, соответствующего ощущения мира. Идея воспитания как переделки природного человеческого материала сближала искусство и инженерную деятельность, но таких методов, как в инженерии, не предлагалось.

Главными принципами, определявшими метод, были народность, когда героями произведений соцреализма становились не просто трудящиеся, а вдохновенные строители светлого будущего, идейность, как героика поиска путей к новой жизни, конкретность как реализация идейных установок, например изменение сознания как следствие изменения бытия. Ленин в этом отношении высказался максимально определенно: «Литература должна стать партийной...

Долой литераторов беспартийных. Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «винтиками и колесиками» одного единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса»¹. Судя по контексту, он имел в виду журналистов партийных изданий, но советская действительность сделала указанное требование нормой всей литературы и вообще искусства. Хотя метафора механизма тут налицо, но механики реализации, технического метода опять же не предлагается, хотя он подразумевается. Сталин прямо заявлял, что писатель является «инженером человеческих душ», поэтому своим мастерством он должен воспитывать читателя в духе преданности партии и ее коммунистическим идеалам. Неслучайно вождь постоянно называл литераторов именно мастерами, подчеркивая их преобразующее влияние на человеческий материал. Метод соцреализма был в известном смысле сращиванием инженерии и искусства, своеобразным социалистическим технэ, но представлял собой скорее программу деятельности, чем конкретные методы ее реализации. Поскольку указанная программа не задавала определенной последовательности действий, скажем, при написании живописного полотна, приходилось задавать образцы произведений искусства, которым надо было следовать. Это делалось в официальных высказываниях об искусстве и литературе, в обращениях к съездам творческих работников, где постоянно присутствовали списки образцовых произведений, которые должны были направлять деятелей искусства в их дальнейшей работе. Для писателей это были преимущественно «Мать» и «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Цемент» Ф. Gladкова, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова, «Хождение по мукам» и «Петр Первый» А. Толстого, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Разгром» и «Молодая гвардия» А. Фадеева. Хотя списки могли меняться в зависимости от политической конъюнктуры, но указанные произведения были константой соцреализма. Таким способом задавался определенный ритуал написания, прочтения и анализа художественных произведений, особенно монументальных, вроде романа. Ритуальная форма разрешенных советских романов включает в себе

1 Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература. – Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т. 12. – М.: Политгиздат, 1960. – С. 101.

символы и знаки для положительных и отрицательных героев, своеобразный каталог сюжетных функций, исполняемых персонажами, унифицированную фабулу и пр. Вот почему так много общего можно усмотреть в «Петре Первом» А. Толстого и «Поднятой целине» М. Шолохова, несмотря на несовпадение описываемых эпох, событий, исторических лиц.

Литературная деятельность превращалась в производство, становилась «делом техники», уподоблялась труду ремесленника или подмастерья в средневековом цеху. «Как иконописец рисовал, постоянно сверяясь с образцом, чтобы соблюсти положенное расположение фигур или колористику, так и советский романист копировал жесты, эмоциональные реакции, поступки героев, символику, использованные в текстах-образцах»¹.

Справедливости ради отметим, что литературная работа «по образцам» не является изобретением соцреализма, она в той или иной мере всегда имела место. М. Гаспаров, характеризуя модернизм как малую часть словесности конца XIX в., отмечал: «Массовая печать заполнялась массовой поэзией, целиком производившейся по гражданским образцам 1870-х годов и лирическим образцам 1880-х годов»². Другое дело, что следование литературным образцам, как и отказ от них, должны быть свободным выбором, чего советская эпоха не допускала. Хотя ремесло порой дает возможность проявиться таланту и советские ремесленники пера могли выдать шедевры типа шолоховского «Тихого Дона», однако в целом подобная унификация и «методичность» творчества была тормозом развития искусства и литературы.

На первый взгляд, социалистический реализм имеет отношение лишь к искусству и литературе. Однако это не совсем так. Как отмечалось, он был своеобразным социалистическим технэ, многоплановой программой деятельности. На первом съезде советских писателей в 1934 г. в докладе секретаря ЦК ВКП (б) по идеологии Андрея Жданова фиксировалось теоретическое обоснование этой идеи, в частности, провозглашалась связь данного метода с философией и наукой

1 Кларк К. Введение. Роль социалистического реализма в советской культуре/К. Кларк // Советский роман: история как ритуал. – Режим доступа: <http://www.fedy-diary.ru/?p=2661>.

2 Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века»/М. Л. Гаспаров // Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология. – М.: Наука, 1998. – С. 5–44.

и подчеркивалось, что он с научных позиций отражает действительность. К тому же те, кто не следовал данному методу, фактически становились врагами советской власти со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В нашу задачу не входит анализ положительных и отрицательных сторон метода соцреализма. Вышесказанное позволяет зафиксировать другое: социалистический реализм можно называть методом лишь в весьма расширительном смысле: как совокупность требований, которая предъявляется к научно-исследовательской, художественно-творческой или иной деятельности, что важно учитывать при построении и оценке теорий.

В разнообразных программах деятельности по созданию технических устройств и произведений искусства и литературы, как и при их исследовании и теоретическом осмыслении, роль методов и их понимание различны, несмотря на возможные сближения по типу технэ. В то же время расширительное понимание термина «метод» порой ведет к путанице. В этом неточном смысле в так называемой комбинаторной литературе, основанной на строгих правилах, говорят не только о формальных методах, но и о переносе в литературу аксиоматического метода, о математизации творчества и т. п.¹ На самом деле речь идет всего лишь о заранее заданных правилах, по которым должен быть создан текст, например, в акrostихе, тавтограмме, триолете и пр., а собственно метода производства такого текста как раз и не предлагается, ибо это область свободного творчества. Французская группа литераторов и математиков, назвавшая себя Мастерской Потенциальной Литературы (УЛИПО), провозгласила программу научного исследования возможностей литературного языка путем изучения уже известных или вновь создаваемых художественных произведений, главным образом стихотворений, в рамках формальных ограничений, например, не использовать определенную букву, или, наоборот, все слова должны начинаться с одной буквы и пр. Опубликован ряд небезынтересных работ. Например, один из основателей УЛИПО Р. Кено опубликовал сборник, состоящий из десяти стихотворений-сонетов под названием «Сто тысяч миллиардов стихотворений», где каждое стихотворение разрезано на четырнадцать строк (число строк в сонете), а читатель может

1 Бонч-Осмоловская Т. Комбинаторная литература. – Режим доступа: http://homofizteh.ru/programs/culture/bonch_osmolovskaya.htm.

произвольно их комбинировать. В итоге можно получить десять в четырёхнадцатой степени, т. е. сто тысяч миллиардов сонетов, каждый из которых соответствует сонетным требованиям и не лишен смысла. Ж. Перек написал детективный роман «Исчезание», где ни разу не используется одна буква. В русском переводе романа это буква «о». Программа комбинаторной литературы, намеченная французской группой УЛИПО, интересна и многообещающа в плане расширения возможностей литературы и ее лучшего понимания, установления определенных закономерностей и применения различных, в т. ч. количественных, методов обработки результатов. Но сами исходные ограничения вряд ли могут быть названы методами. Расширительное толкование термина «метод» небеспредельно.

Таким образом, технэ как упорядочивающая деятельность потенциально была связана с методом как рационально организованной последовательностью действий, что актуализовалось в технической и научной деятельности. Разделение технэ на научно-техническую деятельность и искусство породило два типа программ исследовательской и творческой деятельности, различающихся, в частности, смыслом термина «метод» и, соответственно, пониманием его места и роли в духовной деятельности.

3.4. ДВА ТИПА ТЕОРИЙ В ГУМАНИТАРИСТИКЕ

Многие гуманитарные теории по своим формальным признакам, в частности, системообразующим исходным принципам, идеализированным объектам-конструкциям, определенному понятийному аппарату, наличию предмета и объекта и др., аналогичны естественнонаучным теориям и могут быть названы научными. Часть из них, к тому же, использует строгие методы, в т. ч. математические, статистические и другие, обнаруживает законы и строит классические объяснительные модели и вообще ориентируется на классические научные требования. Другая же часть имеет специфические особенности, например, нарративную структуру, где отсутствует апелляция к законам, нестрогие методы или расширительное понимание методов, и вообще они не вполне соответствуют классическим общенаучным канонам, хотя такие классические требования типа внутренней непротиворечивости или логической связности все равно остаются.

Часто эти теории не так строго организованы, но их продуктивные идеи нередко позволяют им функционировать довольно успешно, особенно если они взяты из популярной философской доктрины или их глашатай – харизматическая личность. Отказаться таким теориям в научности – значит слишком сузить сферу гуманитарных наук. Но и существенно расширять границы научности также было бы опрометчиво. Практика научных исследований сама определила верный путь: несколько смягчила классические каноны научности, в частности, допустив в науку нарративные объяснения, расширительное толкование метода и пр. Сами гуманитарии, в отличие от методологов, не всегда озабочены предварительным обоснованием научности своих теорий. А если научный результат получен, теорию трудно обвинить в ненаучности. Приходится расширять, видоизменять или ослаблять требования. Впрочем, теоретическое знание все равно обычно так или иначе оценивается на верифицируемость, точность, формализуемость, предсказательность, методологичность как наличие строгих количественных, структурных и подобных методов, а также полученные результаты, чтобы зафиксировать его как научную или ненаучную теорию. Однако если в естествознании сделать это относительно легко вследствие, так сказать, методологичности естественных наук, то в гуманитаристике – далеко не всегда. В естествознании представить себе теорию без метода затруднительно: любая теория, примененная к исследованию, уже есть метод, не говоря о различных методах внутри теории. В гуманитаристике не все теории методологичны в этом смысле. Некоторые признаются научными теориями, хотя не представляют строгого метода исследования эмпирического материала, но обладают плодотворными творческими идеями, оригинальными подходами, позволяющими по-новому сконструировать рассматриваемый объект – иначе увидеть стоящую за ним реальность и пр. Это тот случай, когда они конструируют не только свой предмет, но и объект. Возможно, в будущем такие теории, в конечном счете, перерастут в классические научно-методологические теории, но на данном этапе их приходится отличать от теорий, ориентирующихся на естественнонаучные/общенаучные идеалы и нормы.

Отмеченные два типа теорий по-разному организуют исследовательскую практику, что можно назвать различными подходами в исследовании.

В гуманитарных науках, в частности, в филологии и литературоведении, в истории и социологии, вслед за различием двух типов теорий можно различать два типа подходов к исследованию той реальности, которая отражается данными теориями. Эти типы подходов представляют собой некоторую абстракцию, т. к. в реальной исследовательской практике они переплетены порой даже в арсенале одного исследователя, не говоря уже обо всем научном сообществе, к тому же не всегда используются в полном объеме, а с учетом неоднородности гуманитарных наук различать их еще сложнее. Тем не менее подобное различие будет полезно по ряду причин. Во-первых, неоднозначный статус научности относительно ряда гуманитарных теорий не всегда мешает их применению в исследовании. Во-вторых, не все гуманитарные теории можно использовать как метод, а в качестве подхода они работают. В-третьих, якобы ненаучные или неметодологичные гуманитарные теории могут играть значительную роль в развитии гуманитарных наук, т. е. строгая научность, методологичность и эффективность не всегда совпадают.

Рассмотрим, как в различных гуманитарных науках проявляются два типа теорий и соответственно подходов: в социологии, истории, литературоведении.

3.4.1. Два типа теорий в социологии.

Квантитативные и квалитативные подходы в социологии

В социологии два типа теорий, обуславливающих соответствующие подходы, обнаруживаются наиболее явно. Теории и подходы первой группы ориентируются на классические идеалы научности. Многие из них можно назвать квантитативными (от лат. *quantitas* – количество), поскольку их задачей является количественная обработка и анализ большого объема информации, а не ее получение, выдвижение гипотез с последующим подтверждением или опровержением, стремление объяснить, а не просто описывать явления. Для них характерно установление закономерных взаимосвязей между отдельными характеристиками социальных феноменов ради формулировки теоретических моделей и обобщенного прогноза. Здесь нередко провозглашаются позитивистские установки, настаивающие на четкой фиксации эмпирических данных и запрещающие истолкование эмпирического материала, поскольку оно якобы неминуемо

перемещает ученого в область субъективного философствования. Отсюда ориентация социологических теорий на поиск законов как отличительного признака науки, что подчеркивал основоположник социологии О. Конт¹. Основой достоверного научного знания в социологии считаются при этом математико-статистические методы и формализованные процедуры.

Главный недостаток количественных методов усматривают в том, что они могут измерять лишь общие характеристики, которые подразумеваются типическими. Кроме того, собранная информация нередко быстро устаревает. Поэтому количественные методы сбора и анализа информации дают поверхностный срез, не затрагивая, например, глубинных слоев общественного сознания. Следствием этого становятся упрощенные представления об изучаемом объекте, неудачные прогнозы, ошибочные выводы².

Теории второй группы, которые могут быть названы качественными (от лат. *qualitas* – качество), делают ставку на так называемые свободные, неструктурированные, интерпретативные, качественные способы сбора данных и их обработки. Некоторые авторы стараются даже не применять к подобным теориям слово «метод», заменяя его более общим понятием подхода, стратегии, исследовательских практик, предпочитая говорить о методологиях как совокупности установок, а не последовательности действий. Именно эти термины лучше характеризуют качественное исследование как особый тип социологического исследования, кардинально отличающийся от классического «количественного» не только сбором и анализом первичной информации, но и методологическими основаниями³. К результатам качественного исследования, поскольку оно является научным, предъявляются те же критерии внутренней непротиворечивости, логической связности и прочие научные требования, как и к результатам классического исследования. Поэтому качественные исследования дают вполне приемлемые в научном смысле результаты. Впрочем, без последовательности действий, именуемых методами, даже в этом случае не обойтись. Но акцент делается на другом.

1 Конт О. Дух позитивной философии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – С. 78–79.

2 Гришина А. Е. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия? // Соц. исслед. – 2004. – № 9. – С. 8.

3 Готлиб А. С. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия? // Соц. исслед. – 2004. – № 9. – С. 6.

Целевой задачей является понимание смыслов поступков или высказываний изучаемых людей.

Исходной философско-методологической установкой качественных подходов является отказ от представлений об объективном или нейтральном наблюдателе, якобы не влияющем на предмет наблюдения. Заранее предполагается, что исследователь имеет свою субъективную позицию, которую необходимо принимать в расчет. Кроме того, исследование ориентируется, прежде всего, на изучение индивидуального аспекта социальной деятельности или общественного сознания, а именно реального опыта жизни конкретных людей в конкретных обстоятельствах. Но сквозь призму индивидуально могут прослеживаться и более широкие социальные проблемы, касающиеся социальных групп, движений, социальных институтов в конкретной социальной ситуации. Дополнительными источниками информации могут служить и количественные данные, в частности, статистика, но их анализ также будет осуществлен на основе аналитического подхода. В зависимости от целей исследования может быть и наоборот: качественные исследования будут дополнительным источником данных для количественных методов. В этом плане количественные и качественные подходы не следует противопоставлять, они скорее дополнительны.

Акцент на индивидуальное в качественных социальных исследованиях проявляется и в отношении к эмпирическому материалу. Это в первую очередь неструктурированные свидетельства, отобранные из разнообразных документов: тексты интервью и наблюдений, личные и официальные документы, фотографии, видеоисточники и др. Первичными являются данные о субъективных мнениях людей, выраженные чаще всего пространственными высказываниями, реже – жестами, символами, отражающими их взгляды. Нередко с этим связывают будущее социологии как поворот от общих и усредненных закономерностей к индивидуализации социологического знания и переориентации на локальные культурные и этнические проблемы, к подлинной гуманизации социологии. По-видимому, данная позиция – такая же крайность, как и апелляция исключительно к количественным методам как к якобы единственно научным.

По сравнению с количественными подходами качественные исследования отличаются следующими характерными чертами. Во-первых, изучаемые процессы и явления, как и их значения, нестрого

измеряются или не измеряются вообще с точки зрения количества, интенсивности или частоты. Во-вторых, явления изучаются в их естественном окружении. В-третьих, интерпретируются с точки зрения тех значений, которыми наделяют их участвующие в исследовании индивиды, а не с позиций якобы отстраненного и незаинтересованного наблюдателя. Например, в ответе на вопрос: «Как вам понравилась книга?» – мы получаем ответ, означающий субъективное ценностное отношение, характерное для индивида, в его собственных словах, исходя из его социального опыта, знаний, системы ценностей. Такие данные анализируются не математически, а путем аналитического раскрытия их смысла с применением разнообразных техник, начиная от описания и комментирования и кончая кодировками как особым соединением данных для построения теории, и категоризациями как концептуальными уточнениями¹. В-четвертых, отчеты составляются в повествовательном жанре и различаются в зависимости от целей исследования и адресата, которому они предназначены: для широкой публики, для коллег по «цеху», для научной публикации или дискуссии. Такой отчет вместо объективированного наукообразного, якобы объективного и незаинтересованного представления объекта являет собой живое повествование с большим количеством цитат из устной или письменной речи исследуемых, с интерпретациями, размышлениями, теоретизированием исследователя о данном социальном объекте. Для составления подобного отчета, как и для всего исследования, требуется не просто высокий профессионализм, но и особая «теоретическая чувствительность» как совокупность требований к исследователю². «Теоретическая чувствительность» подразумевает осознание тонких различий значения данных, адекватность исследовательской ситуации, пронизательность, способность при осмыслении данных понимать и отделять подходящее от того, что таковым не является³. Иными словами, она подразумевает не только то, чему можно научить, не только умения и навыки, но и талант, вдохновение, интуицию, литературный дар и другие субъективные, малорационализируемые качества исследователя.

1 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники; пер. с англ. и послесл. Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 118.

2 Там же. – С. 35.

3 Там же.

Качественные способы исследования активно применяются для изучения индивидуального аспекта социального бытия. Как процесс разработки отдельной проблемы они предполагают не только наличие особых данных в виде личных документов и текстовых материалов с оценочными высказываниями людей, но и специфические приемы их сбора, обработки и анализа, включающие теоретизирование и интерпретации исследователя, а также требования к исследователю, его опыту, навыкам, концептуальной гибкости, способностям и талантам.

Противники качественных подходов справедливо усматривают элементы субъективизма и произвольности в рассуждениях исследователя по поводу различного рода текстов и личных документов и, как следствие, неоднозначность и необоснованность интерпретаций¹. С этим можно согласиться, но ведь не бывает исследовательских программ и самих исследователей без недостатков. Слабые места нужно устранять, а качественные и количественные подходы и методики использовать как дополнительные с учетом их преимуществ и недостатков.

Таким образом, можно констатировать, что качественные методы в социологии изучают индивидуальные аспекты социального бытия, используют личные документы и текстовые материалы с оценочными высказываниями людей, включают теоретизирование и интерпретации исследователя, требуют способностей и таланта. В них усматривают элементы субъективизма и произвола, что снижает их научную значимость. Квантитативные подходы объективны и точны, но они упрощают и усредняют картину объекта. Оба подхода должны рассматриваться как дополнительные.

3.4.2. Два типа теорий в истории.

Квантитативные и качественные подходы в истории

Историю порой называют едва ли не самой гуманитарной из гуманитарных наук. Гуманитарность здесь проявляется главным образом в литературности, прежде всего литературном вымысле и литературной изобразительности, без которых не обходится ни один исторический текст. Это отчетливо видно в самых первых исторических

1 Божков О. Б. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия? // Соц. исслед. – 2004. – № 9. – С. 4.

текстах. Историю как науку начинают обычно с «отца» истории Геродота (V в. до н. э.). Можно начать даже с «дедушки», предшественника Геродота. Речь идет о логографе (историческом прозаике) VI в. до н. э. Гекатее. Он составлял родословные знатных семей, которые начинались с богов-прародителей и смертных женщин, рожавших героев-предков, в которых смешиваются божественные и человеческие признаки. «История» Геродота, построенная по аналогичной версии, содержит рассказы о царях и героях, нравах и обычаях, перемешанных с чудесными происшествиями и различными предзнаменованиями, которые настолько превосходят человеческое понимание, что даже страшновато об этом рассказывать. «Да помилюют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных»¹. Геродотовская «История» неслучайно считается первым прозаическим произведением европейской цивилизации.

Другой историк древности Фукидид лучше других древних историков соответствует более поздним идеалам научности: он ничего не говорит о вмешательстве богов, апеллируя к устремлениям людей в объяснении исторических событий, избегая мифологических мотивов. Вместо них Фукидид использует философскую идею о неизменной человеческой природе и повторяемости космических циклов. Идея неизменной человеческой природы как первооснова исторического объяснения сохранилась на долгие века. Даже формирование христианского образа необратимости времени, стрелы истории продолжает основываться на понимании сущностного единства человека и неизменности его природы. В этом солидарны и почти рациональный Фукидид, и христианские провиденциалисты, усматривавшие связь поколений в причастности к судьбе или Богу. Философские основания исторического понимания, сменившие мифологические представления, не отменили литературности исторических текстов, что продолжает оставаться главной их особенностью.

Новое время, выдвинув более строгое понимание научности и даже отдалив науку от философии, дало и оправдание гуманитарной научности «наук о духе», сохранив глубокую зависимость от философии и литературного стиля изложения исторического материала. Можно даже усмотреть родство историчности гегелевской

1 Геродот. История: в девяти книгах. – Книга вторая. Евтерпа. 45/пер. и прим. Г. А. Стратановского; общ. ред. С. Л. Утченко; ред. пер. Н. А. Мещерский. – Л.: Наука, 1972. – С. 95.

диалектики духа, обосновавшей возможность изменения человеческого сознания во времени, с историческим романом, где, например, В. Скотт изображает людей прошлого непохожими на уже изменившихся современных людей, вводя в литературу так называемый исторический колорит. Эта черта духовного климата называется на историографии, которая, особенно в первой половине XIX в., ищет в прошлом экзотическое, а не привычное. Наиболее известные исторические работы этого времени содержат психологизированные повествования в духе романов. Иными словами, история остается беллетризованной и философски детерминированной. Философия в своей методологической функции требует трактовать народы и эпохи как неповторяемые индивидуальности. Последнее возможно через применение художественных приемов. Хороший историк, кроме знания фактов, должен уметь вчувствоваться в изучаемую эпоху как литератор в изображаемые события, для чего совсем не лишне обладать художественным талантом. Историк О. Тьерри «прибегает к драматическим и живописным средствам не для того, чтобы украсить свое повествование и не для того, чтобы привлечь внимание читателя. Искусство здесь не является чем-то посторонним исследованию, добавлением к нему. Научный метод Тьерри необходимо включает в себя метод художественный. Этому требовали задачи, которые ставил Тьерри перед исторической наукой. Но такую конкретность, весь этот местный колорит в логических категориях не передать. Поэтому только художественный образ и только повествование могут разрешить задачи, стоящие перед историком»¹.

История стала наукой на рубеже XVIII и XIX вв. не только за счет тщательной разработки фольклорных, архивных, литературных источников, что, разумеется, имело немаловажное значение, но и благодаря осознанию огромного воспитательного потенциала литературно-исторических текстов и появлению соответствующих структур: кафедр, факультетов, обществ, дипломов и прочих атрибутов академического статуса. Художественный стиль исторических трудов продолжал оставаться неотъемлемым признаком исторической науки. Даже приспособленная к нуждам историографии герменевтика как метод понимания текстов содержит психологические, моральные и выразительные основания. «...Интерпретатор

1 Реизов Б. Г. Французская романтическая историография (1815–1830). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1956. – С. 108–109.

вправе рассматривать тексты независимо от их притязания на истину как чисто выразительные феномены. Даже история представляется Шлейермахеру всего лишь зрелищем свободного творчества, правда, зрелищем божественной продуктивности, а исторический подход он понимает как созерцание этого великого зрелища и наслаждение им»¹. В трудах крупнейших немецких историков XIX в. Л. фон Ранке и И. Г. Дройзена история не столько знание о некотором объекте, сколько средство самопознания и развития личности.

Параллельно создавалась «позитивная» исследовательская история в трудах О. Конта, Э. Лависса, И. Тэна. Работа ученого-историка здесь строилась по общенаучной схеме, как проверка гипотез эмпирическими данными с их количественной обработкой. Историки «позитивного» направления заложили традиции активного использования теорий и количественных методов психологии, социологии, экономики.

Подобные квантитативные подходы в исторических исследованиях включают в себя различные теории, методы, модели. Объединяющим началом служит применение в них количественных средств. Но данное применение весьма различно. Множество количественных способов можно свести к двум. В первом случае количественные методы служат для обработки большого вспомогательного материала, который используется преимущественно для иллюстрации тех или иных положений, но не определяет само исследование. Это могут быть способы обработки количественных исторических данных на различных вычислительных устройствах или же соответствующий тип источников, содержащий огромный массив информации. Во втором случае количественные методы в ходе исторического исследования являются определяющими. Они направлены на установление закономерностей, например, с помощью статистических методов и математических моделей, определение тенденций и перспектив, которые до этого были неизвестны, особенно в связи с задачами анализа массовых явлений. Возможна также квантификация качественных данных с последующей обработкой теми или иными математическими методами с целью проверки гипотез, а не для получения статистических иллюстраций. Впечатляющим результатом математического моделирования истории было моделирование

1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: пер. с нем./общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 44.

целопонесских войн, в результате чего оказались существенно уточненными и исправленными некоторые, казалось бы, незыблемые эмпирические данные, например цены на продукты питания¹. Другим впечатляющим примером было определение особенности авторского стиля средневековых текстов на основе структуры парных встречаемостей грамматических классов и использование их в задачах атрибуции².

Существенное преимущество таких подходов в том, что они ограничивают до минимума субъективные суждения историка. Кроме того, количественные подходы способны воссоздать психологические, социальные, экономические структуры, ставя серьезную преграду преобладанию изолированных, исключительных, неповторимых исторических феноменов. Наконец, появляется возможность избавиться от упреков в идеологической заангажированности и философской зависимости историка. Действительно, почти весь XIX в. и большую часть XX в. историческая наука развивалась на основе концептуализации идеи прогресса, а обращение к философии обуславливалось потребностью в некоей всеобщей идее, в глобальной истории, без чего изолированное историческое событие лишалось понимания. Событие или феномен являлся важным, этапным, если становился политически или телеологически значимым. Иными словами, минимум научности компенсировался максимумом идеологизации и философствования. Такая история совершенно естественно оказывалась нарративной. Количественные подходы позволяют перевести повествование в количественную таблицу, классификацию, математическую модель, жесткую логическую конструкцию.

Подобная квантификация имела в исторической науке целый спектр проявлений, но все они ориентировались на количественные методы и в целом на модель научного исследования, принятую в естественных науках. Можно упомянуть марксистский классовый анализ, где количественные подсчеты занимали важное место, хотя историцизм и нарративизм в целом, пожалуй, преобладали.

1 Гусейнова А. С., Кузицин В. И., Павловский Ю. Н., Устинов В. А. Опыт имитационного моделирования историко-социального процесса // *Вопр. истории.* – 1976. – № 11.

2 Бородкин Л. И., Милов Л. В., Морозова Л. Е. К вопросу о формальном анализе авторских особенностей стиля в произведениях Древней Руси // *Методы количественного анализа текстов нарративных источников.* – М.: Ин-т истории СССР, 1983. – 130 с.

Интересные результаты дали структуралистские исследования школы Анналов, поставивших в центр своих исследований общество в целом, пытаясь вскрыть объясняющие его глубинные структуры, например, ментальности, существующие в течение больших временных отрезков, что потребовало существенного расширения и, соответственно, количественного анализа эмпирической базы исторической науки. Следует назвать также количественные подходы в истории социологии и экономики в рамках концепции «серийной» истории. Здесь в ходе исследования исторической реальности предметом рассмотрения становятся не отдельные, изолированные во времени и в пространстве факты, события или индивиды, а ряды однородных единиц, представляющих своеобразные временные серии. Это позволяет реконструировать связное целое экономической или социальной действительности из одинаковых или сравнимых явлений на протяжении определенного промежутка времени. Наиболее впечатляющим квантитативным исследованием такого типа была книга Ле Руа Ладюри «Крестьяне Лангедока», в которой рассматривалась «история без людей», основанная на статистическом анализе взаимосвязей длинных циклов динамики населения и цен на продукты питания¹.

Квантитативные методы имеют определенную сферу эффективного применения, но может ли эта сфера безгранично расширяться или существуют пределы применения квантитативных методов и математических моделей? Возможно, пределы ограничены как целями исследований и их научным уровнем, так и возможностями и спецификой математического знания². Вероятно, эволюционную историческую модель проблематично представить в математической форме.

Многие исторические феномены можно изучать так же, как и соответствующие социологические или экономические проблемы с использованием соответствующего аппарата. Такие проблемы, как доступ широких слоев населения к образованию, чтению газет и книг или отношение к смертной казни, можно изучать с помощью статистических методов и диаграмм, подобно тому, как анализируются промышленное и сельскохозяйственное производство или торговые

1 Бородин Л. И. Квантитативная история в системе координат модернизма и постмодернизма // Новая и новейшая история. – 1998. – № 5. – С. 4.

2 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 1987. – С. 299, 322.

взаимосвязи. В этом смысле количественные подходы в исторических исследованиях представляют собой своеобразное проникновение вместе с методами также и соответствующих им понятий из других сфер науки, которые необходимо адаптировать к данной дисциплинарной специфике. Социологические, математические и иные методы, используемые, например, при изучении социальных классов, могут быть, по мнению ряда исследователей, использованы для количественного анализа, например, культурных элит в провинциальных академиях. Соответственно требуется переопределение, прежде всего, содержания таких понятий, как культура, менталитет, поведение, социальная практика и др.¹ У других историков и методологов речь не идет о радикальном расширении категориального аппарата социально-гуманитарных дисциплин и адаптации всех понятий, сопровождающих тот или иной метод. Однако надо быть готовым к тому, что применение «инородных», хотя и адекватных, методов может породить и новые проблемы. Так случилось при использовании достаточно универсальных математических моделей, разработанных в рамках теории нелинейных динамических систем и математической теории хаоса. Оказалось, что этот подход открывает для историков перспективы постановки и анализа проблемы альтернатив исторического развития². Но ведь история не знает солагательного наклонения!

Квалитативные подходы, в отличие от количественных, не принимают во внимание количественные методы, не ориентируются на идеалы классической науки, настаивают на неустранимой специфике исторического и вообще гуманитарного исследования, нередко используют философские принципы, особенно из сферы философии истории, а часто из новейших философских доктрин, их методичность ограничивается набором более или менее определенных требований и не включает методы как последовательности исследовательских действий. Считать такие исследования ненаучными или недостаточно научными было бы глубоким заблуждением, ибо здесь

1 Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные подходы // Ист. записки: Теор. и методол. проблемы ист. исслед. – Вып. 1 (119). – М.: Прогресс, 1995. – С. 17.

2 Гуревич А. Я. Историк конца XX века: В поисках метода // Одиссей: человек в истории. 1996. – М.: Сода, 1996. – С. 5–10; Гуревич А. Я. История конца двадцатого века: В поисках метода. – М.: Владос-пресс, 1999. – 345 с.

действительно учитывается неустранимая особенность гуманитарных дисциплин и нередко достигаются важные результаты как в самом исследовании, так и в плане обнаружения новых исследовательских перспектив. Качественные подходы достаточно разнообразны. Это может быть изучение отдельного исторического персонажа в рамках микроистории. Здесь часто используются косвенные свидетельства, признаки и приметы. Предпочтение отдается такой процедуре исследования, когда историк идет от некоторого частного случая, который необычайно индивидуален, и невозможна его редукция к типичному, который трудно подогнать под определенные правила, нормы¹. Тут действительно учитывается специфическая особенность микроисторического подхода. Представление конкретных фактов показывает реальное функционирование тех аспектов жизни общества, которые были бы искажены в процессе обобщения или количественной формализации². Поэтому в известной книге «Сыр и черви» знаменитый представитель микроистории К. Гинзбург не стремится выявить ни закономерности эпохи, ни типичность поведения исторических агентов, а просто на основании документов реконструирует мысли, чувства и поведение фриуланского мельника, жившего в XVI в., судимого инквизицией и приговоренного к смерти. Он имел смелость высказать собственные, неординарные мысли, расходящиеся с официальными, по поводу основных мировоззренческих вопросов: в первоначальном хаосе, где, подобно сыру в молоке, сбились в один комок различные стихии, появились черви, из которых произошли Бог и ангелы³. Естественно, во-первых, нельзя обойтись без высокого уровня квалификации, интуиции, таланта и прочих субъективных качеств историка, безусловно влияющих на результат и ставящих вопросы по поводу объективности, точности и пр. Во-вторых, возникает законное сомнение в плане научности данного исторического описания, поскольку не выявляются ни законы, ни обобщения, не представляются ни классификации, ни типологизации. По этому поводу Гинзбург пишет, что выбрать в качестве объекта изучения только то, что повторяется, и поэтому поддается выстраиванию в серию или

1 Леви Дж. К вопросу о микроистории // Совр. методы преподавания новейшей истории. – М.: Наука, 1996. – С. 181.

2 Там же. – С. 180.

3 Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.; пер. с итал. – М.: РОССПЭН, 2000. – 272 с.

статистическую совокупность, изучаемую квантитативно, «означает заплатить в познавательном смысле очень высокую цену»¹. Преувеличенное внимание к подобным случаям порождает ситуации, когда под влиянием философских доктрин, например, постмодернистских, утверждается, что наиболее адекватное познание исторической действительности достигается не на путях развития квантитативной методологии и даже не систематическим применением формализованного понятийного аппарата, если не математики, то хотя бы логики, а в рамках интуитивного поэтического мышления с его ассоциативностью, образностью, метафоричностью и мгновенными откровениями инсайта². Подобное историческое исследование действительно похоже на литературное творчество в рамках исторического романа, но существенно отличается от него не квантитативной, а исследовательской фактологической и документальной точностью, исключающей непрофессиональное фантазирование, хотя и предполагающей определенный литературный дар.

Новые философские концепции или понятия других наук, примененные в исторических исследованиях, часто способствуют прогрессу исторического знания. Они могут вызвать появление новых ракурсов в традиционных исследованиях. Подобные процессы связаны, например, с лингвистическим поворотом в социальной истории, с повышением внимания к герменевтике и семиотике³. Несмотря на обвинения в ненаучности, качественные подходы пользуются популярностью и дают результаты. Поэтому не следует ожидать их вытеснения квантитативными подходами.

Квантитативные и качественные подходы в историческом исследовании взаимодействуют по-разному. Можно обнаружить их временную последовательность и попеременное доминирование, когда на том или ином временном отрезке преобладают те или другие, можно увидеть и их конкуренцию, особенно в период их «исторических встреч» или в ходе их методологического сопоставления. Некоторые исследователи, выделяя в квантитативных подходах

1 Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Совр. методы преподавания новейшей истории. – М.: ИВИ РАН, 1996. – С. 216.

2 Ильин И. П. Постструктурализм: Деконструктивизм: Постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – С. 204.

3 Джойс П. Конец социальной истории? // Совр. методы преподавания новейшей истории. – М.: ИВИ РАН, 1996. – С. 115, 121.

аналитические аспекты, а в качественных – синтетические, отмечают рациональность первых и их поддающуюся математической обработке эмпирию, и эмоционально-интуитивистский стиль с присущим ему «вчувствованием» в историческую ситуацию, – вторых. Иногда даже высчитываются периоды доминирования то одних, то других, например, протяженностью в 40–50 лет¹. В целом, учитывая успехи и ограниченности количественных и качественных подходов, можно зафиксировать их дополнительность, как и в других отраслях гуманитаристики.

Таким образом, можно констатировать, что количественные подходы в исторических исследованиях служат для обработки большого источниковедческого, вспомогательного или иллюстративного материала на различных вычислительных устройствах, а также используют статистические методы и математические модели для установления закономерностей, ограничивая субъективизм историка, исключая преобладание неповторимых исторических феноменов. В то же время художественный стиль исторических трудов остается неотъемлемым признаком исторической науки, продуцируя качественные подходы, которые настаивают на неустранимой специфике исторического исследования, нарративности объяснений, используют философские идеи, ограничивая методологичность общим набором требований, изучают отдельные исторические факты в рамках микроистории, которые были бы искажены в процессе обобщения или количественной формализации. Оба подхода показали свою эффективность и должны рассматриваться как дополнительные.

3.4.3. Два типа теорий в литературоведении.

Количественные и качественные подходы в литературоведении

В литературоведении, как и в исторических дисциплинах, также функционируют теории двух типов. Теория литературы (поэтика) состоит из отдельных теорий – таких как теория организации персонажей или теория композиции, которые можно назвать частными, а также общей теории, где формулируются общие законы повествования, композиции, системы персонажей, организации языка. Всех

1 Петров В. М., Бояджиева Л. Г. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. – М.: Рус. мир, 1996. – С. 10–11.

их объединяет то, что эти теории строятся «в обычном режиме»: провозглашаются исходные принципы, формулируются законы, разрабатывается терминология, анализируется эмпирический базис и т. д. Их можно верифицировать, использовать как метод, они объясняют некоторую совокупность фактов. Результатом их применения является некоторое знание, например, об исследуемом художественном произведении.

Существует в той же поэтике и второй вид теорий, включающий совокупность некоторых идей (философских, культурологических, социологических, политологических и др.) и связанный с ними мыслительный процесс. Причем указанные идеи применяются за пределами их изначальной предметной области, в частности, в литературоведении или истории, хотя родом они из психологии или философии. «Они дают не истину, а другой результат: позволяют по-новому увидеть изучаемый предмет»¹. Данное теоретическое образование не вполне определенное, пределы его применения и связанных с ним рассуждений также неопределенные, сам подход не универсален, метода исследования эмпирии в строгом смысле они не дают. Такая теория не верифицируема. И все же результат она дает: обеспечивает новизну дискурса, дает возможность ставить новые проблемы. Примером может служить феминистская теория, расширившая, среди прочего, литературный канон, или психоаналитическая теория в виде литературоведческих интерпретаций в литературоведении или даже в психоанализе, например, разыгрывание литературных ролей между пациентом и психоаналитиком.

Первый тип теорий ориентируется на установление закономерных отношений в литературном тексте, точное знание, строгий метод исследования, проверяемость гипотез, дисциплинарные рамки, четко очерченный объект, оперируют понятием структуры и опираются на такой эмпирический материал, который можно посчитать и наблюдать достаточно точно. Теории первого типа во многом соответствуют стандартным канонам классической науки, во всяком случае, ориентируются на них. Они методологичны в том смысле, что содержат строгие методы, применяемые в исследовательских целях и дающие конкретный научный результат. В филологии и литературоведении они связаны с именами Р. Якобсона, Ю. Лотмана, М. Гаспарова, В. Топорова и др. В частности, Гаспаров с помощью

1 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение. – С. 23.

сравнительно-статистических методов исследовал ритмику, метрику, строфику и рифмы русского и европейского стиха, описал эволюцию его форм на фоне трех последних столетий и поставил задачу описания объективно сложившихся способов связи формы и содержания в стихе, повторения своеобразных ритмических и стилистических фигур не в рамках субъективного личностного эстетического переживания, а именно в проверяемом и предсказательном ключе, «в терминах доказуемых и показуемых закономерностей»¹. Использование количественных методов позволяет, по-видимому, современную теорию стиха зачислить в строгие научные теории благодаря масштабным подсчетам М. Гаспарова по стихам XX в. и К. Тарановского – по стихам XIX в.

Некоторые идеи подобного подхода складывались в Московском лингвистическом кружке, где председателем был Р. Jakobson и где работали известные или ставшие вскоре известными исследователи В. Жирмунский, Ю. Тынянов, Б. Томашевский, В. Шкловский, Г. Шпет, Б. Ярхо и др., а также поэты-экспериментаторы. Немаловажное значение имело полудоформальное «Общество изучения теории поэтического языка» – ОПОЯЗ, созданное еще до революции группой теоретиков и историков литературы, лингвистов, стиховедов, куда входили Б. Эйхенбаум, Л. Якубинский, а также В. Шкловский, Ю. Тынянов, Р. Jakobson и др.

Значительную роль сыграла ранняя работа Шкловского «Искусство как прием», написанная в 1917 г., в которой критиковался подход к литературе и вообще к искусству как к «системе образов» и выдвигался тезис об искусстве как сумме приёмов художника. Получалось, что поэтическая речь предстает как мастерски сделанная, оформленная вещь, особая структура языка. Это, между прочим, повлияло на зарождение так называемого формального метода как творческого, так и исследовательского, в частности, в литературоведении. Не все участники тогда и в последующем были последовательны в поддержке этого метода, как, например, Шкловский или Тынянов. Некоторые отстаивали иные взгляды, в частности, Томашевский, отрицавший формальный метод. Тут важно подчеркнуть, что наметилась тенденция к научности и методологичности, хотя и неповсеместная и не всегда последовательная. Важнейшей

1 Автономова Н. С. Открытая структура: Jakobson – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 18.

категорией научного аппарата формалистов стало понятие приема. Оно оказалось основным в развитии именно методологических возможностей формализма. Р. Якобсон считал, что понятие приема позволяет рассматривать литературоведение как науку, т. к. прием является главным инструментом в производстве литературного творения, все остальное – начиная от темы и идеи и кончая сюжетом и характерами – зависит от того, каковы были авторские приемы этого производства, т. е. понятие «прием» выступало конструктивным принципом организации и демонстрации художественного материала. Приемами выступали не только сатира, гипербола, гротеск, но также и понятие «искусство», т. к. при помощи искусства применения того или иного приема бесформенный языковой материал превращался в явление искусства как высшей формы художественной действительности. Так, в поэзии язык усложняет восприятия, строит затруднения, торможения, создает «остранение», чтобы привлечь внимание читателя. «Для того чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством... искусство есть способ пережить деланье вещи... Целью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание «виденья» его, а не «узнаванья»¹.

У Виктора Шкловского есть размышление об образах, интересное в плане современного различения двух видов теорий в гуманитаристике. «Существует, – пишет Шкловский, – два вида образа: образ как практическое средство мышления, средство объединять в группы вещи, и образ поэтический – средство усиления впечатления. Поясню примером. Я иду по улице и вижу, что идущий впереди меня человек в шляпе выронил пакет. Я окликаю его: «Эй, шляпа, пакет потерял». Это пример образа – тропа чисто прозаического. Другой пример. В строю стоят несколько человек. Взводный, видя, что один из них стоит плохо, не по-людски, говорит ему: «Эй, шляпа, как стоишь». Это образ – троп поэтический»². В одном случае слово «шляпа» было переименованием, метонимией, в другом – переносом значения, метафорой. Это были не только попытки строить теорию литературы, а выявлять методологичность теоретических конструкций.

1 Шкловский В. Искусство как прием/В. Б. Шкловский // О теории прозы. – М.: Крут, 1925. – С. 16.

2 Там же. – С. 10.

По-видимому, можно связать метонимию с описанием, а метафору с переописанием. Именование будет причислением к некоторой группе объектов, а переименование – причислением к другой группе объектов, в этом смысле приписывание некоторого смысла данному предмету. Название или переименование не меняет взаимоотношения объекта с другими – не изменяет структуры события или ситуации, в которой находится объект. А метафора порождает новые ассоциации и новые смыслы, позволяя переосмыслить связи и отношения объекта. Можно сказать, что метафора изменяет структуру события или ситуации и так или иначе связана с оценкой или скорее с переоценкой объекта, позволяя его увидеть иначе. Метафора задает новое видение. Метонимия позволяет узнать объект в ряду или в группе или в системе других объектов, а метафора позволяет задать новую систему рассмотрения. Иными словами, метафора рассматривается как метод порождения нового видения предмета. Явная методологичность может быть приписана не только понятию прием, но и обычным тропам, которые также рассматриваются как приемы.

Методологичность теоретических построений связана также и с поисками структурных отношений в литературных произведениях и переходом к структурным методам исследования. Н. Автономова усматривает в структурных методах главный признак научности литературоведческих изысканий, проводя линию эволюции сквозь весь XX век. «Якобсон выступает здесь как один из первооткрывателей структурных методов в лингвистике, Лотман как ученый, использовавший структурно-семиотический метод в его развернутой форме, Гаспаров – как тот, кто, признавая любое научное исследование исследованием структуры, ставил акцент на позитивное изучение фактов и их сравнительно-статистическую обработку – на материале стиховедения. Тем самым в творчестве этих мыслителей, наряду с конкретной работой над тем или иным материалом, прорабатываются проблемы объективности гуманитарного познания, нацеленного на постижение человеческого мира, доступное проверке, проблемы динамических оснований знания, соизмеримости/несоизмеримости опыта при обращении к различному языковому, культурному, концептуальному материалу»¹. Список представителей этой тенденции может быть существенно расширен как зарубежными

1 Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – С. 9.

участниками, например из Пражского лингвистического кружка, так и вновь открываемыми именами советского прошлого. К ним принадлежит Б. Ярхо с очень характерным в данном контексте названием его работы – «Методология точного литературоведения»¹, которая была написана в сталинских лагерях и ссылках, а опубликована уже другим поколением исследователей.

Как в свое время естествознание пыталось отмежеваться от философии, так и теория литературы пыталась построить собственное здание, отдав проблему эстетического переживания на откуп философской эстетике и сосредоточившись на точном анализе литературного объекта. В. Жирмунский еще в 1919 г. писал: «Исчерпывающее определение особенностей эстетического объекта и эстетического переживания, по самому существу вопроса, лежит за пределами поэтики как частной науки и является задачей философской эстетики... Наша задача при построении поэтики – исходить из материала вполне бесспорного и, независимо от вопроса о сущности художественного переживания, изучать структуру эстетического объекта, в данном случае – произведения художественного слова»².

Однако указанный способ построения теории литературы не был общепринятым в исследовательском сообществе. Далеко не все соглашались с идеей элиминации философии. В. Жирмунскому возражает М. Бахтин почти в то же время (1924 г.): «...без систематического понятия эстетического, как в его отличии от познавательного и этического, так и в его связи с ними в единстве культуры, нельзя даже выделить предмет, подлежащий изучению поэтики, – художественное произведение в слове, – из массы произведений другого рода; и это систематическое понятие, конечно, вносится каждый раз исследователем, но совершенно некритически... Поэтика, определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества»³. Почти вся работа Бахтина является попыткой анализа основных понятий и проблем поэтики на основе философской

1 Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: избр. тр. по теории лит./общ. ред. М. И. Шапира. – М.: Языки слав. культур, 2006. – XXXII, 927 с.

2 Жирмунский В. М. Задачи поэтики/В. М. Жирмунский // Теория литературы: Поэтика: Стилистика. – Избр. тр. – Л.: Наука, 1977. – С. 23.

3 Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве/М. Бахтин // Вопр. лит. и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 9–10.

эстетики. Бахтин, в отличие от структуралистов, даже структуру называл архитектуроникой, из-за чего анализ приобретал не столько научный, сколько философский смысл: «Понять эстетический объект в его чисто художественном своеобразии и структуру его, которую мы в дальнейшем будем называть архитектуроникой эстетического объекта, – первая задача эстетического анализа. Далее эстетический анализ должен обратиться к произведению в его первичной, чисто познавательной данности и понять его строение совершенно независимо от эстетического объекта... Так, художественное произведение в слове должно понять все сплошь во всех его моментах как явление языка, то есть чисто лингвистически... И, наконец, третья задача эстетического анализа – понять внешнее материальное произведение как осуществляющее эстетический объект, как технический аппарат эстетического свершения»¹. В. Тюпа справедливо замечает: «структура – это не бахтинское слово. Бахтинское слово – архитектуроника. Научный язык, который строится от структуры, – это один язык, от архитектуроники – другой»².

Бахтинский подход олицетворяет второй тип гуманитарных теорий. Теории второго типа опираются на интерпретацию и понимание, заведомо нестрогие термины, метафорическая сила которых важнее стабилизирующей силы точной терминологии, на произвольные мысленные конструкции, используют теоретические положения из других областей знания и сами легко выходят за пределы своей предметной области. Они тесно связаны с философскими концепциями, безразличны к проверяемости, эмпирическому материалу, истинности. Нельзя сказать, что эти теории лучше или хуже первых, они другие. Исключать их из литературоведения как ненаучные вряд ли имеет смысл. В частности, их задачей является новое представление изучаемого материала, принципиально новое видение предмета, новые программы исследований. Тут главное – не эмпирический результат, а новые идеи и сам мыслительный процесс, дающий новое видение. Владелец первых теорий, усвоивший их методы, становится мастером своего дела и, применяя метод, получает явные, надежные, проверяемые результаты, развивая эти

1 Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. – С. 17.

2 Тюпа В. Круглый стол: «Открытая структура» в контексте междисциплинарности: Обсуждение книги Н. Автономовой // Вопр. лит. – 2010. – № 6. – С. 5–42.

теории, хотя их предел очевиден – данная конкретная группа объектов. Вторые теории практически бесконечны, хотя бы потому, что область их применения неограниченна, а порой и неизвестна заранее. Овладеть такими теориями гораздо труднее, чем явно выраженными методами первого типа, а овладев, мастером не станешь, т. к. методы они не дают. Зато получишь ту широту понимания, ту возможность выхода за дисциплинарные рамки, то новое видение, которые первые теории дать не могут. Иными словами вторые теории не менее плодотворны. Эти теории представлены именами А. Белого, А. Лосева, М. Бахтина, С. Аверинцева и др. Бахтинские теории диалога, карнавала, мениппеи относятся ко второму типу и в этом смысле не предложили точный метод исследования. Это, однако, не умаляет величия Бахтина и его идей, неслучайно у него огромное количество талантливых последователей, он один из наиболее цитируемых мыслителей современности, а бахтинистика как изучение его творчества имеет несколько направлений.

Естественно, что в известном смысле там можно говорить об особых подходах или требованиях к творчеству и творческому мышлению, что порой называют методами, хотя очевидно, что метод тут понимается в весьма расширительном смысле.

Теоретические разработки и даже методологические труды Бахтина представляют собой систему оригинальных подходов, творческих задач и требований, своеобразную программу творчества. Однако использовать его теоретические положения как методы исследования весьма затруднительно, если вообще возможно, ибо не заданы собственно методы как конкретные шаги реализации программы. Это дело таланта и творчества его последователей. «Несвоевременные последователи сделали из его программы творчества теорию исследования, а это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы оберечь его от искажений»¹. В этом плане теории второго типа не методологичны. Таким образом, не все теории способны работать как методы. В этом смысле подлежит уточнению формула «теория становится методом, если применяется к исследованию».

Использование неметодологичных теорий или их идей как методов порождает недоразумения. Примером является попытка

1 Гаспаров М. М. М. Бахтин в русской культуре XX века / М. Л. Гаспаров // Избр. тр.: в 3 т. – Т. 3. – М.: Наука, 1997. – С. 496.

А. Баркова использовать бахтинскую идею мениппеи как метод. Выходит, что, например, романы «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Евгений Онегин» А. Пушкина нужно рассматривать как мениппеи. Интерпретация романов как гениальных мистификаций потребует радикального изменения всего пушкиноведения и булгаковедения¹. С. Епифанова предлагает представить как мениппею «Войну и мир» Л. Толстого по всем 14 пунктам бахтинской концепции². Термин «мениппея», введенный в литературоведческий обиход М. М. Бахтиным, означает особое жанровое образование серьезно-смехового типа, для которого характерны авторские мистификации, явные и скрытые нелепости в авторском тексте, сцены скандалов, эксцентричного поведения, неуместных речей, нарушения обычного хода событий, общепринятых норм поведения и пр. Мениппеи характеризуются исключительной свободой сюжетного и философского вымысла, сочетанием свободной фантастики, символики и иногда мистико-религиозного элемента с грубым натурализмом, изображением необычных, ненормальных морально-психических состояний человека³. Многие из названных признаков и характеристик в избытке можно обнаружить в вышеназванных произведениях, как и в большинстве, если не во всех, произведениях мировой литературы. Однако из того, что эти признаки характерны для мениппеи, вовсе не следует, что все произведения, в той или иной мере содержащие их, становятся мениппеями. Бахтин, во всяком случае, такого вывода не делал.

Быть теоретиком в области литературы и не быть литератором, т. е. творцом, сочинителем в хорошем смысле слова, по-видимому, весьма затруднительно. Возможно, поэтому литературоведы нечасто ограничиваются только исследовательскими методами. Вероятно, в этом одна из особенностей бахтинского феномена. Его философско-методологические работы – область как исследовательская, так и творческая. Провести там разделительную линию весьма сложно. Таковую попытку предпринимает М. Гаспаров, указывая, что не следует смешивать Бахтина-философа и Бахтина-филолога. Бахтин как

1 А. Барков // Прогулки с Евгением Онегиным. – Тернополь: Астон, 1998. – 350 с.; А. Барков // Романы «Евгений Онегин» и «Мастер и Маргарита»: традиция литературной мистификации. – К.: Станица, 1996. – 32 с.

2 Епифанова С. Война и мир как мениппея. – Режим доступа: <http://www.lebed.com/2005/art4313.htm>.

3 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Сов. Россия, 1979. – С. 135.

философ принадлежит к творческой сфере, где создаются новые картины мира или усложняются прежние, вносятся новые ценности, что и сделал Бахтин в работах о Достоевском и Рабле. По тематике это филологические работы, а по сути – философские, творческие. Его следует считать философом, творцом, а не филологом, исследователем. «Философия – область творческая, как и литература. А филология – область исследовательская. Бахтина нужно высоко превознести как творца – но не нужно приписывать ему достижений исследователя»¹. И далее: «Так Бахтин, сочинитель небывалой литературы, вступал в конфликт с Бахтиным, пытающимся исследовать реальную литературу; этот конфликт в его творчестве так и остался не разрешенным, а лишь затушеванным»².

Однако важно отметить, что творчество Бахтина произвело на свет весьма интересную форму литературного и гуманитарного исследования, которую мы относим ко второй группе гуманитарных теорий, не задающих четкие методы исследования, но обеспечивающих новый взгляд на предмет, а то и обновление последнего. В ряде случаев их уместнее называть концепциями, хотя последователи порой представляют их в виде теорий. Гаспаров называет бахтинскую концепцию философской, но в гуманитаристике философские идеи не устранимы. Особенно это касается теорий второго типа, которые обычно довольно яркие, привлекательны и популярны. Их эффективность доказали также и последователи Бахтина, в т. ч. относительно продуктивности бахтинских идей, например, термина «мениппея»³.

Как отмечалось, теории второго типа неметодологичны и использование их в качестве метода может привести к недоразумениям, что и случилось с А. Барковым. В основе барковской мениппеевой революции относительно булгаковского романа «Мастер и Маргарита» – представление исследуемого произведения как мениппеи, расшифровка якобы мистификационного замысла автора, переистолкование временных параметров литературной жизни тридцатых годов прошлого века, особенно даты смерти М. Горького. «Год, месяц

1 Гаспаров М. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: материалы Междунар. науч. конф. Москва, 10–11 нояб. 2004 года. – М.: МГУ, 2004. – С. 8.

2 Там же. – С. 10.

3 Махлин В. Л. Мениппея // Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. А. Н. Николюкина. – М.: ИНИОН РАН, Интелвак, 2003. – С. 525–529.

и день смерти Мастера Булгаков не только наметил с помощью всевозможных подсказок – скрытых временных меток, вплоть до дат полнолуния и солнечного затмения, но и задублировал эту информацию так, что ошибиться невозможно: это 19 июня 1936 года, день смерти Горького. Одного этого было бы достаточно, чтобы не ошибиться в прототипе»¹.

Отсюда, в частности, следовало, что прообразом Мастера был именно М. Горький. «А это и доказывать не надо: горьковскими «адресами» роман перенасыщен. Просто нас сегодня Горький не интересует, он на наших глазах уходит в небытие, в забвение, а в тридцатые годы все булгаковские аллюзии в его адрес были прозрачными. В романе множество «горьковских» меток, от марки каприйского вина и ассоциаций с переименованием Тверской и с названием романа «Мать» до общеизвестных «неожиданных слез» Горького»². Барков так увлекся, что даже без тени улыбки усматривает скрытый зашифрованный смысл в упомянутом Булгаковым популярном в Древнем Риме цекубском вине. «Превосходная лоза, прокуратор, но это – не «Фалерно»? – «Цекуба», тридцатилетнее, – любезно отозвался прокуратор»³. Барков решил, что Булгаков назвал вино в честь... ЦЕКУБУ. Так называлась Центральная комиссия по улучшению быта ученых, созданная в Москве в 20-е годы. Булгаков, видимо, дает будущим комментаторам возможность увидеть цепочку: ЦЕКУБУ–римское (итальянское) вино – Горький жил в Италии. Якобы еще одна горьковская метка в романе.

Барков усмотрел также не просто новое прочтение «Евгения Онегина» А. Пушкина, а его полное переосмысление. Если официально считается, что действие романа происходит в 1819–1825 гг., то Барков переносит его более чем на десять лет назад⁴. Основой стали эпизоды романа, подобные тому, который описан в третьей строфе второй главы, где Онегин, вступая в наследство, находит в дядином шкафу среди прочего:

«И календарь осьмого года.

1 Барков А. Н., Козаровецкий В. А. Метла Маргариты. – Режим доступа: <http://intervjuer.narod.ru/06.htm>.

2 Там же.

3 Булгаков М. А. Пьесы. Романы. – М.: Правда, 1991. – С. 670.

4 Барков А. Н., Козаровецкий В. А. Пулок чернеет сквозь рубашку. – Режим доступа: <http://intervjuer.narod.ru/04.htm>.

Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел»¹.

На этом основании делается вывод, что приезд Онегина в дядину деревню происходит именно в 1808 году, что требует пересмотра всех дат, так или иначе связанных с романом. Барков не увидел пушкинской иронии по поводу этой даты, что в свою очередь потребовало буквального понимания пушкинского иронического замечания о том, что дядюшка Евгения имел много дел. Баркову приходится доказывать, что у помещика много важнейших дел, в которых ему помогает календарь, который старым, следовательно, не может быть. Тезис «осьмого» года заставляет его не видеть очевидной иронии. Между тем, Пушкин перечисляет дядины дела:

«...деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил»²;
«Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки»³.

Браниться с ключницей, смотреть в окно, давить мух, играть в дурачки – на такое количество дел сорока лет оказалось до обидного мало. Отсюда пересмотр Барковым всех общепризнанных «онегинских» дат, которых, впрочем, в тексте Пушкина нет. «Ну, одна-то дата есть точно – просто вы на нее не обратили внимания, так аккуратно, «мимоходом» поставлена она Пушкиным (я имею в виду «календарь осьмого года» в шкафу у дяди Онегина). Но судите сами. Могло ли иметь место путешествие Онегина с посещением Макарьевской ярмарки в 1821 году, как принято считать, если сама ярмарка сторела в 1816-м и с 1817 года проводилась в Нижнем Новгороде? Могла ли Татьяна – первенец в русской семье – родиться, как утверждал В. Набоков, в 1803 году, минимум через семь лет после венчания родителей, которое состоялось не позднее 1796 года (на надгробной плите Дмитрия Ларина указан его бригадирский чин, в том году упраздненный)? Могла ли в 1820 году звучать на берегах Невы рожковая музыка, если единственный на всю Россию оркестр рожковых инструментов прекратил свое существование в 1812 году? Пушкин аккуратно «рассыпал» по всему роману детали, которые при внимательном

1 Пушкин А. С. Евгений Онегин: соч. в 3 т. – Т. 2. – М.: Худож. лит., 1986. – С. 209.

2 Там же.

3 Там же. – С. 300

чтении с определенной «точки» дают возможность восстановить биографию рассказчика с точностью до года. Например, из биографии Зарецкого, который попал в Париж не как победитель, а как «узник» – то есть между 1805 (поражение при Аустерлице) и 1807 г. (Тильзитский мир), – из его биографии становится ясно, что он мог быть секундантом при дуэли с Ленским не ранее 1807-го и не позднее 1812 года»¹. Пространная цитата из Баркова является свидетельством того, как много «количеств и качеств», умножая сущности сверх необходимости, он вынужден не вполне обоснованно пересмотреть ради торжества «осьмого» года, в т. ч. множество дат, событий, имен, в частности имя нарратора, которым совершенно неожиданно оказывается не сам Пушкин, а П. А. Катенин, да и, собственно, жанр романа, который объявляется мениппеей.

При первом знакомстве даже не верится в серьезность таких исследований – возникает впечатление грандиозного розыгрыша. Дело здесь не в том, что вышеназванные авторы – Барков и Епифанова – любители, непрофессионалы, а в недостаточной методической подготовке, в непонимании сути методов и в неадекватном их применении. Тем более смешно «метод мениппеи» выглядит в работах, мениппеизирующих детские сказки про Буратино или Мойдодыра². Так, в мениппеизации «Приключений Буратино» А. Толстого Мальвина оказывается гражданской женой Горького М. Андреевой, Буратино – самим Горьким, кукольный театр – МХАТом, Страна дураков – Советской Россией и т. д.³

Нельзя сказать, что указанные два типа теорий мирно сосуществуют, хотя в той или иной мере проявляются в работах одних и тех же исследователей, которые не всегда осознают свою приверженность к тому или иному типу. Например, ни Яacobсон, ни Лотман никогда не противопоставляли себя Бахтину и кое в чем к нему присоединялись⁴, а Андрей Белый одним из первых высказал мысль о том, что стиховедение может стать наукой, если будет опираться

1 Барков А. Н., Козаровецкий В. А. Пупок чернеет сквозь рубашку. – Режим доступа: <http://intervjuer.narod.ru/04.htm>.

2 Адуев В. Истинное содержание произведения К. Чуковского Мойдодыр. – Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/Kornei/Biblio/Aduев.htm>.

3 Маслак П. и О. Народный учитель страны Дураков. – Режим доступа: <http://burik.com.ru/?p=298>.

4 Автономова Н. С. Открытая структура: Яacobсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. – С. 7.

на строгое наблюдение и статистику, хотя и не разрабатывал эту идею. В то же время нельзя не заметить и своеобразной экспансии этих групп по отношению друг к другу. Например, постмодерн был наступлением на литературоведческую науку. Но в более общем плане скорее преобладает тенденция к рационализации, онаучиванию литературоведения и всей гуманитаристики, тенденция к применению точных, количественных методов. Впрочем, по-видимому, есть пределы подобной тенденции, что обуславливает процесс постоянного воспроизводства теорий второго типа. Пределы связаны, как минимум, с особенностями восприятия художественного произведения в отличие от восприятия естественнонаучного объекта. В первом случае рациональное накладывается на эмоциональное и связано с так называемыми высшими чувствами. Любой текст воспринимается не только как объект научного исследования, но и эстетически переживается. «Литературоведу – как ученому – остается... анализировать внешнюю данность художественного текста как систему, направляя по этому пути свое познание на произведение как целостность, открывающуюся ему в своей полноте и неизбыточности лишь в его эстетическом переживании»¹.

Второй тип теорий нередко довольно тесно связан с литературной и театральной критикой как вненаучной составляющей литературоведения, например в попытках увидеть феминистский или подсознательный фон в литературном произведении. Это дает критикам большой простор для интерпретаций, которые практически ничем не ограничены. Впрочем, иные критики не утруждают себя вопросом теоретической нагруженности их интерпретаций. Первая же группа больше связана с другой составляющей литературоведения – комментарием, где простор фантазии комментатора существенно ограничен. Комментатор должен быть «прозрачным» и опираться на факты – он не может произвольно толковать культурный или социальный контекст произведения. Подмена одного другим может выглядеть оригинально, но реально ничего, кроме путаницы, она не принесет.

Таким образом, можно отметить, что теория литературы (поэтика) включает два вида теорий. Первые формулируют общие законы повествования, композиции, системы персонажей, организации

1 Тюпа В. И. Художественность литературного произведения: вопр. типологии. – Красноярск: КрГУ, 1987. – С. 26.

языка, ориентируются на точное знание, строгий метод исследования, проверяемость гипотез, дисциплинарные рамки, четко очерченный объект, оперируют понятием структуры и опираются на такой эмпирический материал, который можно посчитать и наблюдать достаточно точно. Вторые включают совокупность некоторых философских, культурологических и других идей, являются преимущественно интерпретативными, не дают строгий метод исследования, они не верифицируемы, но обеспечивают новизну дискурса, новые программы исследований, дают возможность ставить новые проблемы.

ГЛАВА 4. ГУМАНИТАРНЫЕ ПАРАДИГМЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Термин парадигма широко используется в литературе, посвященной анализу структуры науки и ее истории, но чаще всего он соотносится с естественнонаучным знанием, откуда экстраполируется на науку вообще. В период, когда математические и формально-логические методы давали хороший эффект в построении физических теорий, последние заслужили право считаться образцами, которые успешно и безуспешно пробовали применять в самых разных отраслях науки. Дальнейшая эволюция естествознания, в частности, переход его в постнеклассическую стадию, бурное развитие гуманитарных наук, особенно лингвистический и нарратологический бум, поставили перед методологией науки множество вопросов о новых лидирующих дисциплинах и об их парадигмах. Один из них – можно ли говорить о парадигмах в гуманитаристике?

Ответ на данный вопрос весьма существен. Если в гуманитаристике действительно функционируют парадигмы, особенно аналогичные естественнонаучным, то статус научности гуманитарного знания значительно повышается.

Нелишне отметить, что естественнонаучные парадигмы, хотя и связаны с общекультурным контекстом, но не напрямую и опосредованно зависят от обыденной деятельности или философских, политических, религиозных баталий. Прямое вторжение философии или политики в науку является скорее исключением, чем правилом. Естественнонаучные парадигмы в значительной степени автономны. С гуманитарными парадигмами дело обстоит иначе. Повседневная духовная деятельность людей, как и материальная, осуществляется по определенным культурным образцам, парадигмам. Осмысление этой деятельности как создание соответствующих «миров», например в литературе, искусстве, летописях, анналах и т. п. также осуществляется по некоторым образцам, парадигмам. Осмысление

литературного мира в литературоведении или летописных источников в теоретической истории также осуществляется по парадигмам, но уже научного уровня. Очевидно, что последние не могут игнорировать те парадигмы и внепарадигмальные культурные феномены, которые располагаются на «нижних этажах».

4.1. НАУЧНЫЕ И ВНЕНАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ

В современной методологии науки утвердилось понимание парадигмы, предложенное Т. Куном. Сам он определяет парадигму как «...одно или несколько научных достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности», причем достижения должны быть достаточно «беспрецедентными, чтобы привлечь на длительное время группу сторонников из конкурирующих направлений научных исследований», а, кроме того, быть «достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых в их рамках могли найти для себя нерешенные проблемы любого вида»¹. Несмотря на неопределенность понятия парадигмы, о чем свидетельствует порядка тридцати его значений, обнаруженных исследователями в работах Т. Куна, оно довольно четко фиксирует, особенно в понятии дисциплинарной матрицы², набор убеждений, ценностей, норм, методов и средств, принятых научным сообществом и обеспечивающих общепринятые, образцовые способы постановки и решения проблем, приобретающих обычно характер стандартных способов мышления и деятельности. Все это явно или неявно излагается в основополагающей литературе, например в работах корифеев или в учебниках, по которым студенты приобщаются к соответствующей научной работе, а некоторые из них становятся со временем учеными, чаще всего не особенно рефлексируя по поводу основополагающих исследовательских установок. Иными словами, если в некоторой сфере знаний наличествуют многообразные способы объяснений, далекие от единого стандарта, присутствует апелляция к здравому смыслу и широкой общественности, а не к более или менее профессиональному со-

1 Кун Т. Структура научных революций. – С. 28.

2 Там же. – С. 230–235.

обществу, не сложились четко определенные последовательности действий и специальная терминология, определяющая некоторую закрытость деятельности, не используются специальные средства, не определен круг проблем и образцы их решения, то, следовательно, еще не сложилась парадигма, объединяющая сторонников, стандартизирующая деятельность, определяющая начало и перспективы научной традиции, т. е. нельзя говорить о науке. Подобное донаучное состояние знания предшествовало всем развитым наукам, оно и сейчас преобладает в ряде сфер гуманитаристики, но отнюдь не повсеместно. Но если в какой-то сфере гуманитаристики нет научных парадигм, это не значит, что там нет парадигм другого рода.

Парадигма как образец и стандарт деятельности необязательно связана с развитой научной теорией, в особенности за пределами классической науки. Сам Т. Кун относил к типичной парадигме не только классическую ньютоновскую механику, но и аристотелевскую динамику, и птолемеевскую астрономию, к которым термин «наука» применим лишь с известными оговорками.

Понятно, что воззрения античных философов и даже довольно целостную систему взглядов Аристотеля научными теориями назвать трудно в основном вследствие их умозрительности, поскольку они не опирались на опыт так, чтобы можно было извлечь достоверные данные и проверить предсказания. Тем не менее термин «теория» был впервые применен именно в античности. А главное, вследствие многозначности понятия парадигмы оно может иметь не только научный, но и общекультурный контекст.

Древнегреческая цивилизация периода становления и развития философии довольно далеко ушла от «традиционной культуры» к более сложной организации, когда унификация поведения людей осуществляется не исключительно на основе неосознанных традиций, а с помощью более сложного механизма – культурных парадигм. Они концентрируют характерные для данной культуры образцы решения интеллектуальных и практических задач, которые в принципе осознаны культурой, хотя в индивидуальной деятельности могут усваиваться неосознанно. В этом смысле парадигмальные культурные механизмы порой действуют автоматически, например, когда наследуются характерные сословные, конфессиональные или национальные модели поведения. Так транслируются в культуре широкая русская душа, немецкая скрупулезность и тщательность, английская

чопорность, честное купеческое слово, дворянская государственная ответственность и т. д. Парадигмы возникают и как осознание определенных образцов индивидуальной и групповой деятельности. В искусстве парадигмы образуются профессионально признанными произведениями, которые называют шедеврами. Их изучают, описывают, им подражают. Симфонии Бетховена на протяжении второй половины XIX и всего XX вв. были образцом симфонической музыки. Тем не менее в шедеврах-парадигмах практически всегда остается неформализованный, рационально не выраженный, неявный элемент, который усваивается некритически и неосознанно или не замечается современниками и лишь осмысливается потомками.

Нередко парадигма поведения или мышления транслируется как миф, притча, нарратив, философская, теологическая или научная концепция, задающая особый способ понимания мира. Древнегреческая культура дала многообразные примеры парадигм, среди которых особое значение имела парадигма космоса. Известно, что слово «космос» в переводе означает порядок как особое упорядоченное, целостное видение природы.

Именно греки впервые «осмелились взглянуть природе в лицо... Свой разум они противопоставили хаосу на первый взгляд случайных явлений природы»¹. Порядок, космос вместо хаоса был первой парадигмой, позволившей перейти от мифа к логосу. Впрочем, истоки победы порядка над хаосом можно усмотреть еще в мифологии, где олимпийские боги как олицетворение гармонии побеждают титанов и другие порождения хаоса, устанавливая порядок в мире. Тем не менее космос как рациональная парадигма сразу включает в себя немифологические компоненты: интенцию на отыскание скрытой, неочевидной причины, преобладание естественного над сверхъестественным, замену антропоморфных образов безличными силами. Все это подчинялось идее гармонии и совершенства, например, в астрономии способ движения и форма небесных тел должны были быть гармоничными и совершенными. Поэтому они представлялись в виде кругов и шаров.

Парадигмальное значение имел замкнутый характер космоса, где в единой гармонической взаимосвязи находились звезды, планеты, государство, человек. Аристотель достаточно последовательно развил пространственные представления о структуре Вселенной

1 Кун Т. Структура научных революций. – С. 19.

как замкнутом мире. Для нас не должно быть определяющим, что в центр мира он поставил Землю, а границей определил небесную сферу, к которой прикреплены неподвижные звезды. Более существенно то, что исходя из парадигмальной идеи идеальности круговых движений он расположил планеты («блуждающие звезды»), Луну и Солнце так, что каждая двигалась по своей сфере, составляя полную гармонию и соответствуя наблюдаемым отклонениям, петлям и т. п. Даже отличие земного прямолинейного движения от небесного, делящее мир на подлунный и надлунный, укладывалось в эту гармонию, в особенности с учетом целесообразного устройства космоса и наличия целей у каждого вида движения. Время, как и пространство, также представлялось грекам замкнутым подобно идеальному кругу. Небесный свод совершал свой круговой оборот, и все повторялось: от смены времен года до смены поколений, когда ничего радикально нового не возникает. Идея внутренней гармонии распространялась и на понимание закона древними греками. «Для них это была внутренняя гармония, так сказать, статическая и незблемая; это была модель, которой природа старалась подражать»¹. Поэтому прогрессивные изменения не предполагались. Даже Гераклит, считавший движение основой всего, описывал взаимное превращение как единый процесс возникновения и угасания, «который устанавливал перманентный, а не прогрессивный порядок космоса»². Некоторые исследователи даже используют парадоксальную формулу: «древние греки жили не в истории, а в космосе»³. В более общем виде отличают традиционного человека от исторического⁴. Имеется в виду отсутствие идеи развития, поступательности, прогресса, и напротив, особое упорядоченное, целостное видение природы.

Парадигма гармоничного космоса не препятствовала появлению различных моделей мира, предложенных древнегреческой астрономией. Можно вспомнить и геоцентрические модели, представленные Аристотелем, Аполлонием Пергским, Гиппархом, и гелиоцентрические, предложенные Аристархом Самосским, и «промежуточные»,

1 Пуанкаре А. Настоящее и будущее математической физики/А. Пуанкаре. // Избр. тр.: в 3 т. – Т. III. – М.: Наука, 1974. – С. 560.

2 Уитроу Дж. Структура и природа времени. – М.: Знание, 1984. – С. 15.

3 Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики/Н. Бердяев // Царство Духа и царство кесаря. – М.: Республика, 1995. – С. 259.

4 Элиаде М. Космос и история. – М.: Прогресс, 1987. – С. 139.

разработанные Филолаем, Гераклидом Понтийским. По Филолаю, например, в центре космоса находится огненное тело, а вокруг него равномерно вращаются по соответствующим круговым орбитам Земля, Антисземля, Луна, Солнце, пять планет и сфера неподвижных звезд. В этом плане парадигма космоса оставалась общекультурной и не могла стать научной парадигмой даже в относительно развитой на то время астрономии. В то же время птолемеевская астрономия, берущая свое начало, по-видимому, от Гиппарха, гораздо ближе к научной парадигме как задающая способы не только объяснения, но и исследовательской деятельности. Во всяком случае, она могла выполнять такую функцию. Последующие наблюдения успешно дополняли эту модель, а практическое применение не давало поводов для сомнений. В частности, поэтому многие ученые усматривают начало астрономии еще в античности, т. е. задолго до XVII в., когда формируется классическая наука, относительно которой можно уже с полным основанием говорить о научных парадигмах.

Общекультурные истоки парадигмы космоса весьма разнообразны. Например, сказались общественно-политическая структура и историко-географическое положение. В частности, отказ от мифологических мотивировок в значительной степени был связан со стремлением придать общезначимый характер объяснительным концепциям в условиях разнообразия религиозных представлений и верований, характерных для ионийских полисов¹. Не могли не сказаться повседневные занятия искусством, например музыкой, и разработка теории музыки. Неслучайно Пифагор представляет движение планет и светил в особых сферах, которые при вращении производят гармоничные звуки, образуя музыку сфер. С другой стороны, не последнюю роль играла политическая самостоятельность городов-государств, преимущественно демократические формы правления, широкое участие свободных граждан в выполнении общественных функций, необходимость аргументированно выступать в собраниях. Все это способствовало формированию независимого, критичного мышления и порождало разнообразные модели космоса. Тем не менее бросается в глаза и их парадигмальное единство: гармоничный космос, числовое, геометрическое и музыкальное совершенство его структуры, что предопределило идеал астрономического объяснения на ряд веков. Поэтому пифагореец Филолай застав-

1 Рожанский И. Д. Античная наука. – М.: Наука, 1980. – С. 34–35.

ляет Землю, Солнце, Луну и пять известных тогда планет двигаться вокруг невидимого центрального огня. Этим объясняется и кажущееся движение Солнца вокруг Земли, и кажущееся движение звезд на неподвижном своде. Ученики Филолая, упразднив центральный огонь, помещают вращающуюся Землю в центр космоса, а все другие небесные тела полагают движущимися вокруг нее. Но идея о центральном положении Земли не становится парадигмальной. Ведь главное по-прежнему – гармония космоса и совершенство круговых движений. Идея круговых движений стала настолько убедительной, что до XVII в. не оспаривалась. Главное для античного космолога, не нарушив гармонии космоса и не погрешив против совершенных круговых движений, расположить планеты и светила так, чтобы объяснялись и иррегулярности в движении светил, и петли звезд, и изменения в блеске планет и другие феномены. Поэтому в модели Евдокса 27 равномерно вращающихся вокруг Земли сфер, в модели Каллиппа их уже 34, а у Аристотеля – 56, что позволяло полнее учесть новые данные. В модели Гераклида Понтийского Земля вращается вокруг собственной оси, а Марс и Венера – вокруг Солнца, которое, в свою очередь, совершает годовые обороты вокруг Земли. Гелиоцентрическая система Аристарха Самосского также вполне соответствовала парадигме гармоничного космоса и идеальных круговых движений. Ей соответствовала и геоцентрическая система Птолемея, жившего полтысячелетием позже. В принципе не противоречила ей и гелиоцентрическая система Коперника, с учетом идеи конечности мира и особенно господствовавшей в позднем средневековье идеи воображаемых допущений, не предполагавшей онтологический характер его модели. Система мира Коперника становится парадигмой позже, когда Дж. Бруно приписывает ей онтологический статус, а Галилей обнаруживает исследовательские преимущества коперниканского видения мира.

Древнегреческая парадигма замкнутого мира, в которую вписывалась и идея локального социального пространства, и идея циклически повторяющегося, или вовсе статичного физического и социального времени, обусловила существование так называемой аристотелевской «науки», которая не является наукой в собственном смысле слова именно вследствие отсутствия научной парадигмы, функцию которой выполняли общекультурные парадигмы, например, парадигма космоса. Становление классической, галилеевской, науки было

предопределено научной революцией Нового времени, базировавшейся на парадигмальном представлении о линейном, однородном, непрерывном и бесконечном времени и бесконечном однородном пространстве, хотя истоки новой парадигмы вызревали еще в средневековье. В конце концов, именно это представление способствовало установлению парадигмы прогресса и единой истории. Здесь важно подчеркнуть, что вопреки представлениям Куна возникновение новой парадигмы далеко не всегда означает устранение прежней. Во многих сферах старые парадигмы сосуществуют с новыми, хотя нередко отодвигаются на обочину теоретической мысли или видоизменяются под воздействием новой парадигмы. Как бы там ни было, парадигмы могут существовать за пределами науки, а научные парадигмы представляют собой автономное научное образование, сложным опосредованным образом взаимодействующее с вненаучными парадигмами.

Таким образом, можно констатировать, что в гуманитарной сфере необходимо различать парадигмы трех уровней. Во-первых, культурно-поведенческие парадигмы, задающие определенные образцы культурной деятельности в ту или иную эпоху. Во-вторых, парадигмы осмысления культурной деятельности как создание соответствующих «миров» в литературе, искусстве, летописях и иных текстах. В-третьих, парадигмы гуманитарных наук как осмысление литературного мира в литературоведении или летописных источников в теоретической истории.

4.2. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ПАРАДИГМ

Т. Кун придал понятию парадигмы четко выраженный методологический характер, и оно одно время использовалось преимущественно в методологической литературе, причем посвященной в большей степени естествознанию. Однако даже в физике парадигма – это не только теории, методы и чисто научные стандарты, хотя они и являются определяющими, но и определенная картина мира, философские установки, мировоззренческие ценностные ориентиры и т. д. Уже это дает основания использовать понятие парадигмы за пределами естествознания и даже за пределами науки, например в теологии, которую, между прочим, порой зачисляют в разряд

гуманитарного знания. Скажем, томистская идея гармонии веры и разума и формула Тертуллиана «верую, ибо абсурдно» могут рассматриваться как две противоположные парадигмы. Повсеместное распространение термина «парадигма» обусловило многочисленные исследования парадигмальных феноменов и поставило вопрос о создании теории парадигмы¹.

В настоящее время понятие «парадигма» употребляется и в изначальном лингвистическом смысле как табличный образец, например, спряжения глагола, и в более широком смысле. Это и осознанный образец применения метода, и неосознанный механизм унификации в культуре как образец решения практических и интеллектуальных проблем, и модель поведения, транслируемая в нарративной форме в виде мифа или притчи, и просто некий способ рассуждения, и недостижимый образец, шедевр в искусстве, и некая служебная инструкция, и определенная мыслительная установка. Особенностью таких парадигм является сочетание формализованных, описанных правил деятельности и неформализованных, неосознанных или осознанных, но неписанных правил.

Термин «парадигма» оказался настолько удачным, что получил широкое применение не только в научной, но и в учебной, публицистической и даже художественной литературе, особенно с середины 70-х гг. XX в. и, прежде всего, в тех случаях, когда соответствующий текст претендовал на научность или хотя бы на профессиональную адекватность. Это понятие в различных вариациях используется в лингвистике, где языковой парадигмой считается система смыслов, обнаруживаемая в языковых единицах², в литературоведении, где парадигмой выступает структура художественного языка в конкретную эпоху, а «парадигмальные тексты» выполняют функцию культурной целостности³, в искусствоведении как культурная или стилевая парадигма, подразумевающая синхронное единство культуры или единый стиль в искусстве, которые определяют различные стороны

1 Севостьянова М. «Белые пятна» теории парадигм // Филос. пошуки. – Вип. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – С. 146–155.

2 Воробьёв В. В. Культурологическая парадигма русского языка: Теория описания языка и культуры во взаимодействии. – М.: Ин-т рус. языка им. А. С. Пушкина, 1994. – 162 с.; Руденко Д. И. Лингвофилософские парадигмы: границы языка и границы культуры // Философия языка: в границах и вне границ. – Х.: Око, 1993. – Т. 1. – С. 112–124.

3 Тынянов Ю. Н. Поэтика: История литературы: Кино. – М.: Наука, 1977. – 574 с.

социокультурной жизни¹, в истории и политологии как совокупность смысложизненных ориентиров в конкретную историческую эпоху², а в исторических исследованиях как набор философских подходов, ориентирующих историка³.

Очевидно, что термин «парадигма» здесь употребляется как минимум в двух смыслах. Во-первых, как реально существующая интересующая система образцов, идеалов и норм, направляющая деятельность социальных и профессиональных групп и индивидов. Ее можно называть культурной парадигмой. Во-вторых, как субъективная система образцов, идеалов и норм, определяющая индивидуальное исследовательское или художественное творчество, что допускает разделение на исследовательские, научные, парадигмы и парадигмы творчества, где тоже может наличествовать своеобразное исследование, отличное, впрочем, от научного. Приобретая сторонников, они становятся интересующими в рамках данного сообщества ученых, литераторов и пр. Она может как совпадать, так и не совпадать с интересующей. В этом смысле культурные парадигмы определяют поведение людей, например их бытовое приспособление к факту существования чинов и их приобретения, а также соответствующие оценки, например, почитание мундиров, чинов, государственных должностей и наград. В реальной жизни эти культурные парадигмы обычно не анализируются, не осмысливаются. Поэтому их нравственная оценка не составляет до поры, до времени проблемы, пока они не будут осмыслены в литературе или искусстве, которые создадут соответствующие парадигмы чиновничества или чиновничества. Их, в свою очередь, будут анализировать теория литературы или искусствознание сквозь собственные парадигмы.

Функционирование в культуре большого количества парадигм ставит вопрос об их сосуществовании, в т. ч. соизмеримости, взаимовлиянии, совместимости, преобладании, борьбе, вытеснении, дроблении, объединении и т. п. Сосуществование парадигм обуславливает

-
- 1 Вейдле В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: Политиздат, 1991. – С. 268–272.
 - 2 Неретина С. С. Смена исторических парадигм в СССР. 20–30-е годы // Наука и власть. – М.: Политиздат, 1990. – С. 154–186.
 - 3 Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология. – С. 56–70.

их разнообразное влияние, выходящее за пределы той области знания и деятельности, где парадигма сформировалась. Можно предположить наличие культурного механизма, переносящего парадигмы из одной сферы в другую. Иначе многие открытия выглядят как чудо. Так иногда чудесным описывают изобретение фотографии, которая получилась из якобы случайного совмещения знаний о химических реактивах со знанием камеры-обскура. Однако, как отмечает Р. Архейм, к такому совмещению человечество было готово столетиями раньше. Но фотография появилась тогда, когда она смогла стать помощником в развитии реалистической парадигмы в искусстве, привнеся характерное чисто механическое навязывание проективного образа физического мира¹.

Парадигмы можно различать по степени общности и, соответственно, преобладания, в зависимости, например, от характера интеллектуальной или практической деятельности. Общая мифологическая оценка древними греками упорядоченности мира, государства, семьи по существу являлась парадигмой космоса, установленного олимпийскими богами, которые победили титанов, олицетворявших хаос. Если представления древних о космосе являются проекцией человека на мир, то нельзя ли их считать первой гуманитарной парадигмой, с которой соотносились все представления о порядке, гармонии, красоте? Возможно, поэтому в Древней Греции техника (*techne*) была связана не только с ремесленным мастерством, но и с высоким искусством. И ремесленное, и художественное произведение считались продуктами *techne*. Здесь можно усмотреть влияние той же парадигмы космической гармонии, которое продолжается и в период Ренессанса, хотя средневековое христианство переставило многие акценты. Разумеется, это была не единственная парадигма культурной деятельности, но тяга к упорядоченной универсализации преобладала, несмотря на специализацию видов деятельности и умножение их образцов. В эпоху Возрождения изобретение в быту, в ремесле, в живописи были однопорядковыми феноменами. Лишь в Новое время преодолевается прежняя общекультурная парадигма. Философия, наука, искусство, техника обретают собственные ниши с собственными парадигмами. Рецидивы парадигмы «*techne*» проявляются до сих пор, когда мы термином «техника» характеризуем высокий уровень мастерства в искусстве, спорте и в иной творческой

1 Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М.: Прометей, 1994. – С. 145.

деятельности, но в меньшей степени там, где над творчеством преобладают стандарты. Специализация науки также вызвала к жизни разные специализированные научные парадигмы наряду с общими естественнонаучными. По-видимому, их можно классифицировать в соответствии с классификацией наук: и в естествознании, и в гуманитаристике. Пожалуй, только в классическом естествознании, основанном на жесткой рациональности, парадигмы не совместимы и вытесняют друг друга. Похоже, это не является общекультурной нормой, поскольку в других сферах науки и культуры парадигмы взаимодействуют иначе.

Таким образом, можно констатировать, что в культуре наличествует большое количество парадигм, различающихся и уровнем, и сферой функционирования, что ставит вопрос об их сосуществовании: соизмеримости, взаимовлиянии, совместимости, преобладании, борьбе, вытеснении, дроблении, объединении, – и обуславливает их разнообразное влияние, выходящее за пределы той области знания и деятельности, где парадигма сформировалась. Несовместимость парадигм, вытесняющих друг друга, характерна для классического естествознания, основанного на жестких канонах, и не является общекультурной нормой. Парадигмы, в основном, имеют собственные культурные и познавательные ниши.

4.3. ПАРАДИГМЫ В СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Понятие «парадигма», которое Т. Кун применил к анализу научной деятельности, широко используется для исследования языка, стилей в искусстве, мировоззренческих ориентиров и многих других культурных явлений, особенно в последние 30–40 лет. К числу интересных и мало исследованных феноменов культуры принадлежит смех, который часто, хотя, возможно, и не всегда, функционирует в определенных канонах, нормах, правилах. Им может быть приписан статус парадигмы, т. е. образца культурной деятельности и в смысле собственно феномена смеха как телесной, эмоциональной реакции человека, и в смысле продуцирования литературных произведений соответствующего жанра. Поэтому использование в одном смысловом ряду понятий «парадигма» и «смех» не должно вызывать удивления. Более того, использование понятия

«парадигма» применительно к смеху как культурному явлению позволяет, с одной стороны, лишний раз продемонстрировать эффективность понятия «парадигма», имеющего столь широкий диапазон, с другой – лучше объяснить целый ряд собственно «смеховых» явлений, но имеющих общекультурный смысл, например фактов взаимопонимания или, напротив, непонимания анекдотов, шуток и т. п., уместности или неуместности смеха, его разрешения или запрета, явных и скрытых норм и правил.

Применительно к социокультурным явлениям, подобным смеховым, термин «парадигма» употребляется как минимум в двух смыслах. Во-первых, как реально существующая intersубъективная система образцов, идеалов и норм, направляющая деятельность социальных и профессиональных групп и индивидов. Такая деятельность может включать разнообразные реакции людей, в т. ч. и смеховые. Такую разновидность культурной парадигмы можно назвать смеховой парадигмой. Во-вторых, как субъективная система образцов, идеалов и норм, определяющая индивидуальное поведение, а также исследовательское или художественное творчество. Она может как совпадать, так и не совпадать с intersубъективной. В этом смысле первые культурные парадигмы определяют поведение людей, например их бытовое приспособление к существующим смеховым канонам, а вторые – их смеховое творчество на повседневном или профессиональном уровне в русле соответствующей культурной парадигмы или вопреки ей.

Когда смеховое творчество осуществляется вопреки господствующей культурной парадигме, разрушая ее, это кажется естественным и привычным. Разрушительная сила смеха сразу бросается в глаза. «Смех нарушает существующие в жизни связи и значения. Смех показывает бессмысленность и нелепость существующих в социальном мире отношений: отношений причинно-следственных, отношений, осмысляющих существующие явления, отношений, определяющих условности человеческого поведения и жизни общества. Смех «оглуляет», «вскрывает», «разоблачает», «обнажает». Он как бы возвращает миру его изначальную хаотичность»¹. Неслучайно в закрытых обществах существует строгая цензура смеха: чтобы не нарушились сложившиеся отношения, не были бы разоблачены привычные,

1 Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. – Л: Наука, 1984. – С. 3.

важные значения. Например, анекдоты, шутки или остроты по поводу партийно-государственных деятелей Советского Союза, политики коммунистической партии, социалистических, коммунистических и других идеологических стереотипов граничили с уголовным преступлением. Чарли Чаплин, изображавший Гитлера в смешном виде, был врагом рейха. Напротив, английская королева-мать как типичный представитель «открытого», демократического общества с юмором говорила журналистом, что с удовольствием смотрит смешные кукольные миниатюры про себя и королевскую семью. В СССР же смешные миниатюры или шутки, исполняемые публично на эстраде или в телепередачах, подлежали жесткой цензуре. Оно и понятно: что несмешно – то серьезно, стабильно, разумно, жизнеспособно. В кинокомедиях смеяться можно было не над любыми руководителями, а лишь над недалекими чиновниками, случайно попавшими не на свое место. В культовой комедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь» главный осмеянный герой – всего лишь руководитель дома культуры, да и то «исполняющий обязанности». Когда же в фильме «Гараж» осмеянию подвергаются чиновники более высокого ранга, а в фильме «Забывтая мелодия для флейты» – очень высокого, это свидетельствует о реальном распаде социально-политической системы и соответственно о преобразовании культурных и смеховых парадигм.

Но пока тоталитарные режимы могучи и жизнеспособны, они загоняют смех над властью и политикой в подполье, где он продолжает существовать лишь в виде особого смехового жанра – политического анекдота. Такое сознательное и стихийное нормирование смеха было выражением устойчивых культурных, в т. ч. смеховых, парадигм.

В то же время, что менее заметно, смеху присуща и созидаящая сила. «Разрушая, он строит и нечто свое: мир нарушенных отношений, мир нелепостей, логически не оправданных соотношений, мир свободы от условностей, а потому в какой-то мере желанный и беспечный»¹. Благодаря этому, смех, с одной стороны, психологически успокаивает человека, облегчает ему жизнь, примиряет его с обстоятельствами, а с другой – зовет на борьбу с нелепым, неразумным миром ради созидания разумного мироустройства. Такой нелепый, смешной, неразумный мир чиновничества был создан Н. В. Гоголем в повести «Нос». Тем самым была заложена парадигма

1 Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. – С. 3.

осмеяния чиновничьего мира, в рамках которого успешно творили многие писатели, например А. П. Чехов¹.

Всякая парадигма имеет соответствующее сообщество ее носителей: научная парадигма – научное сообщество, теологическая – сообщество теологов, стилевая – приверженцев соответствующего стиля. Смеховая парадигма также имеет своих носителей. «Смех в своей сфере восстанавливает нарушенные в другой сфере контакты между людьми, так как смеющиеся – это своего рода «заговорщики», видящие и понимающие что-то такое, чего они не видели до этого или чего не видят другие»². «Смеховое» сообщество поддерживает соответствующие каноны, явные или неявные правила, нормы, традиции, временные, пространственные, социальные, юридические, нравственные, профессиональные и другие ограничения. «Смех зависит от среды, от взглядов и представлений, господствующих в этой среде, он требует единомышленников. Поэтому тип смеха, его характер меняются с трудом. Он традиционен, как традиционен фольклор, и так же инертен. Он стремится к шаблону в интерпретации мира. Тогда смех легче понимается, и тогда легче смеяться. Смеющиеся – это своего рода «заговорщики», знающие код смеха»³.

Смеховое сообщество тесно увязано на соответствующую парадигму. Так, в одних случаях оно достаточно устойчиво и состоит из специальных служителей смеховой парадигмы. В прошлые времена это шуты, скоморохи, балагуры, дураки, юродивые и др., которым было позволено быть смешными, смеяться или смешить. В настоящее время это писатели-юмористы, пародисты, члены клуба веселых и находчивых, цирковые клоуны и другие представители довольно многообразного смехового жанра, ограниченные нормами своего «цеха». В других случаях смеховое сообщество как носитель соответствующей смеховой парадигмы включает чуть ли не всех представителей страны, конфессии, культуры, но ограничено уже во времени, скажем, днем дурака, вечером юмора и т. п. Примером могут служить также карнавалы, скоморошеские праздники и др. «На протяжении всего года были рассеяны островки времени, ограниченные

1 Афанасьев А. И. Гоголевский «Нос» и гоголевская парадигма // ДООА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 10. Стратегії інтерпретації тексту: методи і межі їх застосування. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2006. – С.120–127.

2 Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. – С. 3.

3 Там же. – С. 7.

строгими праздничными датами, когда миру разрешалось выходить из официальной колеи»¹. Западная католическая традиция карнавала основана на том, что смеяться разрешено в определенное время, с такого-то по такое-то число. Православная традиция аналогичным образом разрешала Святки, Масленую неделю перед Великим постом, ночь на Ивана Купала. В том, что русское православие даже в разрешенные дни не поощряло смех, проявляется своеобразное парадигмальное отношение к смеху, ставящее его на одну доску с грехом. Народная мудрость зафиксировала это в пословицах: «где смех, там и грех», «мал смех, да велик грех», «навели на грех, да и покинули на смех», «и смех, и грех», «и смех наводит на грех». То же самое у А. С. Пушкина в «Золотом петушке»: «А девица хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не бойся, знать, греха». «За этим стоит нечто более глубокое, более спонтанное и более национальное, чем какая бы то ни было аскетическая программа особого круга святых или святош»².

Основополагающим, конституирующим принципом смеховой парадигмы, которая вписана в более широкую культурную парадигму, является принцип вычленения смешного, комического. Он определяет объекты смеха, так сказать, эмпирическую смеховую базу. Это то, что является смешным не всегда и не везде, а только в соответствии с данным принципом, что часто увязано на культурные, социальные, даже индивидуальные проявления смешного. Как правило, действует этот принцип неявно, а явно – более или менее удачно – определяется философами, литераторами и другими выразителями, как говорят, «своего времени». Для Аристотеля, например, комическим являются черты физической и духовной неполноценности, такие, как безобразие, физические уродства или же моральное зло, не приносящее, однако, значительного вреда и не вызывающее страданий. Чувство смешного вытекает, по мнению Гоббса, из внезапно возникающего чувства превосходства и удовлетворения, которое происходит от неожиданного осознания своих преимуществ перед кем-либо, кто вел себя неподобающим образом. Многие исследователи, обобщая формулировки комического, сводят его к отклонению от нормы, стандарта, стереотипа, общепринятых ценностей.

1 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – С. 104.

2 Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: сб. в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. – М: Рос. ун-т, 1993. – С. 341–345.

Действительно, человек обычно смеется лишь над тем, что выходит за рамки обыденного, обычного, иными словами, над тем, что он видит как необычное, странное, абсурдное. Комическое – это саморазоблачение явлений и людей, обнаружение их такого ценностного значения, которое оказывается ничтожностью, антиценностью, т. е. когда нечто возвышенное и серьезное низводится до степени низкого и ничтожного. Умение сделать возвышенное низким, обычное абсурдным, нормальное аномальным означает деятельность в рамках смеховой парадигмы. Конкретные же ее характеристики зависят от нравственных, эстетических, юридических, политических и других парадигмально-культурных факторов.

Культурная и смеховая парадигмы разрешают многообразные, но не бесконечно разнообразные схемы, способы, методы создания смеховых текстов, например виды нарратива, построенные по типу прогресса, регресса, стабильности. Так, судьбы всех комических героев «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» И. Ильфа и Е. Петрова выстроены в целом по типу регрессивного нарратива. Даже отдельные «прогрессивные» взлеты, например, когда Остап Бендер все-таки «вычислил» стул с сокровищами или наконец-то добыл миллион, только подчеркивают неизбежность фиаско. Этот прием призван был продемонстрировать прогресс советского общества и торжество новых идеалов. Форму прогрессивного нарратива, несмотря на все перипетии, имеет судьба главных героев культовой кинокомедии Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в отличие от регрессивной судьбы Ипполита, что должно было означать: любовь вычислить нельзя, брак по расчету не наш идеал, а ревность – пережиток прошлого. По типу стабильного нарратива выстроены многие рассказы С. Довлатова, хотя его проза не юмористические рассказы, но насмешливая улыбка повествователя с уст не сходит, о чем бы ни шла речь. В его произведениях, несмотря на обилие событий, одновременно и смешных, и грустных, по сути, ничего не происходит: мир как был абсурдным, таким и остался, и в этом его норма.

Смеховая парадигма создает смысловое поле смеха, позволяющее понять шутку, анекдот. Поскольку понимание всегда субъективно, ибо определяется индивидуальным полем смыслов, не вполне совпадающим с общим смысловым полем, возможна множественность и даже альтернативность пониманий как следствие осмысления объекта смеха различным образом, в частности, в различных

социокультурных традициях, нравственных нормах, идеологических клише и вообще парадигмах. Одно и то же явление может быть очень смешным в одной парадигме и не быть таковым – в другой. Нынешние читатели очень удивляются, когда узнают, что современники Пушкина весело смеялись над его фразой в «Евгении Онегине»: «На кляче тощей и косматой сидит фореитор бородатый»¹, и приходится долго растолковывать, что же здесь смешного, кто такой фореитор и почему он был бородатым, хотя таковым быть не должен. Фореитором был обычно мальчик. Но Ларины собрались в Москву срочно, готовить нового фореитора не было времени, обошлись прежним, который служил еще фореитором у молодой тогда матери Татьяны. Теперь, естественно, это уже взрослый бородатый мужик, который смешно смотрелся на фореиторском месте. В различных социальных группах или разных социально-исторических условиях также имеют место соответствующие парадигмы. Они определяют неодинаковые смеховые реакции на объект смеха, а порой выявляются различные, в т. ч. несмешные, уровни понимания смешной ситуации. Примером может служить типичный юмористический образ нэпмана в советской литературе – владельца одесской бубличной артели «Московские баранки» в городе Черноморске гражданина Кислярского, созданный И. Ильфом и Е. Петровым в «Двенадцати стульях». Однако при современном прочтении за смешным образом Кислярского открывается весьма грустная с цивилизованной точки зрения вещь: полная незащитность крупного социального слоя нэпманов, свидетельством чего является знаменитая универсальная «допровская корзинка» Кислярского. Она служила ему и кроватью, и столом, и шкафом и была необходима в первую очередь в допре (тюрьме), куда нэпман мог попасть в любую минуту².

В отличие от научных парадигм, сменяющих одна другую, различные культурные парадигмы могут существовать одновременно, в т. ч. чуждые друг другу или не вполне совпадающие по культурным нормам, традициям, различному общекультурному уровню социальных групп или индивидов. Известно, например, что человек с более высоким культурным уровнем больше смеется над словом, чем действием, при низкой культуре – наоборот. Некоторые исследователи

1 Пушкин А. С.: Соч. в 3 т. – Т. 2. – С. 305.

2 Ильф И. А., Петров Е. П. Двенадцать стульев: Золотой теленок. – К.: Радянський письменник, 1957. – С. 214–217.

обнаруживают корреляцию между объектом смеха и культурой данного народа, обращая внимание на то, что, например, американцы много смеются над падающим, спотыкающимся или вообще попадающим в неловкую ситуацию человеком. Поэтому в отличие от научной парадигмы смеховая парадигма не имеет такой всеобщности и «образцовости». Можно выделять парадигмы различных исторических периодов, социальных групп, индивидуальные различия внутри той или иной парадигмы. «Каждая эпоха и каждый народ обладают особым, специфическим для них чувством юмора и комического, которые иногда непонятны и недоступны для других эпох»¹.

Таким образом, можно констатировать, что смеховые парадигмы являются разновидностью культурно-поведенческих парадигм. В отличие от соперничающих научных парадигм различные смеховые парадигмы могут существовать одновременно, специфически вписываясь в другие культурные парадигмы. Понятие «смеховая парадигма» позволяет лучше объяснить целый ряд собственно «смеховых» явлений, например, исходные принципы вычленения смешных объектов, схемы организации смехопорождающих текстов, факты взаимопонимания или, напротив, непонимания анекдотов, шуток и т. п., феномены уместности или неуместности смеха, его разрешения или запрета, явных и скрытых норм и правил. По-видимому, аналогично функционируют другие культурно-поведенческие парадигмы.

4.4. ПАРАДИГМЫ В ЛИТЕРАТУРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Парадигма нередко рассматривается как субъективная система образцов, идеалов и норм, определяющая индивидуальное исследовательское и художественное творчество. Она может как совпадать, так и не совпадать с интерсубъективной парадигмой. Существенно, что подобные парадигмы не только влияют на творчество других деятелей литературы и искусства, не только определяют особое видение описываемой реальности, но нередко создают эту реальность как совокупность смыслов, проблем, не существовавших до того и определяющих соответствующие модели осмысления, анализа,

1 Пропт В. Я. Проблемы комизма и смеха. – М.: Лабиринт, 2007. – С. 28.

преобразования действительности. Небезынтересна в этой связи гоголевская парадигма, определявшая особое видение Н. Гоголем социальной реальности того времени, особенно в повести «Нос». Можно даже утверждать, что эта гоголевская парадигма создала особую реальность чиновничьего мира со специфическими социально-сословными и общечеловеческими нравственными проблемами, увидеть, рационализировать, отрефлексировать которые можно было только сквозь эту парадигму. Специфическую реальность чиновничьего мира продолжали исследовать другие писатели, например, А. П. Чехов. Ему уже можно было не изощряться с изобретением особых фантастических пространств, чтобы соединить персонажи с реальностью, поскольку существовала гоголевская парадигма и его парадигмальные тексты вроде повести «Нос», сотворившие особый мир чиновников, их отношений, поступков, их специфического языка и мыслей, особенно их отношения к должностям и чинам.

Если рассмотреть российскую действительность XVIII–XIX вв., то отношение к чинам в реальной жизни было вполне положительным. Культурная парадигма направляла приспособительную деятельность людей к вводимым государством чинам, должностям, табелям о рангах с их колоссальными карьерными, материальными и другими возможностями. В этом контексте стремление к чинам было нормальным явлением и не подвергалось моральному осуждению. Поэтому Пушкин без всякого осуждения описывает в «Капитанской дочке» устами Петра Гринева становление офицера, обычное для того времени, но совершенно фантастическое для современного человека: «Матушка была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом... Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти нежившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук»¹.

Погоня за чинами и должностями перестала одобряться лишь позже, уже новым поколением высоконравственных европейски образованных людей, носителями новой культурной парадигмы, да и то при крайне омерзительном проявлении чиновничества. Такой контекст встречаем в комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Фамусов и Чацкий как представители разных поколений, точнее культурных сообществ как носителей разных парадигм по-разному оценивают

1 Пушкин А. С. Капитанская дочка: соч. в 3 т. – Т. 3. Проза. – С. 232.

поступок фамусовского дядюшки. Тот нечаянно остушился и упал, больно ударившись затылком, во время торжественного приема во дворце, чем вызвал «высочайшую» улыбку, после чего упал уже специально два раза подряд, чем весьма потешил «государыню Екатерину». Вельможа попал в фавору и занял высокий и доходный пост. Фамусов одобряет это шутство: «А? Как по вашему? По нашему смышлен!»¹. Чацкий его осуждает, но лишь в весьма общей форме:

«Но между тем, кого охота заберет,
Хоть в раболепстве самом пылком,
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?»

причем с оговорками, что не имеет в виду дядюшку, уважаемого Максима Петровича². Иными словами, Грибоедов не видел большой социальной опасности и острого нравственного трагизма чиновничества и чиновочитания. Поэтому здесь у него поставлены другие проблемы, в частности, проблема борьбы старого и нового, конфликта поколений и особенно стремления к почестям помимо заслуг. Молчалин осуждается скорее именно за такое стремление «и награжденья брать и весело пожить»³, чем за чиновничество, которое легко может сойти за вежливость. К тому же новая культурная парадигма не столь революционна как научная или литературно-исследовательская, но ее индивидуальное осмысление, выраженное в субъективной системе идеалов и норм, может носить иной характер. Поэтому Фамусов, испугавшись даже небольшой новизны, назвал Чацкого революционером, «карбонари»⁴.

Совершенно иной контекст мы встречаем в гоголевской повести «Нос». Причем в ней речь не идет об аморальных поступках в погоне за чинами. Исключение составляет лишь намек самого автора, точнее повествователя, нарратора: «Ковалев был кавказский коллежский асессор»⁵. Современникам было известно, что приобретение этого чина на Кавказе в то время существенно упрощалось благодаря продажности местных властей. Но это было как бы в другой жизни, а в пространстве самого повествования, живя в Петербурге,

1 Грибоедов А. С. Горе от ума. – М.: Детская лит., 1967. – С. 32.

2 Там же. – С. 32–33.

3 Там же. – С. 67.

4 Там же. – С. 33.

5 Гоголь Н. В. Проза: Статьи. – М.: Сов. Россия, 1977. – С. 242.

майор Ковалев не совершает ничего предосудительного. Более того, он даже вызывает сочувствие, когда пропажа носа доставляет ему столько хлопот и особенно тогда, когда его собственный нос, облеченный в мундир статского советника, т. е. генерала, что несколькими рангами выше коллежского асессора, т. е. майора, холодно-вежливо и высокомерно разговаривает с Ковалевым. Шуточная ситуация, в которой нос имеет лицо, бежит по лестнице, ходит сторбившись, носит генеральский мундир, шитый золотом, набожно молится в соборе, ездит с визитами¹, кажется фантастической не персонажам повести, а лишь читателю, да и то повествователь в конце прозрачно намекает ему, что это шутка². Но второй план повествования, бытовой, повседневный настолько пропитан особым бюрократическим духом, где господствует чиновничество и чиновничество, что не вызывает никакого удивления робкое, подчеркнуто вежливое, обращение Ковалева к носу, одетому в генеральский мундир³. Бытовая правда извращенных бюрократических отношений в чиновничьем мире, многим казавшихся нормой, вытесняет фантастичность ситуации с отдельно живущим носом. Гоголь демонстрирует, что нелепость чиновничества и чиновничества и вообще нелепость норм чиновничьего мира не менее нелепа, чем самостоятельно действующий нос. В этом Гоголь усматривает социальную трагедию и большую нравственную проблему, хотя таких слов не употребляет, а художественными средствами, в частности, переплетением повседневного и фантастического миров, акцентами на унижительность ситуаций, представленных как естественные, вызывает соответствующие чувства у читателя и направляя его к соответствующей рефлексии.

Параллелизм бытового и фантастического пространств, как отмечали исследователи⁴, повсеместно присутствует в прозе Гоголя, а в повести «Нос» особенно. «Нос сразу входит в два типа пространства – бытовое, которое в этой оппозиционной паре воспринимается как реальное, и другое – мнимое, фиктивное, в котором и все предметы становятся фиктивными, ибо наделяются заведомо

1 Гоголь Н. В. Проза: Статьи. – С. 243–245.

2 Там же. – С. 261–262.

3 Там же. – С. 244.

4 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М.: Просвещение, 1988. – С. 282–284.

не совместимыми свойствами»¹. Этот пространственный параллелизм, как и параллелизм естественности и унижительность, уважения к чину и чиноугодничества, выступает в «Носе» той гоголевской исследовательской и творческой парадигмой, которая позволяет ему создать нравственную проблему чинопочитания и чиноугодничества. Факт чинопочитания и чиноугодничества был известен до Гоголя. Проблемой он стал благодаря ему. В этом суть любой новой исследовательской парадигмы, как естественнонаучной, так и гуманитарной, несмотря на их существенные различия: новая парадигма позволяет поставить новые проблемы, создав тем самым новую исследовательскую реальность. Гуманитарная исследовательская парадигма позволяет подвергнуть рефлексии обыденное, придать ему иной смысл, проблематизировать ситуацию, без чего невозможно ее изменение к лучшему.

А. Чехову, чтобы показать низость нравственных отношений в борьбе за чины и должности или унижительность чиноугодничества и безнравственность чинопочитания, достаточно было просто войти в созданный гоголевской парадигмой «чиновничий дискурс», например, в рассказах «Альбом», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий» и особенно в рассказе «Торжество победителя» с характерным подзаголовком: «Рассказ отставного коллежского регистратора». Каких только унижений ни терпели в этом мире чиновники от своих руководителей ради сохранения или получения даже ничтожной должности. У себя на званом обеде начальник мог дать самые нелепые приказания, и надо было исполнять, утешая: «Козулин ткнул пальцем в сторону папаши.

– Бегай вокруг стола и пой петушком!

Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменял вокруг стола. Я за ним.

– Ку-ку-реку! – заголосили мы оба и побежали быстрее.

Я бегал и думал: «Быть мне помощником письмоводителя!»².

Чеховский реализм состоит не в том, что описанное произошло в действительности или могло произойти, а в том, что он вводил

1 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – С. 283.

2 Чехов А. П. Торжество победителя: Рассказ отставного коллежского регистратора / А. П. Чехов // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1974–1982. – Т. 2. Рассказы. Юморески, 1883–1884. – М.: Наука, 1975. – С. 71.

читателя в уже созданный Гоголем и ставший интересубъективным мир нравственных проблем, от решения которых во многом зависела судьба человечества.

Не всегда современники, даже самые талантливые и прозорливые, в состоянии оценить подобную проблемность. Например, А. С. Пушкин не видел серьезности и трагичности нравственной проблемы, поставленной в «Носе». Для него гоголевская повесть была веселой, остроумной шуткой. Именно так он и писал в примечаниях по поводу публикации «Носа» в «Современнике». «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием, которое доставила нам его рукопись»¹.

Благодаря указанной проблеме гоголевский текст «Носа» стал парадигмальным текстом, элементом новой интересубъективной культурно-литературной парадигмы, выполняющей особую функцию: не нравственно-очищающую, возвышающую, как в «Шинели», а нравственно-высмеивающую, язвительную, изъязвляющую. Не потому ли многие писатели могли бы сказать, что они вышли из гоголевской «Шинели», но кто бы сказал, что вышел из гоголевского «Носа»?

Понятие «парадигма» применительно к интерпретации гоголевской повести «Нос» помогает увидеть новые аспекты ее содержания и культурного влияния как парадигмального текста, определившего совокупность новых проблем, вставших перед литературой. В частности, реальность нелепого мира чиновничества была не столько обнаружена и отображена писателем, сколько создана им с помощью особой гоголевской парадигмы, позволившей в обычных людях, естественных обстоятельствах, привычных отношениях увидеть нелепость, бесчеловечность, нравственную деградацию. По-видимому, аналогичный механизм действует в других вненаучных исследованиях, например в литературной критике или в искусстве.

Употребление понятия «парадигма» не только в теоретико-методологическом или культурно-поведенческом, но и в литературном исследовательско-творческом контексте актуализируется потребностью преодолеть метафоричность терминологии,

1 Гоголь Н. В. Проза: Статьи. – С. 376–377.

рационализировать ту духовную реальность, которая выступает в полурациональном, поэтическом виде вроде «духа эпохи», «духа времени», «культурного или литературного климата», «воздуха, где витают эпохальные идеи», и т. д. Введение в данный контекст понятия парадигмы позволит рассматривать последнее не только как феномен объективной и интересубъективной социокультурной реальности, но и как концепт, дающий лучшее понимание исследуемой в литературе реальности.

Таким образом, можно констатировать, что литературное исследовательское творчество основывается на определенных парадигмах, задающих механизм создания литературного мира и постановки соответствующих проблем в нем, что затем проецируется читателем на внелитературную реальность. Гоголевская повесть «Нос» является парадигмальным текстом, создавшим особый мир нелепого, бесчеловечного, нравственно деградирующего чиновничества, определившим совокупность новых проблем, вставших перед литературой.

4.5. ПАРАДИГМЫ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

Естественные и гуманитарные науки лежат в разных плоскостях, которые пересекаются лишь частично. В одной плоскости с естественными науками находятся искусство, литература, религия, поскольку все это формы осмысления мира и человека в этом мире. А гуманитарные науки есть формы осмысления этого осмысления, поэтому их иногда называют рефлексивными науками. Впрочем, это не вполне точно, поскольку любое научное знание рефлексивно. Как бы там ни было, но непосредственного выхода в реальный мир гуманитарные науки не имеют, видя его опосредованно. Даже человека они изучают не как данность, а как его отражение или выражение в духовных феноменах, скажем, текстах, культурных нормах и т. д. Если же считать, что естествознание также не выходит в реальный мир, поскольку имеет дело не с реальными объектами, а с их конструктами, о чем часто заявляют исследователи неклассической и постнеклассической науки, то тогда гуманитарные науки имеют дело с конструктами конструктов, т. е. все равно располагаются «этажом выше» естествознания. Следовательно, сравнивать

гуманитарные и естественные науки, как и их парадигмы, следует с учетом указанной «разноэтажности».

На разных этажах расположены и разные разделы гуманитаристики, например, литературная деятельность и науки о ней. Вообще в гуманитаристике осмысливается культурно-поведенческая деятельность, в т. ч. со своими культурно-поведенческими парадигмами. В гуманитаристике как совокупности знания – теоретического и обыденного, научного и вненаучного, отражающего, осмысляющего и творящего человеческий мир – различаются, как отмечалось выше, парадигмы двух уровней: во-первых, парадигмы самой творческой деятельности в искусстве, литературе и вообще в культуре, которые иногда называют гуманитарными парадигмами, а точнее их стоило бы назвать парадигмами гуманитаристики и, во-вторых, парадигмы исследовательской деятельности об этом мире культуры, т. е. парадигмы гуманитарных наук. Из-за этого, в частности, могут не совпадать по смыслу и назначению парадигмы гуманитаристики и парадигмы гуманитарных наук.

Специфика гуманитарного знания иногда служит основанием для отрицания парадигм в некоторых гуманитарных науках, например в исторических. «Их особенность в том, что они плохо поддаются теоретизации. Некоторые авторы полагают, что задача построения теории в них вообще не решаема вследствие их многофакторности, гибридности, нелинейности. Для них нужны факты, опыт, интуиция, воображение, но не парадигмы... Причем это не недостаток, а онтологическое свойство этих наук»¹.

Однако, как было показано, гуманитарные, в т. ч. исторические, науки не только теоретичны, но включают в себя два типа теорий. Первые сопоставимы с естественнонаучными, поскольку ориентируются на идеалы и нормы классической науки. Вторые отличны от них. В любом случае вся работа в исторических науках не сводится к эмпирии, хотя эмпирический материал там занимает ведущее место, что предопределяет особые принципы, методы исследования, особые требования, оценки и т. д. Эту особенность не следует переносить на все гуманитарные науки, многие из которых имеют не только развитый теоретический уровень, но и развитые теории, явный, ярко выраженный классический парадигмальный характер

1 Фролов В. Т. О науке геологии: Ст. 2. Геологические теории // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 4. Геология. – 2001. – № 1. – С. 8.

исследования и подобные черты естественнонаучного знания. Даже в подходах второго типа, где преобладают нестрогие теории с жесткими требованиями к методу, не обойтись без парадигм, в т. ч. в исторических науках. Следует лишь учесть, что, во-первых, парадигмы не сводятся только к теориям, а включают в себя ценностные компоненты, которые в гуманитарных науках могут преобладать, во-вторых, парадигмами, особенно в случае качественных теорий, например в исторических науках, часто выступают философские, религиозные, психологические, социальные и иные концепции. Например, после возникновения марксизма главным в исторических дисциплинах стало изучение социальной и экономической истории, в то время как до середины XIX в. историки изучали в основном политическую, событийную сторону истории. Марксистская парадигма так повлияла на смену ведущих тем исследования, что к концу XX в. в историческом знании безличные силы и процессы вытеснили реального участника и творца истории – человека. Парадигмальным требованием было изучение либо общественного бытия и масс, например классов, либо мыслителей, героев, выдающихся личностей. Причем, марксисты занимались преимущественно социально-экономической историей и историей классовой борьбы, а немарксисты изучали коллективное сознание и ментальные установки¹. Современная парадигма исторического познания требует, чтобы «вся область человеческих настроений, верований, убеждений, ценностей, нравственных суждений была включена в структуру исторических объяснений... Поэтому своеобразной установкой, а не красочным дополнением является социально-историческая психология»².

Многие исследователи истории самых разных направлений осознали не только парадигмальность исторической науки, но и специфику исторических и других парадигм гуманитарной сферы. «Мы уже не чувствуем своим долгом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуальную модель, заимствованную из наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может быть применен вполне. Мы еще не слишком хорошо знаем, чем станут в будущем науки о человеке. Но мы знаем: для того чтобы существовать – продолжая, конечно, подчиняться основным законам

1 Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология. – С. 62.

2 Там же. – С. 63–64.

разума, — им не придется отказываться от своей оригинальности или ее стыдиться»¹

Рассматривая естественнонаучные парадигмы, легко заметить, как они определяют индивидуальное творчество ученых. Примерами могут служить парадигмы классической механики, квантовой механики и др. Неслучайно парадигмы связывают с соответствующими научными сообществами, группирующимися вокруг определенных парадигм. Поэтому, даже зная имена основоположников, мы не рискуем назвать их парадигмы индивидуальными. Ньютоновская или птолемеевская парадигмы не предполагают, что их разрабатывали и ими пользовались исключительно Ньютон и Птолемей. В искусстве и литературе, как и в науках о них, дело обстоит так же и в то же время иначе. С одной стороны, там тоже обнаруживаются школы и направления, группирующиеся вокруг основных идей, методов, лидеров. Здесь напрашивается аналогия с естественнонаучными парадигмами и научными сообществами. Можно упомянуть немецких романтиков, парадигма которых предполагала, что в сознании художника рационально оформленная идея реализуется в соответствующем поэтическом или живописном образе. Показательным является деятельность русских символистов, у которых при всем их своеобразии, отсутствии единого стиля и единой концепции все же четко просматривается общее парадигмальное основание творчества — стремление выразаться аллегориями и символами: «Мысль изреченная есть ложь». Но, с другой стороны, огромное значение приобретают индивидуальные парадигмы, которые не всегда четко фиксируются самими их носителями, а тем более читателями или зрителями. Обнаружение подобных парадигм учеными-гуманитариями сродни естественнонаучному открытию. Ю. Лотман показывает, как выработанная А. С. Пушкиным парадигма историкокультурного процесса определяла его творческие замыслы и их воплощение в стихах и прозе². При этом сам Лотман принадлежал к Тартуско-московской семиотической школе как научному сообществу со своей исследовательской парадигмой. Существенно, однако, что и парадигмы творческой работы литераторов, так и парадигмы

1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. — М.: Наука, 1986. — 256 с., с.14

2 Лотман Ю. М. Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи/Ю. М. Лотман // Пушкин: Ст. и исслед. — СПб.: Искусство-СПБ, 1999. — С. 293–299.

ученых, исследователей их творчества не являются столь общезначимыми, как в естествознании.

В гуманитарном познании нередко приходится иметь дело с парадигмой в парадигме, своеобразной парадигмой-матрешкой. Действительно, деятельность людей основывается на некоторой парадигме. Объяснение, даваемое исследователями-современниками или летописцами, основывается на другой парадигме, определяющей их понимание событий своего времени, в частности, поведенческой или творческой парадигмы. Исследователь более позднего периода, исходя из парадигмы своего времени, должен учитывать обе предыдущие парадигмы, встраивая их, как матрешки, в свое объяснение. Игнорирование этой особенности приводит к серьезным ошибкам и искажениям, особенно в историческом познании, например, когда поведению людей прошлого приписываются мысли и чувства, свойственные не им, а современным людям. Последнее часто имеет место в исторических романах и кинофильмах, но встречается и в научных текстах.

Парадигмы, работающие в различных сферах гуманитарного творчества – философии, литературе, искусстве, а также в гуманитарных науках – социологии, культурологии, истории, литературоведении – так или иначе воспроизводят специфику своих сфер. Во-первых, они задевают не только научные, но и сословные, классовые, национальные интересы, что обеспечивает государственную, идеологическую или иную поддержку соответствующих парадигм. Во-вторых, гуманитарные науки намного более разнородны по множеству признаков по сравнению с естествознанием, что обуславливает наличие множества парадигм. В-третьих, принципиально невозможно в одной теории охватить все разнообразие культурной жизни, поэтому парадигма, в рамках которой изучается культурная деятельность, не может быть одна. В-четвертых, гуманитарные теории, особенно с качественными подходами, не так логически строги, как естественнонаучные, и часто включают в себя не просто философские идеи или философское обоснование, а конкретные философские концепции, как, например, марксизм в исторических или экономических теориях или фрейдизм в литературоведении, т. е. философский компонент выступает не просто предпосылочным знанием, как в естествознании, но часто является содержательным, а то и определяющим все теоретическое построение. Как отмечалось

выше, так строятся многие литературоведческие теории. В исторических науках парадигмально-теоретическую роль выполняют различные концепции философии истории. В-пятых, объект гуманитарного, в особенности социогуманитарного, знания довольно быстро меняется, и смена теорий и, соответственно, парадигм должна поспевать за ним. В-шестых, исследовательская деятельность в гуманитаристике часто ориентируется в первую очередь на оригинальность, непохожесть, а не просто на новизну как обычное научное знание, на обнаружение таких «белых пятен», которые подсказывает не «работающая», известная, теория, а новая идея, взятая нередко из иной дисциплины, чаще всего из философии. Поэтому установка на творческую оригинальность порой преобладает над фундаментальностью разработки конкретного вопроса. Напротив, исследовательская деятельность в естествознании чаще всего ориентируется, особенно, в период «нормальной науки», на образцы успешного решения проблем, и сами проблемы обычно обнаруживаются и формулируются в рамках соответствующих парадигм. Поэтому из теории, выступающей парадигмой, стараются «выжать» все возможное, а иные, оригинальные подходы не приветствуются, ибо выглядят поспешными, поверхностными или не вполне «грамотными». Этот фактор создает впечатление большей основательности, фундаментальности работы ученого-естественника. Такой фундаментальностью отличались физики Л. И. Мандельштам, Л. Д. Ландау, И. Е. Тамм¹, Э. Ферми, который, обладая и оригинальностью, и чутьем нового, весьма критично относился к стремлению некоторых физиков найти нечто сверхновое, не исчерпав всех возможностей в рамках существующих представлений. Именно его фундаментальность требовала взять от теории максимум, прежде чем перейти к новой².

Если ядро парадигмы выступают гуманитарные теории первого типа, то такие парадигмы работают аналогично естественнонаучным. Теории второго типа ответственны за специфические особенности соответствующих парадигм гуманитаристики:

- в то время как естественнонаучную или аналогичную гуманитарную парадигму определяет господствующая теория,

1 Гинзбург В. Л. Новые физические законы в астрономии // Вопр. философии. – 1972. – № 11. – С. 19.

2 Понтекорво Б. М., Покровский В. Н. Энрико Ферми в воспоминаниях учеников и друзей. – М.: Наука, 1972. – С. 43.

парадигму гуманитаристики определяет некоторая философская концепция;

- в то время как в естественнонаучной парадигме ценностные установки определяются неявными требованиями к данному виду научной деятельности, в парадигмах гуманитаристики они чаще всего являются определяющими, явными, подчеркивающими особость гуманитаристики;
- в то время как естественнонаучная парадигма объединяет научное сообщество, нередко даже специалистов разных дисциплин, парадигмы гуманитаристики скорее разделяют его на два и более сообществ даже в рамках одной дисциплины;
- в то время как естественнонаучная парадигма продуцирует образцы успешного решения проблем и формулирует сами проблемы, парадигма гуманитаристики скорее провоцирует проблемы, требующие иных парадигм.

По-видимому, можно констатировать, что структурное и функциональное своеобразие парадигм гуманитаристики свидетельствует о непрекращающемся процессе становления гуманитарных наук.

Смену парадигм в естествознании часто ассоциируют с прогрессом в научных исследованиях: более поздняя парадигма якобы является более совершенной. В качестве примера приводят обычно релятивистскую механику, обладающую лучшими объяснительными возможностями по сравнению с ньютоновской парадигмой. Тем самым пытаются спасти идею единства мира и, соответственно, науки, в частности, в смысле совместимости законов макро- и микромира. По-видимому, это лишь дань классическому образцу естествознания. Постнеклассическая наука допускает сосуществование различных миров и соответствующих парадигм, а тем более применение последних в различных познавательных ситуациях. Недалек от истины был П. Фейерабенд, показывавший, что эволюция науки связана с умножением альтернативных теорий. Другое дело, что регресс в бесконечность такого умножения ставит под сомнение само существование науки. Поэтому прогресс, как в практической, так и в познавательной деятельности, следует усматривать скорее в некотором увеличении разнообразия парадигм, определяемом соответствующими научными задачами, которые небесконечны, но не в обязательном вытеснении лучшими худших, хотя и это не исключается. Кроме того, смена гуманитарных парадигм не всегда означает прогресс в познании. Она может быть

реакцией на изменение социально-культурного мира. Поэтому более поздние парадигмы необязательно оказываются лучшими, т. к., давая эффект понимания новых условий, могут не объяснять прежние исторические периоды. В таком случае принцип соответствия вряд ли спасает ситуацию, скорее срабатывает принцип дополнительности. Объяснительные установки или модели, работающие в одни исторические периоды, нельзя автоматически переносить на другие. Например, понимание объекта собственности как способа извлечения прибыли и роста благосостояния, характерное для Европы XIX в., не подходит для античности или средневековья. В этом плане является совершенно неверным критическое отношение к древним, закапывавшим сокровища в землю или топившим их в болоте, вместо того чтобы пустить их «в дело». Ведь тогда личная вещь как бы несла частицу своего хозяина, его достоинства и недостатки. Сокровища нередко закапывали не столько «на потом», сколько для того, чтобы вместе с ними не достались другим качества их обладателя. Описанная в русской литературе расточительная жизнь дворян, осуждаемая в рамках предпринимательской парадигмы, была способом дворянского существования, вытекающим из дворянского мировоззрения и мироощущения. Предпринимательская парадигма соотносит такую жизнь с ленью, косностью и не в состоянии объяснить дворянского патриотизма, героизма, государственного подхода. Очевидно, что названные парадигмы должны сосуществовать и применяться в соответствующих случаях. Сосуществование парадигм, в т. ч. гуманитарных, позволяет заключить, что борьба и вытеснение парадигм не так широко распространены, как полагал Кун, поскольку парадигмы, в основном, имеют собственные культурные и познавательные ниши.

Таким образом, отметим, что парадигмы в гуманитарной сфере подразделяются на два типа. Первые аналогичны естественнонаучным парадигмам. Вторые ответственны за заметную специфику гуманитаристики: определяющую роль играет некоторая философская концепция и/или ценностные установки, не объединяя, а скорее разделяя научное сообщество даже в рамках одной дисциплины, провоцируя проблемы, требующие иных парадигм. Сосуществование парадигм в науке, в т. ч. гуманитарной, позволяет заключить, что борьба и вытеснение парадигм не так широко распространены, как полагал Кун, поскольку парадигмы, в основном, имеют собственные дисциплинарные ниши.

4.6. РАЗЛИЧНЫЕ СМЫСЛЫ ПОНЯТИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ ПАРАДИГМЫ»

В употреблении термина «гуманитарные парадигмы» можно обнаружить четыре основных смысла. Во-первых, этот термин применяется к парадигмам деятельности в области культуры. Человек, не умея жить в природе, переделывает ее, создавая культурную среду своего обитания. Одним из механизмов культурной деятельности являются парадигмы как образцы культурного творчества. Они изучаются, скажем, культурологией как гуманитарной дисциплиной, из-за чего считаются гуманитарными парадигмами. В качестве подобной культурной парадигмы в принципе может быть рассмотрена и естественнонаучная парадигма. Поэтому называть все культурные парадигмы гуманитарными, возможно, верно по существу, но бессмысленно терминологически, ибо теряется актуальная проблема соотношения гуманитарных и естественнонаучных парадигм как внутринаучных образований. Во-вторых, гуманитарными парадигмами называют парадигмы высокого творчества в области искусства и литературы. Применение термина вполне оправдано, но с оговорками, ведь исследование, познание, приобретение знания не является главной задачей литературы и искусства. В-третьих, применительно к технической практической и научной деятельности, а также к естественнонаучному исследованию выдвигается требование человекообразности, и прежде всего учета возможных рисков и опасностей для человечества. Подобные гуманистические аксиологические императивы также называют гуманитарными парадигмами, но это не есть собственно парадигмы гуманитарных наук или вообще исследовательской деятельности. В-четвертых, парадигмы научной исследовательской деятельности в сфере духа, в отличие от исследований природных объектов, к которым принадлежит и человек как природный объект, являются парадигмами гуманитарных наук и в этом контексте гуманитарными парадигмами. Сказанное относится и к исследованию естественнонаучных текстов и самого естественнонаучного мышления. Поэтому если ученый-естественник рефлексирует по поводу своей мыслительной деятельности и своей науки, то он вступает в сферу гуманитарного познания («переходит этажом выше») и должен включаться в существующие гуманитарные парадигмы или создавать новые. Неслучайно методология науки

является гуманитарной дисциплиной, хотя создавалась не только гуманитариями. Это относится и к истории науки, и другим дисциплинам, изучающим науку.

Таким образом, парадигмальное разнообразие следует считать не недостатком, а достоинством как науки, так и вообще культуры, разумеется, при соответствующем смысловом различении.

ГЛАВА 5.

ГУМАНИТАРНАЯ КАРТИНА МИРА

5.1. МИР. КАРТИНА. КАРТИНА МИРА

В методологии науки давно существует термин «картина мира», часто дополняемый словами «научная» и «общая». Общая научная картина мира должна включать широкие горизонты систематизации знаний и интегрировать наиболее важные достижения естественных, гуманитарных и технических наук¹. Между тем представления об общей научной картине мира складывались почти исключительно на основе анализа естественных наук, из-за чего ее долгое время практически отождествляли с естественнонаучной картиной мира. Это имело известные основания, поскольку естествознание могло говорить обо всем универсуме как бы от имени всезнающего Субъекта. К тому же естественнонаучная картина мира имеет много хорошо изученных и активно используемых в познании функций, особенно онтологических и методологических. Однако в конце XX в. были подвергнуты критике, казалось бы, незыблемые основы общей научной картины мира. Методологи пришли к осознанию уязвимости представлений о незаинтересованном наблюдателе и ограниченности универсальных рационалистических научных представлений, лежащих в основе общей научной картины мира. Бурное развитие гуманитарных наук, проникновение их понятий и методов в социальные и естественные науки заставили методологию науки все чаще обращаться к категориальному базису и методам гуманитарных наук. Современные методологические и научные теории включают ценности и цели субъекта в научную картину мира и теоретические описания. Однако вряд ли право-

1 Степин В. С. Идеалы и нормы в динамике научного поиска // Идеалы и нормы науч. исслед. – Мн.: Изд-во БГУ, 1981. – С. 10–64; Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. – М.: Контакт-Альфа, 1995. – 384 с.

мерно говорить о возникновении гуманитарной картины мира в том же смысле, какой вкладывается в понятие естественнонаучной картины мира, хотя бы из-за того, что предмет гуманитарных наук не охватывает весь мир. Симметрия естественнонаучного и гуманитарнонаучного тут, по-видимому, отсутствует. Термин «гуманитарная картина мира», если допустимо его использование применительно ко всему миру, универсуму, имеет не столько онтологический или методологический, сколько метафорически-ценностный смысл. Поэтому, подчеркивая человеческое отношение к миру в противоположность объективистскому научному «холодному» подходу, говорят о «теплой картине мира» как человеческой интенциональности¹, потребности «ценностно окрасить мир, наполнить его смыслом, сделать сопричастным человеку и общечеловеческой культуре»², необходимости диалогического, «встречающего» подхода к миру³ и т. д. Однако «холодный» и «теплый» подходы являются дополнительными⁴ так же, как и монологический и диалогический, онтологический и аксиологический, объектный и субъектный и т. п. Они могут успешно применяться как к миру вещей, так и к человеческому миру. Следовательно, и гуманитарная научная картина мира при всей своей специфике может рисоваться подобным двойственным образом.

В то же время наличие общей научной картины мира подразумевает существование частных научных картин мира, «дисциплинарных онтологий»⁵. Они представляют собой обобщенные схемы – образы предмета исследования, посредством которых фиксируются основные характеристики изучаемой реальности. Эти образы часто именуют специальными картинами мира. Термин «мир» применяется здесь в специфическом смысле – как обозначение некоторой сферы действительности, изучаемой в данной науке: «мир физики», «мир биологии», «мир психологии» и т. п.

1 Цофнас А. Ю. Комплементарность мировоззрения и миропонимания // Философская и социологическая мысль. – 1995. – № 1–2. – С. 10–13.

2 Ильин В. В. Теория познания: Введение: Общие проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 168 с.

3 Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера. – М.: ИФРАН, 1999. – С. 20.

4 Цофнас А. Ю. Комплементарность мировоззрения и миропонимания. – С. 16–17.

5 Степин В. С. Идеалы и нормы в динамике научного поиска. – С. 10–64; Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. – 384 с.

Представления о различных мирах имеет длительную интеллектуальную традицию. Уже в древнегреческой мифологии различались три самостоятельных мира: космос как воплощение порядка, хаос как его отсутствие, Тартар как мир смерти. В античной философии, в частности у Аристотеля, различались подлунный и надлунный миры. Долгое время существовало представление о макрокосмосе как мире природы и микрокосмосе как мире человека, которые были дополнены, в частности Г. Сковородой, символическим миром слов. Причем макрокосм, в свою очередь, допускал множество миров. Современная наука говорит о множественности миров и как самостоятельных типах реальности, изучаемых, например астрофизикой, и уместающихся в одну картину мира, и как фрагментах одной реальности, изучаемой разными науками, дающими разные картины мира.

Наиболее изученным образцом картины мира является физическая картина. Но если мир физики и физическая картина мира при всем их различии совпадают по широте охвата реальности, если мир биологии и биологическая картина мира также соотносимы в указанном смысле, то, вероятно, это же можно сказать относительно мира гуманитарного знания и гуманитарной картины мира. Когда последняя выходит за пределы своего мира, она перестает быть «дисциплинарной онтологией», приобретает метафорическое, аксиологическое звучание. Но если есть мир гуманитарных наук, логично говорить о научной картине именно этого мира. Тогда научная картина гуманитарного мира, или научная гуманитарная картина мира, не являясь общенаучной, может выполнять относительно своего предмета те же функции, которые присущи любой частной, специальной, научной картине мира. Гуманитарная картина мира, уступая естественнонаучной картине в широте охвата реальности, вряд ли уступает ей в значимости.

В этой связи возникает закономерный вопрос: возможна ли такая научная гуманитарная картина мира не как метафорически-аксиологическая, а как дисциплинарная онтология или совокупность дисциплинарных онтологий? Относительно естественнонаучной картины мира такого вопроса не возникает в силу единства «естественного» мира, например, его атомно-молекулярной или полевой природы. Ведь биологические явления можно рассматривать на молекулярном уровне даже с учетом антиредукционистских

предостережений. В то же время мир психологии и мир литературоведения, мир лингвистики и мир социологии не так близки, как физический и биологический миры. И все же, учитывая текстуально-дискурсивную природу гуманитарного знания как сущностного признака единства представленного в этом знании мира, можно говорить о едином мире гуманитарных наук и единой научной гуманитарной картине мира. Если это так, то, во-первых, будет ли такая картина относительно самостоятельной наряду с естественнонаучной как ее существенное дополнение, во-вторых, не станет ли она претендовать на статус общенаучной картины мира, вытесняя естественнонаучную как устаревшую и ограниченную, в-третьих, будет ли она выполнять такие же методологические функции, которые успешно выполняет естественнонаучная картина мира?

Ответ во многом зависит от того, какой смысл вкладывается в термины «картина» и «мир».

Термин «картина» применительно к миру возник неслучайно и является выражением определенного этапа развития человеческого познания, осознанием раздельности, противопоставления человека и окружающего его мира, субъекта и объекта, осмыслением определенного отношения к миру, а именно дистанцирования от мира, а не включенности в него. Представление о включенности человека в мир как космос было характерно для античности. Этот взгляд во многом сохранился и в средневековье, хотя исподволь набирала силу идея о господстве человека над природой, поскольку христианские представления фиксировали существенно более высокий статус человека по отношению к природе. А в позднем средневековье популярной стала идея двух книг, одной из которой было Священное Писание (Библия) и Священное Предание (труды Отцов церкви, пером которых двигал Создатель), а другой – книга природы, также написанная Создателем как творцом природы, следовательно, не противоречившая первой. Поэтому изучение природы, как и изучение первой книги, также ценностно оправдано. Ее и должна была изучать наука, в частности по представлению Галилея. Мотивы картины мира в книге природы явно прослеживаются. Идея картины мира стала преобладающей в эпоху Возрождения и Нового времени. Тогда же сложилось представление о субъекте и объекте как его картине мира. В философии Р. Декарт четко различил субъект и объект. Но еще Леонардо да Винчи подчеркивал, что предметы

должны изображаться такими, какими их видит человеческий глаз, откуда проистекает новая и неожиданная для современников идея живописной перспективы. Вероятно, аргументация «писать то, что видит глаз», оказала влияние и на Галилея, представлявшего науку как описание природы, в отличие от философии, познававшей ее сущность. По-видимому, живописное творчество Ренессанса и его теоретическое (читай – гуманитарное) обоснование существенно повлияло на становление идеи научной картины мира.

Слово «картина» самим своим смыслом задает контекст, порой неявный, его употребления. Прежде всего термин «картина» предполагает изображение, т. е. фиксацию того, что человек считает важным, главным, существенным, а не точную копию оригинала¹. Точная копия, по-видимому, и невозможна, поскольку глаз видит не все, а разуму и чувствам не все нужно. Иными словами, человек как автор картины дистанцируется от изображаемого мира, утрачивает ту неразрывную связь с ним, которая ранее делала мир своим. Это означает, с одной стороны, что человек как автор начинает ощущать свое могущество, способность свободно конструировать мир, а с другой стороны, формируется отстраненное, «холодное» отношение к миру как чему-то чуждому. Человек уже не частичка космоса, а отстраненный наблюдатель, которому нужно точное, объективное знание, и творец, который конструирует и это знание, и свой, человеческий мир, на котором воспроизводится двойственное отношение свое-чужое, субъективное-объективное, теплое-холодное, конструирование-отражение при преобладании объективности и «холодности».

Видение мира как картины особенно утверждается в ходе формирования классической науки, прежде всего механики, хотя предпосылки складываются в предшествующую эпоху, когда чародей-алхимик становится ученым, искусник – техником, а между человеком и миром постепенно возводится его механическая картина. С течением времени образ мира как механических часов сменился образом потока и поля, в картину мира внедрились представления о генах и цивилизациях, биосфере и ноосфере, нестационарной Вселенной и синергетических процессах. Но по-прежнему едва ли не главной целью научной картины мира является представление МЕХАНИЗМА функционирования или развития Вселенной,

1 Хайдеггер М. Время картины мира/М. Хайдеггер // Время и бытие: ст. и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 41–62.

человека, общества. Подобное стремление «омеханичить», омертвить мир имеет известный смысл: такой мир проще объяснять, им легче управлять, морально оправдано в нем господствовать и его использовать. Под идею механизма подстраивается представление о природе, динамике и структуре мира.

Таким образом, можно констатировать следующее.

1. Хотя представления о картине мира продуцировались не только наукой, но и философией и искусством, научная картина мира сложилась как объективистская, «холодная» почти исключительно на основе естественнонаучной картины мира. В таком виде она не в состоянии адаптировать достижения гуманитарных наук, из-за чего ощущается потребность в гуманитарной картине мира.

2. Термин «гуманитарная картина мира», применяемый ко всему универсуму, имеет не столько онтологический или методологический, сколько метафорически-ценностный смысл как выражение человеческой интенциональности, как «теплая картина мира».

3. Поскольку предмет гуманитарных наук не охватывает всего мира, симметрия естественнонаучной и гуманитарнонаучной картин мира отсутствует.

5.2. НАУЧНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАРТИНА МИРА

Попытки критики вышеозначенной «холодной» картины мира имели место и в Новое, и в Новейшее время как в философии, так и в науке, а именно в стремлении конституировать гуманитарные науки, что, с одной стороны, подразумевало гуманитарную научную картину мира, а с другой – сеяло сомнения в научности такой картины и таких отраслей знания по сравнению с естественными науками. Последнее обстоятельство является одной из причин того, что понятие гуманитарной научной картины мира начало формироваться относительно поздно.

Важно учесть еще один момент. Объектом исследования гуманитарных наук обычно провозглашается социокультурная реальность как все то, что сотворено человеком, вместе с тем, что находится в его внутреннем мире. Исключается отсюда техника как предмет технических наук и иногда – социальная реальность, если социальные науки: социологические, экономические и т. п. – провозглашаются

самостоятельными и не включаются в гуманитарные. Однако, как уже отмечалось, различать гуманитарные и негуманитарные науки путем перечисления объектов или фрагментов реальности малоперспективно. Например, человек как часть реальности является предметом изучения и гуманитарных, и естественных наук. В ограничении предмета гуманитарных наук часто используют идею М. М. Бахтина: «Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении»¹. Отсюда требование диалогичности познания: в естественных науках «только один субъект – познающий (созерцающий) и говорящий (высказывающийся). Ему противостоит только *безгласная вещь*. Любой объект знания (в т. ч. человек) может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно, познание его может быть только *диалогическим*»². Включенность в диалог предполагает постоянное изменение познающего субъекта и невозможность дистанцирования от познаваемого субъекта. И собственно текстуальность и диалогичность гуманитарных наук имплицитно предполагает неоднозначность и неопределенность, хотя бы вследствие различных интерпретаций текста. Следовательно, научная гуманитарная картина мира должна, во-первых, иначе соотноситься с реальностью по сравнению с естественнонаучной, во-вторых, учитывать текстуальность и диалогичность своего объекта-субъекта. Она вынуждена строиться по «теплому» варианту. В то же время объективная, устойчивая, дистанцированная от познаваемой человеческой реальности холодная картина по типу естественнонаучной, будучи не вполне адекватной своему миру, также необходима. Ведь описываться и объясняться гуманитарный мир, как и любой другой, должен объективным, «бессубъектным» способом.

Подобный вывод напрашивается при рассмотрении познания, направленного как текстуальные, так и нетекстуальные результаты человеческой деятельности. Социальные учреждения и культурные нормы могут восприниматься современным человеком и изучаться наукой как объективные, естественные, формировавшиеся при определенных социальных отношениях и в определенных структурах как бы независимо от субъекта. Это понимание во многом связано

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – С. 285.

2 Там же. – С. 363.

с тем, что человек представляет самого себя упрощенно, лишь как естественную данность. Поэтому восприятие продуктов человеческого духа в значительной мере зависит от того, как человек конституирует себя: как объект познания, или как субъект этого познания, или как то и другое одновременно. В частности, вполне естественно было бы рассматривать некоторый текст и его автора как естественные данности, которые обладают известной самостоятельностью и определяют тот дискурс, в котором рассматриваются. В то же время, как показал М. Фуко, все может обстоять наоборот: и автор, и его текст являются функциями дискурса, а отнюдь не естественными данностями. Например, именно дискурс литературоведческих исследований определяет понятие автора, его роль и значение, в частности для рубрикации литературных работ, а не естественность данного человека, создавшего некое произведение. В дискурсах разного рода авторство будет приобретать различное значение, поскольку дискурсы функционируют по разным правилам и в них разное значение имеет то, кто говорит (см. подразд. 1.4.). К тому же, отнюдь не всегда понятие автора имеет наибольшее значение для понимания текста. Главная мысль Фуко состоит в том, что гуманитарные науки вместе с другими дискурсами не столько изучают авторов и их тексты как реальные физические объекты, сколько эти объекты создают. И в принципе дискурсы могли бы быть другими.

Понятие дискурса, рассмотренное Мишелем Фуко, существенно корректирует понимание исследуемой социокультурной реальности, поэтому порой воспринимается так, что однозначно ставит под сомнение возможность объективной картины реальности как отражения естественной данности, не зависимой от субъекта. Действительно, дискурс не просто текст или речь как естественная данность. Это нормативная, содержащая внутри себя определенную систему правил, социально-культурная практика, в которую включен текст вместе с познающим субъектом и которая определяет направления обсуждения некоторой темы, образцы постановки проблем и их решения, способы обоснования, связи с другими темами и пр. Однако ничто не мешает рассматривать дискурс, текст или речь так же, и как естественную данность, как объект изучения, дистанцированный от субъекта. При этом неизбежны потери, поскольку ряд проблем просто исчезнет из поля зрения. В то же время приобретения будут

немаловажные: устранение субъективизма, утверждение научной объективности и незаинтересованности и пр.

Идеи концепции Фуко, особенно если не исключать научной объективности, позволяют понять ограниченность наивной натуралистической картины мира в гуманитаристике, выражающейся в представлении о том, что знание относится к человеку как таковому, как самоочевидной реальности, якобы совершенно не зависимой от процедуры построения знания о ней. Но в таком случае если образ реальности зависит от познающего субъекта, то объективная картина реальности должна быть дополнена ее субъективной картиной.

Возможно, формирующиеся представления о научной гуманитарной картине мира используют и понятие знания в смысле Фуко, т. е. особое знание того, «о чем можно говорить в дискурсивной практике, которая тем самым специфицируется: область, образованная различными объектами, которые приобретут или не приобретут научный статус»¹. Фуко приводит пример знания психиатрии XIX в., которое не является суммой общепринятых истин, а есть совокупность практик, единичностей, искажений и ошибок. Такого рода знание – это пространство, в котором субъект может говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своем дискурсе. Они не являются зависимыми от него объектами, и там необязательны предельные обобщения, что отличает данное образование от картины мира. Это не что-либо стабильное, а «поле координаций и субординаций высказываний, в котором определяются, появляются, применяются и трансформируются концепты»². Иными словами, «это не сумма уже-сказанного, но совокупность способов и координат, с помощью которых можно включать в каждое новое высказывание уже-сказанное»³.

Главными объектами исследуемой реальности, воплощенными в общей научной гуманитарной картине мира, поначалу стали текст и дискурс. Они остаются таковыми и сейчас, но специфицировались в ходе современных исследований как нарратив. Адекватным исследуемой реальности методом часто провозглашается понимание, подвергнутое основательному и разностороннему

1 Фуко М. Археология знания. – С. 181.

2 Там же. – С. 182.

3 Там же.

анализу в различных герменевтических концепциях, так или иначе использующих нарративную природу понимаемого текста. Многообразие философских доктрин, возникших в русле гуманитарной проблематики, хотя и не отличается единством, представляет глубокие и перспективные идеи, не только фундирующие гуманитарную картину мира, но и обеспечивающую ей плодотворное применение, в т. ч. и за рамками гуманитарных дисциплин, также в значительной степени обращено к нарративу. Неслучайно нарративная картина мира задействована уже при анализе естественнонаучного знания¹, а некоторые авторы даже примеряют к естественнонаучной сфере филологическую модель².

Дисциплины, изучавшие тексты и способы его существования, выдвинули теорию художественной литературы в лидеры современной науки, предоставили свой категориальный аппарат и методы, выделили еще одну лингвистическую структуру – нарратив, ответственную за многие социокультурные процессы. Нарративный поворот вызвало «открытие в 1980-х гг. того, что повествовательная форма – и устная, и написанная – составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую и философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и условиями существования»³. Нарратив стал своеобразной субстанцией социокультурной реальности. Нарративный поворот в науке и в методологии науки, по сути, вызвал к жизни нарративную картину мира. Возможно, нарративность – определяющее качество общенаучной гуманитарной картины мира, хотя ему нужно пройти еще проверку временем.

Таким образом, можно отметить следующее:

1. Основанием для выделения единой научной гуманитарной картины мира является текстуально-дискурсивная природа гуманитарного знания как сущностного признака единства представленного в этом знании мира. Существенным свойством гуманитарной картины мира является ее нарративность.

1 Tomlinson B. Phallic fables and Spermatic Romance: Disciplinary Crossing and Textual Ridicule // *Configurations*. 1995. – № 2. – P. 106.

2 Шукин В. Г. О филологическом образе мира: философские заметки/В. Г. Шукин // *Вопр. философии*. – 2004. – № 10. – С. 47–64.

3 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. – С. 30.

2. Гуманитарнонаучная картина двойственна: диалогичность, интенциональность, невозможность дистанцирования от познаваемого субъекта требуют ее «теплого» варианта, а потребность в объективности, устойчивости, точности обуславливают бессубъектный, «холодный» вариант.

5.3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУЧНЫЕ КАРТИНЫ МИРА

Осознание ограниченности наивного натурализма характерно для всех гуманитарных дисциплин, в т. ч. для современной психологии как одной из гуманитарных наук: «...психологическое исследование весьма специфично по сравнению с сциентистски-натуралистическим образом психологии: из психологического исследования невозможно исключить самого исследователя, его присутствие в качестве одного из условий существования изучаемого объекта»¹. Подобное осознание характерно для культурологии, политологии, истории. Действительно, объект исследования, например, психология данного индивида или историческое событие, обычно находится под влиянием исследователя, а то и фактически сконструировано им или находится в стадии конструирования, например в психотерапии, когда корректируется личность пациента, или в избирательных технологиях, когда создается имидж кандидата или формируется общественное мнение.

Существенно, что конструируемый объект, особенно если речь идет о личности, например ее психологических характеристиках, почти никогда не соответствует в полной мере не только картине мира, но даже теории. Например, установки и формы поведения психоаналитического клиента после соответствующей работы психиатра стали другими, более соответствующими норме, но все равно не вполне соответствующими теории². Это свидетельствует о том, что влияние исследователя-творца неограничено, а исследуемый и конструируемый объект обнаруживает свою относительную неза-

1 Психология и новые идеалы научности: материалы круглого стола // Вопр. философии. – 1993. – № 5. – С. 42.

2 Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 80.

висимость. Здесь также проявляется необходимость дополнительного подхода, включающего и диалогичность, и монологичность, в исследовании гуманитарной реальности и построении ее картины.

Иное, чем в естествознании, соотношение реальности и картины демонстрируют и исторические науки, особенно качественные теории, в которых также бросается в глаза диалогичность, изменчивость и неопределенность исследовательского поля, и проблематичность независимого от познающего субъекта существования объекта познания, и невозможность точного и однозначного описания прошлых событий и целых эпох. В то же время количественные исторические теории демонстрируют существенную аналогию с естественными науками и пользуются классическими представлениями о картине мира. По-видимому, и здесь двойственность картины мира имеет место. Даже если не учитывать идеологическую заангажированность, все же поверить в однозначность, объективность, «холодность» исторического описания трудно, хотя без выполнения этих требований о научности истории не может быть и речи. Сама же исходная историческая картина должна осознаваться в своей объективности и субъективности, диалогичности и монологичности.

Картина мира в исторических дисциплинах выполняет такую же важную, как и в других дисциплинах, методологическую роль, определяя горизонт исторического исследования, задавая основания научного поиска. Она продуцирует модели, схемы, объяснительные принципы, как например, безличный экономический механизм, якобы предопределяющий деятельность людей или столкновение классовых интересов, обеспечивающее динамику общественной жизни, или борьба выдающихся индивидуальностей, если последние объявляются творцами истории, и т. д. Очевидно, что в определенном смысле можно говорить о дисциплинарной картине мира в гуманитарных науках.

Двойственный характер картин мира гуманитаристики проявляется также и в том, что они не только отражают реальность гуманитарного мира, но и задают представления о нем, творят его. Конституирующая функция важнее познавательно-отражательной, ибо без нее не было бы гуманитарного мира. Но без второй не было бы самого гуманитарного знания. В этом существенное отличие картин мира гуманитарных наук от естественнонаучных дисциплинарных картин. В последних познавательно-отражательный аспект более

существен, а конституирующая функция относится не к реальному миру, а к организации знания о нем.

Важными элементами естественнонаучных картин мира являются идеальные объекты, представляющие собой существенные, общие, закономерные, устойчивые черты исследуемой реальности. Возможно ли это в гуманитарных картинах? Ведь если квантитативные гуманитарные теории продуцируют такие объекты, то у качественных – иная направленность. В исторических науках они нередко отдают предпочтение уникальному и случайному, в психологии выделяют единичное, повседневное, кажущееся, субъективное, в литературоведении – аналогично. Действительно, в гуманитарном познании часто особое значение имеет случай, прецедент, особенно в исторических и психологических дисциплинах. Там способность замечать индивидуальное и особенное так же важна, как и умение обобщать и отыскивать закономерности. Но прецедент имеет и более общее значение: он играет роль своеобразного первоотлчка, способного запустить логико-рациональный механизм мышления. Поэтому в дисциплинарной гуманитарной картине может оказаться нетипичное, которое благодаря метафоричности своего выражения в состоянии породить новый ассоциативный ряд и вообще дать толчок научному творчеству.

В целом не вызывает сомнений возможность адекватного описания, а значит и рационального представления познавательных ситуаций, методов, проблем и способов их решения в гуманитарных науках, о чем свидетельствуют их успехи. В этой связи положительный ответ на вопрос о возможности дисциплинарных гуманитарных картин мира не кажется невозможным. Тем более, что история развития гуманитарного знания свидетельствует о том, что общие представления и схемы исследуемых гуманитарных миров, как и всей гуманитарной реальности, напоминающие по своему строению и функциям картины мира, подобные естественнонаучным, имели место, хотя и не конституировались в качестве особой системы знания, именуемой картиной мира, как это было в методологии естественных наук. Но эти представления и схемы аккумулировали знания об основных объектах реальности, строились коррелятивно схеме метода, выражали идеалы и нормы соответствующей дисциплины, имели философские основания, т. е. соответствовали основным характеристикам научной картины мира. Поэтому их можно

назвать зародышами, прообразами дисциплинарных гуманитарных научных картин мира.

Картины мира представляют собой известное обобщение. В таком обобщенном виде они усваиваются будущим ученым по мере получения образования и вхождения в круг проблем его специальности. Не всегда картина осознана полностью, бывает, что осмыслены и сознательно применяются отдельные элементы картины. Но возможно применение разных картин, особенно на дисциплинарном уровне и с учетом их двойственности. Аналогично обстоит дело и в естественности. Наличие современной постнеклассической картины мира не означает, что исследователь не может работать в рамках классической картины при исследовании определенных объектов, не требующих привлечения флукуационных идей или нелинейного стиля мышления. В гуманитаристике тем более картины мира могут дополнять друг друга.

Представляется важным в этой связи еще раз подчеркнуть различие между конструктивными и познавательными функциями научных гуманитарных картин мира. Их полезно различать и в естественнонаучных картинах, ведь уже вряд ли кто верит в зеркальное отражение теорией объективной реальности. В гуманитарной деятельности конструктивная функция, присущая теориям, распространяется и на соответствующую картину реальности, когда объект может «давать сдачи» познающему субъекту, когда «теплое» отношение субъекта к объекту превращается в «горячие», личностные взаимоотношения субъекта и объекта-субъекта. Однако этот факт не отменяет необходимости изучения и правильного познания такой конструкции, будь это описание исторического события или «выправленная» психотерапевтом психология индивида, тем более, что с помощью современных технологий и психопрактик возможно создание любых мифов, внушение любых побуждений, формирование потребности в любом товаре, манипулирование массовым сознанием.

Важная особенность гуманитарных картин мира, обусловленная спецификой гуманитарных теорий, состоит в том, что сначала создается картина реальности или теория конкретного объекта, под которую формируется сам объект. Можно привести много примеров из литературы и искусства, психологии и истории. Это отнюдь не означает, что объект уже познан до своего создания: вопрос о многих его свойствах остается открытым, ведь картина не может

быть полной копией. Просто познавательные вопросы приобретают иную направленность. Если в естественнонаучной картине правомерен вопрос о соответствии картины реальности, то в гуманитарном познании наоборот: насколько реальность соответствует картине? Картина в этом случае вполне может быть объективной, т. е. не зависеть от произвола субъекта, выражать определенные назревшие потребности общества, человечества, государства, быть признанной научным сообществом, интерсубъективной. Это может быть общепринятый идеал или норма, например, общепринятая норма здоровой психики как картина, которой должен соответствовать больной. Она получена не только посредством изучения больных, но в не меньшей степени и здоровых людей. В этой связи большое значение приобретает понятие нормы как аналога природной закономерности и отклонений от нее как источника не только патологии, но и развития, прогресса. Норма является определенным стандартом, закрепленным в культуре, и также входит в картину мира. «Стремясь понять и объяснить поведение других (т. е. ответить на вопросы, «что происходит» и «почему»), особенно поведение, весьма отличное от нашего и даже вступающее в противоречие с так называемым здравым смыслом, мы также вынуждены ввести идею «картины мира». Иначе говоря, оперирование термином «картина мира» позволяет осознать, что ответ на вызов, который бросает жизнь, оказывается predeterminedен не ею, а исторически сложившимся комплексом культурных стандартов»¹.

Если естественнонаучные картины мира даже при учете влияния субъекта все-таки так или иначе репрезентируют реальность, вторичны по отношению к ней, то гуманитарные картины выполняет двойственную функцию. С одной стороны, они репрезентируют социокультурную реальность, с другой – конструируют и конституируют ее, создавая не только теоретические, но и реальные миры. В этом втором качестве они предшествуют реальности, первичны по отношению к ней.

Таким образом, можно констатировать следующее.

Дисциплинарные картины мира в гуманитарных науках, как и общая научная гуманитарная картина, двойственны в двух отношениях: во-первых, как сочетание объективистского, «холодного»

1 Сыров В. Н. Значение «картины мира» в современной науке и философии. – Режим доступа: http://siterium.trecom.tomsk.su/syrov/Syrov_14.htm.

общенаучного подхода с интенциональным, «теплым» личностным, субъективистским, ценностным; во-вторых, как совмещение репрезентативной и конституирующей свой мир функций.

5.4. ЗНАЧЕНИЕ КАРТИН МИРА В ГУМАНИТАРИСТИКЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Что дает понятие картины мира в гуманитарных науках?

1. Осознание наших представлений как картины мира позволяет осознанно пользоваться этими представлениями.
2. Осмысление своих воззрений как одной из возможных картин мира открывает, соответственно, путь к рефлексии, критическому анализу и возможному пересмотру неудовлетворительных представлений.
3. Дополняет объектное видение мира, способствует преодолению наивного натурализма в гуманитарном знании и в его определенных формах и наивной веры в исключительно отражательную природу знания.
4. Открывается возможность конкуренции картин мира и (или) их согласование в соответствии с общегуманистическими принципами (толерантности, демократизма, человечности).
5. Может быть реализован сознательный переход от картины к картине в соответствии с познавательными целями и исследуемым материалом.
6. Осознается ограниченность идеологических установок, спротоцированных соответствующими картинами, например исторической или социальной реальности.
7. Поскольку в гуманитарных теориях, особенно качественных, эксперимент или количественный подсчет затруднен, картина мира может стать одним из факторов легитимизации теории.
8. Картина мира, систематизируя и обобщая (хотя это обобщение не предельное), позволяет иметь целостное представление о соответствующей реальности или об изучаемой проблеме.
9. Может функционировать в качестве исследовательской программы, направляя постановку задач как эмпирического, так и теоретического поиска и выбор средств их решения.

10. Может оказаться полезной в интегральном осмыслении процессов, происходивших в науке. Неправомерно представлять науку только как логику развития научных идей и исключительно в дисциплинарной форме (открытие фотографии как сближение истории техники и истории искусства и литературы).

11. Поможет реализовать принцип дополнительности применительно к гуманитарному познанию.

Появление гуманитарных картин мира как дисциплинарных, так и общей является неизбежным следствием развития гуманитаристики.

Дополнительность картин мира. Некоторые объекты, изучаемые гуманитарными науками, возможно нес скоро или даже никогда не станут объектами естествознания, например литературные тексты. Соответственно, можно отыскать аналогичные объекты в естествознании, которые не изучаются в гуманитаристике, хотя все естествознание как совокупность текстов в определенном смысле может быть предметом гуманитарных наук. Возможно, никогда качественные теории не уступят своего места количественным. Однако многие объекты могут «поворачиваться» то естественнонаучной, то гуманитарной стороной, то количественным, то качественным аспектом, в частности, в зависимости от применяемых подходов, парадигм, теорий, методов и других средств из арсенала естественных и гуманитарных наук, в той или иной степени задействованных в картинах мира. Кроме того, в картины мира вписаны и общенаучные компоненты, которые особенно хорошо отработаны в естествознании. В зависимости от целей исследования и примененных средств одни и те же объекты выглядят как различные феномены. В одних случаях – как человеческие, очеловеченные, субъективные, диалогические, индивидуальные. В других – как независимые, объективные, монологические, типичные, общезначимые. Ситуация с двойственностью объектов научной деятельности, как и вообще человеческого опыта, напоминает двойственность объектов микромира, «обретающих» те или иные свойства в зависимости от выбранных средств описания. Сформулированный Н. Бором в связи с интерпретацией квантовой механики принцип дополнительности имеет универсальную методологическую значимость. В наиболее общей форме этот принцип требует, чтобы для воспроизведения целостности исследуемого

объекта применялись «дополнительные» классы понятий, которые, будучи взяты раздельно, могут взаимно исключать друг друга¹.

Складывается впечатление, что современная общенаучная картина мира преимущественно есть естественнонаучная его картина. Мнение о том, что в общенаучную картину попадают представления гуманитарных наук, скорее, преувеличение и декларация. В. Степин описывает идиллическую ситуацию, в которой общенаучная картина мира «интегрирует наиболее важные достижения естественных, гуманитарных и технических наук – это достижения типа представлений о нестационарной Вселенной и Большом взрыве, о кварках и синергетических процессах, о генах, экосистемах и биосфере, об обществе как целостной системе, о формациях и цивилизациях и т. д. Вначале они развиваются как фундаментальные идеи и представления соответствующих дисциплинарных онтологий, а затем включаются в общую научную картину мира». Похоже, что в действительности дело обстоит иначе. Картины мира гуманитарных наук, как дисциплинарные, так и общегуманитарная, сами отличаются двойственностью и внутри этой двойственности, а не только при сравнении с естественнонаучными картинами, также «кусаются», они взаимоисключают друг друга, например, монологичностью и диалогичностью, объективностью и субъективностью, количественностью и качественностью, незаинтересованностью и ценностью. Поэтому речь может идти о дополнительной. Как дополнительные подходы, теории, парадигмы, так и соответствующие картины мира: и в смысле двойственности гуманитарных дисциплинарных картин, и в смысле дополнительной картин мира гуманитарных и естественных наук, и в смысле дополнительной общенаучной и общегуманитарной картин мира. Основанием дополнительной является множество факторов: выбранные цели, способы и методы исследования, двойственность объектов, имеющих как не зависимые от субъекта свойства, так и зависимые, разные теории и парадигмы, разные картины мира. Это верно, даже если учесть, что некоторые картины только формируются и необходимость в них еще не стала хорошо осознанной потребностью. Имеется в виду и общенаучная гуманитарная картина мира, и картина мира некоторых, если не многих, гуманитарных дисциплин.

1 Бор Н. Причинность и дополнительность/Н. Бор // Избр. науч. тр. – Т. 2. – М.: Наука, 1971. – С. 204–211.

Соответственно, в дополнение к распространенному в литературе различению гуманитарного и естественнонаучного подходов как разных подходов к одному единственному миру, когда гуманитарной картине мира приписывается лишь метафорически-ценностный смысл, следует учесть возможность их различения как подходов к разным мирам, например к миру физическому и миру текстуальному. Кроме того, подходы различны и внутри гуманитарных наук, познание мира которых требует как общенаучности, так и специфичности, что фиксируется, среди прочего, также и двойственностью всех гуманитарных картин. Общенаучная составляющая в каждой является следствием единства науки и не дает возможности разбежаться им по несоизмеримым дисциплинарным квартирам.

Можно дать ответы на сформулированные в начале главы вопросы. Во-первых, общенаучная гуманитарная картина мира является относительно самостоятельной наряду с естественнонаучной. Во-вторых, она не претендует на статус единственной общенаучной картины мира, не вытесняет естественнонаучную как якобы устаревшую и ограниченную, а работает с ней на дополнительных принципах. В-третьих, она способна выполнять, кроме аксиологических, также и методологические, познавательные, конституирующие функции. Кроме того, в гуманитаристике аналогично естествознанию функционируют дисциплинарные картины мира – картины мира гуманитарных наук: исторические, литературоведческие, социологические, психологические. Гуманитарные картины мира принципиально двойственны. В своем «холодном» варианте они дистанцируются от познаваемого объекта и требуют объективного, бессубъектного представления реальности. В «теплом» варианте, имея нарративную форму выражения, они должны учитывать текстуальность своего объекта, который существенно зависит от процедуры построения знания о нем субъектом. Картины в этом случае, при всей их двойственности, неопределенности, диалогичности, текстуальности, нарративности вполне могут быть объективными, т. е. не зависеть от произвола субъекта, выражать определенные назревшие потребности общества, человечества, государства, быть признанными в научных сообществах, интересубъективными.

Таким образом, констатируем.

1. Принцип дополнительности срабатывает и в двойственно-сти гуманитарных дисциплинарных картин, и в дополнительности

картин мира гуманитарных и естественных наук, и в дополнительной общенаучной и общегуманитарной картин мира. Основанием дополнительной является множество факторов: выбранные цели, способы и методы исследования, двойственность объектов, имеющих как не зависимые от субъекта свойства, так и зависимые, разные теории и парадигмы, разные и двойственные картины мира.

2. В отличие от распространенного в литературе различения гуманитарного и естественнонаучного подходов как разных подходов к одному единственному миру, когда гуманитарной картине мира приписывается лишь метафорически-ценностный смысл, следует учесть возможность их различения как подходов к разным мирам, например к миру физическому и миру текстуальному.

3. Общенаучная составляющая в каждой картине мира является следствием единства науки и не дает возможность разбежаться им по несоизмеримым дисциплинарным квартирам.

ГЛАВА 6.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

6.1. НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Природа, типы, идеал рациональности. Рациональность (от лат. ratio – разум) – ключевой термин философии вообще и методологии науки в частности, в упрощенном виде означает разумность бытия, действия, отношения, цели и т. д.

Природа рациональности, как минимум, двояка. Во-первых, разум и производная от него рациональность рассматриваются как сущность, вещь, некоторое образование, существующее в мире, наряду с другими вещами, не являющимися разумом и не обладающими рациональностью. Примерами таких разумных образований могут служить «нус» у Анаксагора или ноосфера Вернадского и Тейяр-де-Шардена. Причем разум имеет разновидности: индивидуальный как у отдельного человека, надиндивидуальный, как, например, общественное сознание, абсолютный или высший, как мир идей Платона, Бог, абсолютная идея Гегеля. Во-вторых, разум, рациональность рассматривают как свойство вещей или мира в целом, например упорядоченность, законообразность, форму или как свойства человека, как его субъективную способность. Таким образом, рациональность может быть отнесена к миру в целом или отдельным его фрагментам, ко всем или к некоторым видам человеческой деятельности, в частности, к некоторым продуктам человеческого духа, например к теории. В этом втором смысле рациональность может быть приписана миру гуманитаристики, его объектам и знанию о них. Разумеется, не все продукты человеческого духа, как и его воплощения в мире, имеют чисто рациональное происхождение, но их рациональное постижение вполне допустимо. Во всяком случае, нет сколько-нибудь убедительных указаний

на внерациональную сферу гуманитарного мира, принципиально не выразимую рациональным способом.

Видов мыслительной деятельности с соответствующим материальным и духовным воплощением в текстуальных и нетекстуальных объектах существует немало: в искусстве, в религии, в науке, в быту. Наличие многообразных видов мыслительной деятельности с неодинаковыми требованиями в каждом из них обусловило различие типов, видов, уровней, моделей рациональности. Среди них выделяют философский, научный, социальный, обыденный типы рациональности. Многочисленные исследования рациональности обнаружили различные аспекты анализа рациональности, например, онтологический, эпистемологический, аксиологический, контексты рассмотрения, в частности, технологический, социокультурный, подходы к рассмотрению: субстанциальный, нормативно-инструментальный и т. п.¹ С точки зрения исторических изменений различают исторические типы рациональности в соответствии с эпохами: античная рациональность, средневековая рациональность, рациональность нового времени, современная рациональность.

Исторические типы рациональности с ретроспективных позиций сегодняшнего дня формировались в рамках интерпретации разума через противопоставление тому, что имело распространение, порой было важно, но к разуму не относилось. Так, в античности это было мнение, уступавшее разуму как неотчетливое ясному, изменчивое вечному, неистинное истинному, чувственное понятийному, случайное необходимому, единичное общему. Указанные характеристики разума станут основой рациональности в последующие времена. Средневековье, противопоставив разуму веру, показало, с одной стороны, ограниченность человеческого разума, но с другой – мощь Божественного разума. Иными словами, рациональность не утратила свои основные характеристики. В этом смысле говорят об идеале рациональности, хотя он имеет много проявлений, в т. ч. исторических.

В Новое время разум противопоставлялся эмпирии, как своей предпосылке, но уступавшей ему во всеобщности, необходимости, ясности. В эпоху Просвещения разум противопоставлялся предрассудкам, как догматическим, непроясненным, недоказанным,

1 Ратников В. Особенности философской и научной рациональности // Філософські пошуки. – Вип. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – С. 47–62.

«темным» знаниям. Даже представители философского эмпиризма и сенсуализма как противники рационализма того времени отнюдь не боролись с рациональностью, а, напротив, разрабатывали вместе с рационалистами критерии и нормы научной рациональности. Ф. Бэкон, подчеркивая необходимость, вечность, устойчивость, объективность научных знаний, изобличал вариабильность, изменчивость, субъективизм, которые несут «идолы» познания. С расцветом науки и ростом ее авторитета, особенно в XVII–XIX вв., разум противопоставлялся тому, что к науке не относилось и «уступало» ей: здравому смыслу с его предрассудками, приземленностью, ограниченностью, или религии с ее верой, недоказанностью, трансцендентностью, или искусству как средоточию стихии эмоций и чувств. Указанные противопоставления при всей своей преувеличенности, историчности и т. д., тем не менее, выявили важнейшие константы, нормы рациональности. Их аккумулятором и образцом стала наука. К XIX в. сложилось представление о всесии, всеобщности разума как формально-логического, объективистского, научного способа мышления, о неизменности законов и принципов разума. Подобные представления можно назвать парадигмой рациональности, инициированной наукой, но имеющей более широкое распространение как культурная парадигма, отдающая предпочтение рациональному перед внерациональным. Термин «парадигма» в данном контексте можно рассматривать как синоним идеала рациональности, или как некоторую конкретизацию идеала рациональности в плане его применения к научному исследованию или обычному рассуждению. Культурная парадигма рациональности фиксирует заранее принимаемый образец рассуждений, деятельности, организации мира. Но тогда возможны варианты в зависимости от сферы применения или исторической эпохи.

Таким образом, в новейшее время сложились и утвердились идущие из античности идеал и парадигма рациональности. Они строятся на убеждении в абсолютности и неизменности законов природы, имеющей разумную основу, коей является, например, Вселенский Разум. Даже если материалисты и атеисты устраниют Вселенский Разум, разумная основа Вселенной все равно остается как постигаемая человеком закономерность, системность, гармоничность, упорядоченность и т. д., присущие всему сущему, в т. ч. и человеческой познавательной способности. Наиболее явными

законами такого рода являются законы логики, которые, как полагал, например, Аристотель, являются фундаментальными принципами бытия и мышления. Поэтому один из принципов рациональности гласит: все, что соответствует законам логики, – рационально, то, что не соответствует этим законам, – нерационально, то, что противоречит им – иррационально. Идеал рациональности в таком случае практически не достижим, поскольку совпадает с Абсолютным Разумом, но стремление к нему соответствует прогрессистским представлениям об эволюции человека и его высшем статусе в мире.

В практическом плане разумность объектов, рассуждений или поступков определяется целесообразностью и другими факторами, которые корректируют идеал рациональности, не отменяя его, но задавая ему практический парадигмальный уровень эффективности, гармоничности, систематичности, объяснимости, предсказуемости, понятности в соответствии с определенной, скажем, научной парадигмой.

Широкое распространение получил естественнонаучный идеал рациональности, сложившийся в XVII–XIX вв. и называемый классическим. Хотя во многих своих проявлениях наука XX–XXI вв. переживает неклассические и постнеклассические проявления, они не являются всеохватывающими и к тому же восприняли ряд классических характеристик. Естественнонаучный идеал рациональности, хотя и называется так, но его главная черта состоит не в нацеленности на природные, естественные объекты, а на поиск законов, т. е. устойчивых, повторяющихся, воспроизводимых регулярностей, желательно подтверждающихся эмпирически. Он фактически стал общенаучным, классическим.

Среди требований классической рациональности, явно или неявно предъявляемых научным сообществом, обычно фигурирует относительно небольшой набор, внедренный в сознание в ходе обучения и вообще социализации ученого. Его достаточно в нормальных условиях. Это так называемая стандартная модель рациональности, включающая следующие признаки: ясность мышления и точность его артикуляции, учет требований логики, надлежащее обоснование¹. Подчеркнуто научная рациональность часто дополняется

1 Шульга Е. Природа и специфика научной рациональности // Філософські пошуки. – Вип. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – С. 25–31.

требованием поиска законов в изучаемых объектах, применением математического аппарата и количественных методов, возможностью формализации знания, каузальной моделью объяснения, теоретической и системной организацией знания, предсказательными возможностями. Список может быть продолжен в зависимости от научной дисциплины и ригоризма исследователя.

Рациональное и иррациональное. Трудности в определении критериев рациональности. Если рациональность определять совокупностью критериев или списком признаков, то сам выбор этих критериев не может быть обоснован рационально¹ и совершается по каким-то иным соображениям, например, по ценностным, на уровне, так сказать, метарациональности. В этом смысле можно говорить об уровнях рациональности.

Различают рассудочную и разумную рациональность по принципу различия рассудка и разума, например у И. Канта. Тогда рассудочная рациональность включает достаточно жесткие критерии: законы логики и математики, правила и образцы действия, каузальные схемы объяснения, фундаментальные научные законы, систематичность и др. Иными словами, она окажется тождественной классической парадигме научной рациональности. А разумная рациональность подразумевает оценку и отбор критериев, их обсуждение и критику, а главное, она соотносится с интеллектуальной интуицией и творческим воображением и другими околорациональными факторами, часто носит, по существу, конвенциональный и прагматический, т. е. внерациональный характер. Но все же поскольку выбор критериев рациональности обычно аргументируется, в нем есть рациональный компонент. Если такое сочетание рационального и внерационального типично для научной классики, то тогда что же говорить о неклассической или гуманитарной рациональности?

Для рационализации внерационального отбора критериев его объявляют высшим уровнем рационализации. Такая диалектика двух уровней рациональности, когда противоречие между ними снимается, нередко используется и действительно может прояснить диалектически подготовленному индивиду (если не затуманить ситуацию для исследователя, не знакомого с диалектикой) некоторые

1 Порус В. Н. Парадоксы научной рациональности и этики // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 315–335.

проблемы, например, проблему выбора критериев рациональности и проблему перехода к ситуации выбора, который только кажется иррациональным. Другим вариантом решения этой проблемы может служить различение «критериальной» и «критико-рефлексивной» рациональности так же, как «низшего» и «высшего» типов¹. Так, подчинив свою интеллектуальную или практическую деятельность жесткой «критериальной» системе, ученый утрачивает в этих рамках возможность критической рефлексии и пересмотра этой системы. Пересмотр предполагает другие критерии, нерациональные с точки зрения первых. Тут и необходим переход к «критико-рефлексивной» рациональности с другой системой критериев. Но сам переход не выглядит рациональным. Поэтому порой предлагается не противопоставлять рациональности, а исходить из принципа дополнительности в духе методологических идей Н. Бора. Так, «критериальный» и «критико-рефлексивный» подходы могут совместно описывать рациональность как объект философского и методологического анализа².

Понятие внерациональности и даже иррациональности часто входит в контекст методологических штудий³ и не пугает современных исследователей. Действительно, не только ряд проявлений человеческого духа имеет внерациональную природу, но и рациональные образования подчас теряют свою рациональность.

Многие установки, оценки, требования, запреты и т. д., выраженные в форме норм и выступающие ориентирами и критериями деятельности, в т. ч. даже научной, имеют и рациональную, и внерациональную онтологию. Они сформировались как рациональные требования и нормы и закрепились как традиции. В то же время они далеко не всегда являются предметом индивидуальной рефлексии или научного и философского анализа, не всегда осознаются, не всегда выступают в форме знания, а скажем, в виде побуждений или призывов. В этом отношении они являются внерациональными факторами деятельности. Предметные ценности, оцененные с точки

1 Порус В. Н. Парадоксы научной рациональности и этики. – С. 315–335.

2 Порус В. Н. Рациональность // Новая филос. энцикл.: в 4 т./Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предС. науч.-ред. совета В. С. Степин. – М.: Мысль, 2000. – 2001. – Т. 3. – 2001.

3 Мудрагей Н. С. Очерки истории западноевропейского иррационализма. – М.: Наука, 2002. – 224 с.

зрения добра и зла, истины и заблуждения, прекрасного и безобразного, справедливого и несправедливого, даже получившие гносеологическую разработку в форме философского или аксиологического знания, т. е. имеющие форму явного рационального бытия в культуре, в реальной деятельности нередко функционируют неявно, на уровне интуиций и озарений, чувственно-эмоционального и иного нерационального присутствия.

Следует различать, как минимум, четыре значения слова «иррациональное» («нерациональное»), существенных в контексте научной рациональности. В первом значении иррациональное представляет собой самодостаточную и самоценностную внеразумную форму духовной деятельности человека, существующую наряду и одновременно с разумом как неререфлексирующая сфера духа, сохраняющая себя в этом качестве независимо от развития последнего. Такое иррациональное имеет собственные средства постижения мира, например, веру, мистическую интуицию, внутреннее созерцание и т. д. Сюда порой относят и чувственно-эмоциональную сферу духа как противопоставленную разуму. Последнее иногда рождает недоразумения, одно из которых пытался преодолеть К. Поппер, специально оговаривая, что он относит эмпириков к рационалистам¹. Очевидно, что в таком контексте можно обнаружить научные ценности и научную веру, хотя и имеющие рациональное происхождение, но часто функционирующие как внеациональные факторы.

Во втором значении иррациональное как сфера духа не является самодостаточным и самоценным, претерпевает изменения в соответствии с изменениями разума и вообще сферы духовного. Существует, например, точка зрения, согласно которой в ходе развития человечества сфера иррационального сужается вплоть до полного ее исчезновения за счет расширения разумной сферы, в противоположность другой гипотезе о бесконечности иррационального, выполняющего функцию вечной подпитки рационального. В любом случае здесь иррациональное выглядит как пока-еще-иррациональное². В этом качестве оно есть возможный объект науки.

Третье значение термина «иррациональное» связано с той сферой человеческого духа, которая функционирует относительно

1 Popper K. The Open Society and its Enemies. – Princeton: Princeton University Press, 1950. – P. 224.

2 Мудрагей Н. С. Очерки истории западноевропейского иррационализма. – С.5–8.

независимо от разума, на уровне чувств, эмоций и вытесненного в подсознание рационального. Многие нормы нравственности или оценки типа справедливое-несправедливое, прекрасное-безобразное и т. п. осуществляются без предварительной рациональной обработки, как привычные, эмоциональные реакции. В философии и гуманитарных науках эти нормы и оценки давно рационализированы, что, возможно, было когда-то усвоено индивидами в процессе социализации, но забыто или было принято на веру, или усвоено путем подражания. Такие феномены стали пострациональными, уже-нерациональными.

Четвертое значение термина «иррациональное» связано с оценкой, обычно негативной, мира вообще или его фрагмента, некоего практического действия или духовного феномена, как иррациональных, хотя те необязательно являются таковыми. Рассуждение в рамках иной модели рациональности, с учетом других критериев воспринимается как иррациональное. То же касается определения критериев рациональностей. Они могут выглядеть как иррациональные.

Нерациональное не является качественно низшей или, напротив, высшей по отношению к рациональному формой отношения к миру. Это иная форма по механизму реализации. Нерациональное и рациональное не всегда являются антиподами, они вполне могут выступать дополняющими сторонами человеческого духа как единого целого.

Идеалом гуманитарного знания может быть не только рациональное, но и иррациональное. Вопрос о месте и смысле разума решается положительно или отрицательно. Н. Автономова, обращая внимание на чередование периодов, в которые иррациональное органично взаимодействует с рациональным, и периодов, в которые иррациональное противопоставляется рациональному. Смена периодов, в которые «содержательные расширения преобладают над их собственно концептуальной ассимиляцией и упорядочением», периодами, в которые, напротив, преобладает тенденция к возможно более «органичной ассимиляции новых содержаний культуры, к самоупорядочению», соответствует ритму культурных перестроек¹. По-видимому, сейчас мы переживаем период некоторой реабилитации иррационального при общей тенденции расширения рационального, по крайней мере, в гуманитаристике.

1 Автономова Н. С. Новый рационализм // Вопр. философии. – 1989. – № 3. – С. 11.

Модели научной рациональности. Отчаявшись рационально обосновать и сформулировать общие критерии рациональности, многие авторы делают упор на культурно-исторических рамках рациональности, возлагая ответственность за рациональность на собственные каждой эпохе стандарты рациональности, вписанные в культуру. Таким образом сохраняется объективность критериев, они не превращаются в субъективный произвол, но остается проблема релеванности критериев рациональности. Неизменным оплотом оставалась лишь классическая наука, прежде всего естествознание.

Однако во второй половине XX в. выявился исторический характер самой научной рациональности. Особенно остро эта проблема была поставлена в работах представителей постпозитивистской философии и методологии науки Т. Куна, И. Лакатоша, С. Тулмина, Дж. Агасси, М. Вартофского, П. Фейерабенда и др. До предела обострил проблему научной рациональности Фейерабэнд, обвинив научную рациональность в агрессивности и догматизме. «Отделение государства от церкви, – предлагает Фейерабэнд, – должно быть дополнено отделением государства от науки – этого наиболее современного, наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института. Такое отделение – наш единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны, но которого никогда не достигали»¹.

Несмотря на то, что во второй половине XX в. многие нормы рациональности были подвергнуты сомнению, огромная армия их защитников доказывает неустрашимость рациональности как важнейшей составляющей культуры и науки.

Некоторые исследователи отличают рациональность и прежде всего научную рациональность от той или иной модели рациональности. «Именно тогда, когда научная рациональность интерпретируется как система регулятивных средств (законов, правил, норм, критериев оценки), принятых и общезначимых в данном научном сообществе, это понятие приобретает точное значение и методологическую значимость. Но эта интерпретация есть не что иное, как модель научной деятельности (в ее интеллектуальном, по преимуществу, аспекте) или методологический образ науки², т. е. важно

1 Фейерабэнд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 1986. С. 450.

2 Порус В. Н. Парадоксы научной рациональности и этики. – С. 272.

различать идеал научной рациональности и ее методологические модели. Одна модель от другой отличается некоторым набором признаков и правил, а переход от одной модели к другой выглядит нерациональным, поскольку правила перехода заранее не формулируются. Но этот якобы нерациональный переход объявляется рациональным с точки зрения общечеловеческой рациональности. «В этом парадокс рациональности. Подчинив свою деятельность (интеллектуальную или практическую) системе «априорных» критериев, субъект утрачивает ту рациональность, которая дает возможность критической рефлексии и ревизии любых систем и всяческих критериев. Его рациональность полностью растворяется в избранной (навязанной ему) системе. Но если все же он решится на пересмотр или даже на разрушение этой системы, попытается улучшить ее или заменить другой, он поступает безумно, иррационально. И это безумие, эта иррациональность – как раз и выражает рациональность, присущую ему как разумному существу! Любителям парадоксов, вероятно, придется по душе формулировка: субъект рационален тогда, когда он иррационален, и наоборот!»¹.

Идея различения моделей рациональности представляется перспективной, особенно в свете двойственности и долнительности теорий, парадигм, картин мира в гуманитарных науках. Ведь переходя от одного метода к другому (от квантитативного к качественному и наоборот), от одной теории или парадигмы к другой, переходя из одной картины мира в другую, исследователь фактически одновременно меняет модель рациональности. Насколько рационален этот переход и сама смена рациональности – вопрос другой. Он может решаться в вышеохарактеризованном духе. Он может не осознаваться исследователем и потом лишь получить рациональное освещение, как нередко бывает в истории науки. Возможно, переход не всегда рационален или всегда иррационален, осуществляясь по вдохновению, догадкам, интуиции, озарению, особой исследовательской чувствительности, которые всегда могут быть рационализированы задним числом. Но после перехода работа в другой модели будет не менее рациональна, чем в первой. Просто другая модель рациональна по другим основаниям. Она будет более адекватна исследовательской задаче: использовать жесткие или гибкие требования, каузальные или нарративные схемы объяснения,

1 Порус В. Н. Парадоксы научной рациональности и этики. – С. 273.

квантитативные или качественные методы и теории, определяться теми или иными ценностями и предпочтениями – сформулировать типичное, общее закономерное, или напротив, показать индивидуальное и единичное. Но в обоих случаях основные классические стандарты рациональности остаются нерушимыми: нельзя нарушать законы логики, мышление должно быть ясным и последовательным, а не путанным, организация знания быть систематичной, а не хаосом впечатлений.

Понятию моделей рациональности соответствуют современные представления о не столь жестких требованиях к научной рациональности. Иногда встречаются термины «мягкая», «нежесткая» «гибкая» рациональность. В целом имеется в виду отход от так называемой жесткой рациональности, т. е. от стандартов классической науки как абсолютных критериев рациональности. Иными словами это не отказ от принципов рациональности, а учет социокультурного и индивидуального контекстов научного исследования. Гибкие критерии связываются с учетом выбора пути исследования, оценки результата и т. д. Они зависят от цели исследования, от состава научного сообщества, особенно его лидеров, что придает гибкой рациональности изрядный налет субъективизма и релятивизма¹, но в то же время в значительной мере соответствует реальной практике научных исследований.

Фактически гибкие критерии предлагают уже критики неопозитивизма, выстраивая историческую модель науки. Так, у Т. Кун научное сообщество ответственно за приверженность парадигме и соответственно за данную модель рациональности. У И. Лакатоса позитивная эвристика как развитие жесткого ядра и особенно негативная эвристика как критика вспомогательных гипотез защитного пояса создают впечатление разных моделей рациональности, а защита собственных предпочтений жесткого ядра очень похожа на субъективные научные предпочтения. У С. Тулмина матрица понимания, корнями уходящая в психологические и социокультурные структуры сознания ученых, также смягчает требования жесткой рациональности. Все это явный отход от идеи незыблемой классической рациональности.

1 Порус В. Н. С. Тулмин: цена «гибкой» рациональности: О философии науки С. Тулмина // Философия науки. – Вып. 5. Философия науки в поисках новых путей. – М.: ИФРАН, 1999. – С. 228–246.

Термин «гибкая рациональность» приобретает распространение в современной литературе. «Такая гибкая рациональность дополняет «классическую» рациональность, так как демонстрирует соответствие индивидуальных стандартов рассуждений познающего субъекта определенным психологическим, мировоззренческим, методологическим «матрицам», не сводимым друг к другу, но делающим многомерным процесс познания¹.

Идее моделей рациональности соответствуют выделяемые М. Вебером четыре типа научной рациональности «рациональность как средство прогрессирующего научного логического мышления; рациональность как целесообразность человеческой деятельности; рациональность как соотносительность деятельности с некоторой системой ценностей; рациональность как нормативно-методологическая модель научного исследования»². Действительно, сохраняя основные черты научной рациональности, практика научных исследований их варьирует в соответствии с конкретными исследовательскими задачами.

Идея моделей рациональности в значительной степени согласуется и с формами интерсубъективности, выделяемыми К. Хюбнером в качестве показателей и констант рациональности, реализуемых в ходе коммуникаций. Хюбнер предлагает считать рациональными теории или концептуальные системы, а также способы поведения и деятельности, которые могли бы обеспечить продуктивную интеллектуальную и практическую коммуникацию. Рациональность в таких случаях обеспечивается интерсубъективностью, разновидности которой выявлены К. Хюбнером. К интерсубъективности относят: ясность и общее согласие относительно понятий и суждений (семантическая интерсубъективность), обоснованность суждений фактами и наблюдениями (эмпирическая интерсубъективность), логическую связность и последовательность (логическая интерсубъективность), воспроизводимость образцов действия или рассуждения (операциональная интерсубъективность), общепринятость норм и правил поведения или оценки (нормативная интерсубъективность). В этом случае рациональность трактуется настолько расширительно, что

1 Масалова С. И. Гибкая рациональность уплотнения научного знания: когнитивный аспект // Вестн. Томск. гоС. ун-та. – Философия: Социология: Политология. – 2010. – № 2 (10). – С. 32–45.

2 Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 722 с.

ни одна из форм интерсубъективности не является доминирующей или парадигмальной. Если рациональность – это многообразие форм интерсубъективности, то миф не менее рационален, чем наука, на чем уже давно настаивает известный «методологический анархист» П. Фейерабенд.

Недостаток трактовки рациональности как интерсубъективности можно усмотреть в том, что она оказывается зависимой от явно или неявно принятых конвенций данной культуры, научной дисциплины, конкретной парадигмы. Однако, как отмечалось выше, внерациональный характер тех или иных критериев рациональности не меняет саму рациональность.

Модели рациональности, смягчая жесткие требования классической рациональности, в целом сохраняют инвариантность многих норм и правил, поэтому можно утверждать, что они не противостоят научной рациональности.

Две тенденции в решении проблемы рациональности гуманитарной сферы. Поиски особенностей гуманитарного знания поставили наряду с проблемами предмета, метода, функций, целей гуманитаристики также и проблему рациональности гуманитарной сферы духовной и практической деятельности, ее результатов, например, гуманитарного знания, а также способов получения таких результатов. Относительно указанной проблемы существует множество точек зрения, которые тяготеют к двум основным тенденциям. Объединяет обе тенденции поиск рациональных оснований гуманитаристики и исключение иррациональной составляющей из гуманитарных наук как не совместимой с научностью.

В рамках первой тенденции можно объединить различные подходы от утверждения единой рациональности и отрицания их множества до признания особой специфической рациональности гуманитарной сферы в рамках лишь некоторого единства рациональности. Один из подходов, отождествляя рациональность с научной рациональностью, провозглашает единство научной рациональности, отрицая ее сущностные разновидности, в частности гуманитарную рациональность. Отрицание наличия гуманитарной рациональности часто связано с отрицанием специфики гуманитарных наук, поскольку, с точки зрения сторонников такой позиции, научное знание едино в плане метода, предмета, целей, функций, идеалов и норм. К. Поппер, например, категорически настаивал на том,

что «все теоретические или обобщающие, науки используют один и тот же метод, независимо от того, являются они естественными или социальными»¹.

Другие исследователи, признавая отличия гуманитарного знания от естественнонаучного в предмете, искали единые рациональные схемы объяснений². Третьи определяли рациональность гуманитарных наук через анализ структуры рациональных установок, лежащих в основе поступков исторических агентов³.

Однако отрицание гуманитарной рациональности может быть сопряжено и с признанием самостоятельности гуманитарных наук. «Определенная мера самостоятельности гуманитарных наук по отношению к естественным не подрывает единства научной рациональности»⁴. «Гуманитарной рациональности, как отдельно типа рациональности, существенно специфичного по сравнению с естественнонаучной рациональностью и тем самым нарушающего и опровергающего тезис о единстве человеческого разума, не существует»⁵. Главной целью сторонников единой рациональности является преодоление опасного для подлинной науки релятивизма, который оказывается неизбежным следствием признания многообразия рациональностей.

Другой подход в русле первой тенденции, напротив, декларирует в рамках сходства многообразие разновидностей рациональности, ее типов и видов, в частности наличие гуманитарной рациональности, не противопоставляя, однако, ее другим разновидностям. В рамках этого подхода, сомневающегося в единственности рациональности, хорошо осознана эмпирически констатируемая неоднородность рациональности как специфического способа отношения к миру и деятельности в нем. Гастон Башляр одним из первых выразил сомнение во всеобщем характере одинакового

1 Попшер К. Ниццета историцизма // *Вопр. философии*. – 1992. – № 10. – С. 42.

2 Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // *Философия и методология истории*/под ред. И. С. Кона. – М.: Прогресс, 1977. – С. 72–93.

3 Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // *Философия и методология истории*. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31–77.

4 Автономова Н. С. Рациональность: наука, философия, жизнь // *Рациональность как предмет философского исследования*. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 70.

5 Там же. – С. 69.

рационализма, констатируя региональный рационализм, специализирующийся соответственно специализации науки и социально-историческим особенностям¹. Даже отдавая должное критике релятивизма и декларируя единство многообразия рациональности в общем, все же подразумевают ее специфические разновидности. Многие авторы различают, например, исторические типы рациональности. «Рациональность, являющаяся фундаментальной характеристикой познания и социокультурной реальности в целом, обнаруживает свой подвижный, меняющийся характер как историческая форма разума. Современная прогрессивная философская мысль все более склоняется к убеждению в многообразии форм рациональности, их исторической обусловленности, определяемой конкретной личностью и особенностью эпохи»². Теоретическое знание порой соотносят со специализированной рациональностью как особой разновидностью рациональности, присущей той или иной специализированной форме духовной деятельности, различая внутри последней науку, искусство, нравственность, в которых специализирующаяся рациональность обеспечивает быстрый прогресс этой частной духовной деятельности³. Другие авторы различают «закрытую» и «открытую» рациональности. Закрытая рациональность представляет собой «деятельность внутри принятой сетки познавательных координат, задающей определенное концептуальное пространство», это деятельность в рамках известной парадигмы, внутрипарадигмальная деятельность. Это может быть парадигма в собственном смысле Т. Куна, но может быть и деятельность в рамках какой-либо теории, концепции, гипотезы и т. д. Во всех этих случаях – это работа в некоем закрытом концептуальном пространстве, очерчиваемом содержанием некоторых утверждений, выступающих в данном познавательном контексте как исходные, не подлежащие критическому анализу⁴. Открытая рациональность предполагает способность выхода за пределы фиксированной

1 Башляр Г. Новый рационализм. – М.: Прогресс, 1987.

2 Новиков А. А. Рациональность в ее истоках и утратах // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 32.

3 Никитин Е. П. Спецрациональность // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 56.

4 Швырев В. С. Рациональность в спектре ее возможностей // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 10–11.

готовой системы исходных познавательных координат, за рамки жестких конструкций, ограниченных заданными исходными смыслами, абстракциями, предпосылками, концептуальными ориентирами и пр. «Необходимым моментом «открытой» рациональности, который отличает ее от «закрытой», является установка на критический рефлексивный анализ исходных предпосылок концептуальных систем, лежавших в основе данной ее познавательной позиции, определяющей ее «парадигмы»¹. Традиционным стало различение классической, неклассической и постнеклассической рациональности в науке².

Представления о разновидностях рациональности складывались во многом благодаря изучению социокультурного контекста научной рациональности и особенно благодаря исследованию гуманитарного знания. «В связи с этим выявлен новый тип рациональности, который может быть назван социокультурным»³. Понимание рациональности в данном случае основывается на антропологических, особенно ментальных, характеристиках субъекта и социально-культурных условиях его деятельности. Тогда рациональность предстает как понятие, отражающее границы конструктивной человеческой деятельности, лежащие в самом человеке и в создаваемом им мире⁴.

В рамки подхода, провозглашающего многообразие рациональностей, легко вписывается предположение о специфике рациональности гуманитарной сферы по сравнению с рациональностью естественнонаучной. Однако такой подход небезгрешен: превращать многообразие рациональностей в идеал науки значит разрушать ее, следовательно, надо преодолевать многообразие рациональностей как видимость или временный недостаток и искать пути к обоснованию единой рациональности, что опять же плохо согласуется с реальной историей науки и с особенностями гуманитарного знания.

Вторая тенденция подчеркивала другую особенность: гуманитарное знание существенно отлично от естественнонаучного

1 Швырев В. С. Рациональность в спектре ее возможностей. – С. 12.

2 Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. – Гл.10.

3 Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности. – М.: РОС-СПЭН, 1997. – С. 17.

4 Касавин И. Т., Сокулер З. А. Рациональность в познании и практике: крит. очерк/отв. ред. В. А. Лекторский. – М.: Наука, 1989. – С. 67–84.

и пользуется специфическими концептуальными установками и средствами познания и представления знаний. Причем специфичность усматривается в признаках, на первый взгляд не совместимых: от иррациональности до особых стандартов рациональности гуманитарных наук.

Усилиями романтизма как художественного направления и специфического видения мира, сомнениями в возможности рационального анализа культуры от И. Гердера до О. Шпенглера, концепцией специфичности гуманитарных наук как наук о духе И. Дройзена, В. Дильтея, Г. Зиммеля, Ф. Шлейермахера и др. утверждались психологизм в онтологическом обосновании предмета гуманитарных наук, интуитивизм и «вживание» в методологии гуманитарного знания, антипозитивизм в гносеологии и эпистемологии. Все это создавало известный налет иррациональности на гуманитарных науках. Подобные идеи оживились во второй половине XX в., особенно в связи с разработкой проблемы интерпретации. Г. Гадамер показал, что исходные позиции для интерпретации уходят в необозримую, не поддающуюся рациональной реконструкции основу изначального дотеоретического понимания мира, укорененную в традиции, языке, общности жизни. К этому изначальному запасу понимания существенно ближе не естествознание, а именно гуманитарная сфера: литература, искусство, мораль, исторические сказания, жизнеучения. Дальнейшие иррационалистические следствия были развиты Р. Рорти, Ж. Деррида и др., например, выдвинута идея о несоизмеримости интерпретаций, аналогичная тезису о несоизмеримости теорий, сформулированному в методологии науки на основе анализа естественных наук, в частности, Т. Куном. Если продолжить рассуждения Куна о парадигмах как несоизмеримых стандартах различных рациональностей, то можно предположить существование различных гуманитарных парадигм, не соизмеримых друг с другом и с естественнонаучными, против чего возразил бы Поппер как сторонник единой рациональности.

В рамках второй тенденции, доказывающей специфичность гуманитаристики, развиваются и различные рационализирующие стратегии. Например, предлагается, учитывая ценностную насыщенность гуманитарных наук, отыскивать не только явные, но и неявные оценочные слова в любом тексте, например «ленивый» как оппозиция «индустриальному», чтобы избежать скрытого оценочного

давления¹, подчеркивается, что интерпретаторы вынуждены соблюдать стандарты рациональности, поэтому всякая интерпретация является рациональной, а надежная интерпретация достигается лишь при рациональной реконструкции всех условий, в которых интерпретируемое высказывание претендует на значимость², доказывается, что анализировать культурные феномены должна не экспериментальная наука, занятая выявлением законов, а интерпретативная, занятая поисками значений³.

Учитывая аргументацию, достаточно убедительную в обеих тенденциях, представляется плодотворным не выбор одной из них, а их сосуществование по принципу дополнительности в духе методологических идей Н. Бора. Важным шагом в этом направлении является различие объектной и субъектной рациональности как дополнительных.

Таким образом, можно констатировать следующее.

1. Классическая научная рациональность включает жесткие требования: ясность мышления и точность его средств выражения, соответствие правилам логики, обоснованность, теоретическая и системная организация знания, предполагающая формулировку законов, применение математического аппарата и количественных методов, возможность формализации знания, каузальную модель объяснения, предсказательные возможности.

2. Критерии рациональности порой имеют внерациональную природу. Нерациональное и рациональное не всегда являются антиподами, они вполне могут выступать дополняющими сторонами человеческого духа как единого целого.

3. Различение моделей рациональности существенно в свете двойственности и долнительности теорий, парадигм, картин мира в гуманитарных науках и соответствует современным представлениям о «нежесткой» «гибкой» рациональности, которые связываются с учетом социокультурного и индивидуального контекстов научного

1 Hare R. M. *Moral Thinking*. – Oxford: Clarendon Press, 1981. – P. 16–17.

2 Хабермас Ю. *Моральное сознание и коммуникативное действие*. – СПб., 2000. – С. 51.

3 Гирц К. *Насыщенное описание: в поисках интерпретативной теории культуры* // Антология исслед. культуры. – Т. 1. *Интерпретации культуры*. – СПб.: Университ. кн., 1997. – С. 172.

исследования и его целей, состава научного сообщества и его конвенций, выбора пути исследования, оценки результатов.

4. В поисках рациональных оснований гуманитаристики обнаруживаются две тенденции: первая утверждает единство научной рациональности, отрицая специфическую гуманитарную рациональность, вторая провозглашает особые стандарты рациональности гуманитарных наук.

6.2. СУБЪЕКТНАЯ И ОБЪЕКТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Как уже отмечалось, в различных сферах духовной деятельности реализуются два способа отношения к миру, водораздел между которыми можно провести по линии «теплого», субъективного, заинтересованного, личностного, интенционального отношения, в отличие от «холодного», объективного, незаинтересованного, безличностного, неинтенционального отношения¹. Потребность в различении двух способов отношения к миру возникла из осознания ограниченности объективистской, «безсубъектной» картины мира, исключающей субъекта², потребности учесть общечеловеческие ценности и культурные смыслы субъекта³, необходимости подхода, основанного на диалоге человека (субъекта) и мира⁴ и т.д. «Холодное» и «теплое» отношения являются комплементарными⁵. Комплементарными можно представить также монологический и диалогический, онтологический и аксиологический, объектный и субъектный и т.п. подходы. Указанные два способа отношения или подхода можно представить как две разновидности рациональности. Тогда первый будет соответствовать субъектной, второй – объектной рациональности. Различение в гуманитарном знании субъектной и объектной рациональности и демонстрация их взаимодополнительности актуализируется тем

- 1 Цофнас А. Ю. Комплементарность мировоззрения и миропонимания. – С. 10–13.
- 2 Афанасьев А. И. Картина мира гуманитарных наук // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. пр./відп. ред. Я. В. Шрамко. – Вип. 7. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – С. 191–200.
- 3 Ильин В. В. Теория познания: Введение: Общие проблемы.
- 4 Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера. – С. 20.
- 5 Цофнас А. Ю. Комплементарность мировоззрения и миропонимания. – С. 16–17.

обстоятельством, что проливает дополнительный свет на спорный вопрос, давно обсуждаемый в методологической литературе: научная рациональность едина или существует особая гуманитарная рациональность, существенно отличающаяся от естественнонаучной?

Различение «теплого», субъективного, интенционального и, соответственно, «холодного», объективного, неинтенционального отношений позволяет разграничить в гуманитаристике две сферы научных знаний. С одной стороны, выделяется сфера строгой, традиционной науки с жесткими критериями научной рациональности, типичными научными теориями и парадигмами, объяснительными функциями, количественными оценками, квантитативными методами, «холодной» картиной мира, общенаучными идеалами и нормами, что обеспечивается объектным подходом, позволяющим там, где можно и нужно исключить влияние субъекта-исследователя и исследуемого объекта-субъекта. Последнее отнюдь не отменяет объективный учет ответных реакций исследуемых объектов-субъектов, например, в психологии или социологии, возможной диалогичности, текстуальности, нарративности и т. д., но приоритет отдается истинности, а не понятности, отражательности, а не конструктивности, монологичности, а не диалогичности.

С другой стороны, выделяется вторая сфера гуманитаристики с нежесткими, слабыми критериями рациональности, нестрогими теориями, гибкими многослойными парадигмами, интерпретативными и описательно-конструктивными функциями, качественными оценками, квалитативными подходами, «теплой» картиной мира, специфическими гуманитарными идеалами и нормами, что обеспечивается учетом заинтересованной позиции субъекта-исследователя, его ценностными ориентациями и конструктивными возможностями, полным учетом «возмущающего» влияния исследуемых объектов-субъектов, с акцентом на диалогичность, текстуальность, нарративность исследуемого материала. Приоритет отдается понятности, в частности, взаимопониманию исследователей и исследуемых, а не истинности, а также конструктивности, а не отражательности, диалогичности, а не монологичности. Поскольку вторая сфера акцентирует внимание на субъекте, личности, она может быть названа субъектоведением, где «-ведение», а не «-логия» подчеркивает отход от чрезмерно жестких применительно к данному материалу общенаучных стандартов, но полное соответствие рациональным нормам,

с учетом того, что рациональное и научное не одно и то же. В этой второй сфере гуманитаристики особенно отчетливо проявляются специфические черты гуманитарного знания.

Различение двух сфер, а, следовательно, подходов, можно проиллюстрировать на примере из исторической науки. Объектный подход заключается в описании исторических событий в соответствии с документами, хрониками, хорошо проверенными, «объективными», свидетельствами, сводящих к минимуму нарративный характер свидетельств или делающий его прозрачным. При этом, естественно, нельзя исключить влияние принятой исследователем картины мира, исторической исследовательской парадигмы и других конструктивных влияний субъекта-исследователя, но упор делается на объективные факты, возможно только кажущиеся таковыми, и на интерсубъективный характер парадигмы, картины мира и т. п. Мнения, верования, предрассудки исторических персонажей, их понимание событий освещены фактами и современным пониманием той эпохи, которое известно исследователю, например через парадигмы.

Субъектный, интенциональный подход в рамках субъектоведения подразумевает, прежде всего, описание интенций тех людей, которые жили в описываемый период, чтобы прошлая эпоха раскрылась через их намерения, чувства, верования, заблуждения, предрассудки, т. е. не только через то, что они делали, но и через то, о чем они думали, что чувствовали, во что верили. Не сбиться на объектный подход, остаться верным интенциональному подходу требует большого искусства и глубоких знаний, «вчувствования» в прошлую эпоху. Формально подобное историческое описание похоже на литературное, но, по сути, является научным, с соблюдением соответствующих требований рациональности.

Указанным двум сферам и подходам соответствуют объектная и субъектная рациональность.

Объектная рациональность подразумевает достаточно жесткие критерии: законы логики, четкие правила и образцы познавательных действий, каузальные схемы объяснения, научные законы, систематичность и др. требования науки. Перечень этот достаточно длинный и в перспективе уходит в бесконечность, поскольку идеалом такой рациональности является Абсолютный Разум. В этом смысле объектная рациональность тяготеет к универсальности, хотя в своем реальном функционировании рациональность далека от этого идеала.

В то же время объектная рациональность не тождественна научной. С одной стороны, в научной рациональности присутствуют явные и неявные ценностные установки и личностные факторы, от чего объектная рациональность стремится избавиться. С другой стороны, объектная рациональность подразумевает некоторые венаучные феномены духа, например, апелляцию к разуму в теологии, искусстве, обыденном сознании, здравом смысле и т. д., которым придается бес- субъектный характер. Объектная рациональность есть своеобразная установка сознания: стремление устранить влияние субъекта, представить рассматриваемое явление таким, каким оно есть «на самом деле». Объектная рациональность может быть нацелена на любые феномены внешнего мира, человеческой деятельности, психики, культуры, но только под одним углом зрения – рассматривая их как особые предметы, которые подчиняются объективным законам. А там, где субъект не может сконструировать объективный предмет и представить его «естественную жизнь», заканчиваются притязания объектной рациональности, и проходит ее граница.

В объектной рациональности весьма затруднительно выявить специфику гуманитарного знания, и тезисы о единой рациональности, единых критериях научности, тождестве рациональности и научности и т. п. здесь вполне уместны. Это и служило основанием для отрицания особых методов и познавательных средств в гуманитарных науках и для ориентации на естественнонаучные идеалы, к которым гуманитарные науки якобы должны стремиться, чтобы конституироваться в качестве полноценных наук. Подобная ориентация принесла свои положительные плоды. Ряд социологических, исторических, лингвистических и других дисциплин соответствует самым строгим критериям научности.

В то же время духовная активность субъекта не всегда ориентирована на идеалы строгого научного познания, внешне-предметные действия и их объективированные результаты не являются только опредмечиванием знаний. Вместо установки сознания на устранение влияния субъекта может иметь место противоположная установка на включение субъекта в рассматриваемое явление или просто не быть таких установок. Подобные феномены духовной и практической деятельности вряд ли попадают автоматически в разряд иррационального, хотя под единый идеал рациональности их невозможно подвести. Но в некотором смысле рациональность может хотя бы

потенциально покрывать многие, если не все формы духовной активности, в т. ч. вненаучные. Во-первых, последние могут быть рационально описаны и объяснены в тех или иных теориях. Во-вторых, они, как правило, соответствуют некоторым культурным или социальным нормам, природа которых, в конечном счете, рациональна. Даже гнев или иные, на первый взгляд, абсолютно иррациональные эмоциональные всплески духовной деятельности индивидов или групп осуществляются в некоторых культурных нормах и, уж во всяком случае, описываются и объясняются определенным рациональным образом. В-третьих, сами индивиды, осмысливая свои многообразные духовные проявления на сеансах психотерапевта, в дневниках и автобиографических очерках, в письмах и устных повествованиях облекают их в определенные рациональные формы. Все это порой не относят к научной рациональности, поскольку последняя связывается с объектной рациональностью, требованиям которой выше-названные проявления духовности действительно не соответствуют. Однако в рамки субъектной рациональности они укладываются.

Часто рациональность неправомерно соотносят лишь с познавательной деятельностью человека. Но, с одной стороны, поскольку она органически вплетена во все способы духовной деятельности человека, то все они должны считаться в той или иной мере рациональными. С другой стороны, если мы выделяем познавательную составляющую, особенно науку как ее образец, то тогда иррациональным будем вынуждены назвать огромный массив духовно-практического освоения мира, что не соответствует образу *homo sapiens*. Поэтому логичнее допустить рациональность не только внутри, но и вне познавательной сферы деятельности. Такую рациональность также следует отнести к субъектной рациональности. Она лишь частично представлена в научно-теоретическом способе духовного освоения и познания мира и самого человека, где доминирует объектная рациональность. Между прочим, философия, являющаяся собой специфический вид духовной деятельности, не совпадающий полностью с наукой, сочетает в себе объектную и субъектную рациональность.

Субъектная рациональность превалирует в художественном, религиозном, моральном и других подобных отношениях к миру. Вряд ли можно сказать, что художественный образ абсолютно иррационален, особенно по форме функционирования, когда он

продуманно воплощается на полотне или в литературном тексте. Если по происхождению образ, мнение, верование кажутся иррациональными, то и многие научные понятия, законы, теории, особенно в период обучения, принимаются на веру, следовательно, если быть последовательными, их надо считать иррациональными хотя бы по способу появления в голове ученого. Вообще современный человек не может обосновать весь объем информации, с которой взаимодействует, и вынужден многое принимать на веру, на что обращает внимание Ю. Хабермас, называя это явление «новой непрозрачностью» и рассматривая его как существенный отход от просвещенческого разума. Однако проще такой феномен соотнести с субъектной рациональностью. Тем более – по способу функционирования в культуре и понятия, и верования, и образы вполне рациональны, т. к. подчиняются определенным нормам, обосновываются. То же касается религиозных догм, мыслительные операции с которыми в средневековых диспутах оттачивали критерии рациональности.

Субъектная рациональность многообразна, охватывает довольно пестрый спектр духовной сферы деятельности: от науки до обыденности, от уникального до всеобщего, от знания до ценности, от обоснования до верования. Иррациональными их иногда называют лишь с позиций жесткой научной рациональности. Именно констатация феноменов субъектной рациональности служит поводом для отрицания единой рациональности, для противопоставления гуманитарной сферы духа естественнонаучной, для поиска особых, специфических методов и средств гуманитаристики.

Не претендуя на полноту описания, отнесем к субъектной рациональности пять наиболее часто встречающихся проявлений духовной деятельности, расположенных в порядке удаления от объектной рациональности.

Во-первых, имеется в виду фиксация нетипичного. В ряде случаев невозможно абстрагироваться от места, времени, ситуации и прочих специфичностей, «единичностей» при изучении человека, его деятельности или мышления и выйти на абстрактно-рациональные, идеальные конструкты. Это встречается в исторических исследованиях, когда существенным оказывается изучение традиций данной семьи, отдельной фабрики или поместья, что нередко ближе к литературе, чем к науке, но без чего не будет сколько-нибудь полного представления изучаемой эпохи. Аналогичные примеры можно

обнаружить в психологии при нестандартном поведении индивида или группы, в литературоведении и художественной критике, сталкивающихся с уникальным талантом, и т. д.

Во-вторых, субъектная рациональность предполагает учет личностного и вообще субъективного при ссылке на разумность. Если для объектной рациональности степень объективности гуманитарного знания, как и вообще всякого знания, прямо пропорциональна степени его удаленности от субъекта, то для субъектной рациональности мера личностной вовлеченности прямо и непосредственно коррелирует с мерой объективности и точности гуманитарного знания, например если целью исследования является точная характеристика исторического персонажа или деятеля искусства. Кроме того, установлено, что субъективное понимание исторических событий или социальных фактов участвует в построении самих фактов, в частности, в различных формах нарратива¹ и существенно при анализе любого текста². К тому же субъектная рациональность предполагает учет изменений исследуемого субъекта в ходе диалога с субъектом-исследователем³. Очевидно, что стандарты жесткой объективной рациональности тут не работают.

В-третьих, к субъектной рациональности можно отнести ценностные представления, играющие явную роль, например, в процессе художественного освоения действительности и не столь явную роль в научном творчестве. В содержании сознания всегда присутствуют сплав знаний и ценностей, особенно мировоззренческих. Ценностно-мировоззренческие представления и оценочные суждения ученого не входят непосредственно в состав порождаемого знания, они остаются в контексте открытия, который опускается при экспликации или трансляции научного знания. Можно вспомнить ссылки Ньютона на Бога, которые не вошли в формулировку его законов. В этом ряду можно упомянуть важнейшую ценность науки, как правило, не осознаваемую учеными: особую структуру научных текстов. Они говорят как бы от имени природы, благодаря лингвистическим структурам, делающим научные тексты убедительными. Р. Харре обратил внимание на аналогию риторических

1 Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы. – С. 33.

2 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: в 2 т. – Т. 1. – К.: Юніверс, 2000. – С. 459–460.

3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – С. 383.

структур ньютоновских сочинений по оптике и эвклидовских работ по геометрии при всем различии их содержания, методов, установок¹. С точки зрения объектной рациональности вышеперечисленные ценности выглядят иррациональными, по крайней мере, часто не осознаются исследователями. Однако их рациональная природа проявляется при сознательном их использовании и при прояснении их роли в науке. В этом плане гуманитарному исследованию на предмет обнаружения субъектной рациональности могут подвергаться и естественнонаучные тексты.

Ценностные представления преобладают в жизнеучениях, среди которых значатся самые разнообразные: философские, теологические, обыденные, – несущие в себе ту или иную прагматическую интенцию. Хотя некоторые из них можно представить в виде рационализированных этических концепций, похожих на теории и обозначенные как истинные или ложные, все же главное в них – ценностные компоненты, которые нельзя свести к строгому научному знанию. В то же время вообще вывести их за рамки рациональности невозможно. Им свойственна важнейшая упорядочивающая и смыслообразующая функция, особенно в традиционных обществах. Отцовские наставления играли роль, сходную не только с ролью юридических законов, но и с ролью фундаментальных законов природы, не выполнять которые нельзя. Соответственно деятельность в русле подобных установок является рациональной. Очевидно, что такая рациональность отличается от научной, ибо может не осознавать законов логики и даже порой не следовать им, не отличаться систематичностью или не соблюдать другие отдельные требования жесткой объектной рациональности. В то же время здесь обнаруживается, к примеру, ясность, воспроизводимость и общеприемлемость определенных образцов деятельности, общее согласие относительно правил поведения, что соответствует, в частности, операциональной и нормативной интерсубъективности как формам проявления рациональности².

В-четвертых, субъектная рациональность охватывает индивидуальные мнения, впечатления, особенно злободневные, в журналистике, литературной, художественной, музыкальной критике. Например, в литературоведении можно различать исследования,

1 Харре Р. Социальная эпистемология: передача знания посредством речи. – С. 53.

2 Хьюбнер К. Истина мифа. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 220–222.

более близкие к науке и более отдаленные от нее. Первые тяготеют к объектной рациональности, если там соблюдаются критерии объективности, экспериментальной проверки, воспроизводимости опыта и др. Вторые – к субъектной, если там преобладает не позиция ученого, а мнение профессионала, просто делящегося впечатлениями на злободневную тему, не заботясь об их соответствии Абсолютному Разуму, Вечной Истине, Полной Объективности. Часто идеальные конструкции трудно или невозможно построить из-за такой особенности гуманитарного знания, как большая сложность изучаемых объектов, по сравнению с естественнонаучными, поэтому «впечатления» оказываются единственно возможными, а то и более точными или более понятными, чем громоздкие и противоречивые теоретические конструкции.

В данном своем проявлении субъектная рациональность тесно переплетена с чувствами, переживаниями, соответствующими внутренней позиции субъекта и эмоционально окрашивающими его размышления и вообще интеллектуальную деятельность. В частности, во многом из-за этого в гуманитарных исследованиях обнаруживается более сложная, чем в естествознании, ситуация наблюдения: очень часто она оказывается той внутренней позицией, от которой трудно, а порой невозможно, отвлечься. Требуется дистанцирование, как временное, так и пространственное. Последнее обстоятельство позволяет понять, почему далекую от нас культурную ситуацию нам легче освоить, чем недавнюю или современную. Здесь важны как минимум два момента. Во-первых, современность вызывает больше эмоций, переживаний, больше задевает непосредственные сиюминутные интересы. Во-вторых, далекое прошлое легче упростить, абстрагировавшись от несущественного, иногда только кажущегося таковым. В современной ситуации отделить существенное от несущественного, эмоциональное от рационального значительно труднее. Хотя в общем виде субъектная, как и объектная, рациональность понимается как апелляция к доводам рассудка, а не к эмоциям, и к intersubъективным положениям, а не к личным, особенно непрофессиональным, мнениям, но в конкретных социокультурных ситуациях личные мнения могут иметь общезначимый контекст, а чувства и эмоции – вписываться в некоторые культурные нормы, в особенности, когда провоцируются соответствующей логической аргументацией. Так возникают праведный гнев, истинная скорбь,

высшие чувства, которые не покрываются ни рамками иррациональности, ни рамками объектной рациональности.

В-пятых, субъектная рациональность соотносится с представлениями, включающими социально-политическую, нравственно-эстетическую и другую заинтересованность субъекта: групповую, национальную, общечеловеческую. Примером могут служить идеологии, представляющие свой частный интерес как общезначимый. Общезначимой она и выглядит для сторонников данной идеологии. Идеологии, в частности, соответствуют всем пяти выделенным К. Хьюбером¹ основным формам интерсубъективности, в которых проявляет себя рациональность. Действительно, в любой идеологической системе налицо ясность и общая приемлемость понятий и построенных из них суждений, т. е. семантическая интерсубъективность. Имеет место обоснованность чьих-либо высказываний эмпирическими фактами, бесспорными для всех участников дискуссии, т. е. эмпирическая интерсубъективность. Обнаруживается обоснованность высказываний логическими выводами, т. е. логическая интерсубъективность. Бросается в глаза ясность, воспроизводимость и общеприемлемость определенных образцов деятельности, т. е. операциональная интерсубъективность. Наконец, присутствует ясность, понятность и общее согласие относительно правил поведения, т. е. нормативная интерсубъективность. Кстати, это дает основания считать идеологию ненаучной по одним признакам и одновременно научной – по другим.

Выделение субъектной рациональности и ее отличие от объектной позволяет расширить сферу рациональных оснований гуманитарного знания, определить специфику гуманитарного познания, в котором решающую роль играет субъектная рациональность, обнаружить способность гуманитаристики создавать, с одной стороны, строго научное знание по типу естественнонаучного на основе объектной рациональности, с другой – менее строгое знание на основе субъектной рациональности.

Таким образом, можно констатировать.

1. Объектная рациональность – своеобразная установка сознания на устранение влияния субъекта, на представление рассматриваемого объекта таким, каким он есть «на самом деле», она подразумевает жесткие критерии классической науки. В объектной рациональности практически не выявляется специфика гуманитарного знания, отчего

1 Хьюбер К. Истина мифа. – С. 220–222.

уместны тезисы о единой рациональности и единых критериях научности, которым подчиняется гуманитарное знание.

2. Субъектная рациональность – установка сознания на включение субъекта в рассматриваемое явление, она подразумевает нежесткие критерии науки и превалирует в художественном, религиозном, моральном и других подобных отношениях к миру. Констатация феноменов субъектной рациональности служит поводом для отрицания единой рациональности, для противопоставления гуманитарной сферы духа естественнонаучной, для поиска особых, специфических методов и средств гуманитаристики.

3. Субъектная рациональность предполагает фиксацию нетипичного, учет личностного и субъективного, ценностные представления, индивидуальные мнения и впечатления, социально-политическую, нравственно-эстетическую заинтересованность субъекта.

4. Понятия объектной и субъектной рациональности позволяет расширить сферу рациональных оснований гуманитарного знания, соотнести специфику гуманитарного познания с субъектной рациональностью, обнаружить способность гуманитаристики создавать, с одной стороны, строго научное знание по типу естественнонаучного на основе объектной рациональности, с другой – менее строгое знание на основе субъектной рациональности.

6.3. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

Творчество и рациональность – два важнейших компонента человеческой духовной и практической деятельности. Они всегда сопутствовали человеку, взаимодействуя между собой, противореча и дополняя друг друга, но в любом случае олицетворяя те сущностные черты человеческого духа, которыми человечество почти всегда гордилось. Особенно тесно их связь выявилась в начале становления современной научно-технической цивилизации, ознаменовавшем особое активно-преобразовательное, творческое отношение человека к миру, сопутствующим фактором которого стала научная рациональность, до сих пор остающаяся в центре философского анализа.

С тех пор как творчество признано прерогативой свободной индивидуальности, оно предполагает прежде всего реализацию художественных, научных, изобретательских и иных потенций человека. Это

влечет создание новых, не данных природой объектов, т. е. сотворение, собственно творчество. Однако оно не является актом произвола, хотя включает импульсивные, интуитивные, бессознательные и иррациональные моменты, не всегда совпадающие с рассудочно-рациональной последовательностью, логичностью и другими требованиями разума. Всякое творчество осуществляется в рамках определенной системы ценностей, детерминирующей модель поведения субъекта творчества в определенный исторический период. С одной стороны, система ценностей включает в себя неявные, неотрефлексированные и даже иррациональные установки, которые до некоторой степени проявляются лишь последующими поколениями исследователей. С другой стороны, в данную систему ценностей входят четко осознанные идеалы, как доведенные до предела ценностные ориентиры, и нормы, ставшие таковыми, когда ценностные требования приобрели достаточно устойчивый характер, получив рациональное выражение.

Тот факт, что о техническом творчестве древнегреческих механиков известно гораздо меньше, чем о творчестве философов и ученых, объясняется именно ценностными установками античности, некоторые из которых выявила философия: технические изобретения как относящиеся к преходящему чувственному миру менее значимы, чем знание сущего, причисляемое к вечному идеальному миру подлинного бытия. Недоверие к человеческому творчеству в эпоху средневековья объяснялось тем, что в рамках христианской системы ценностей творчество приписывалось Богу, а подражание ему могло быть расценено как дьявольское передразнивание со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этим, в частности, объясняется длительный период недоверия к новшествам в массовом сознании, нравственное осуждение творчества, осуществляемое человеком, если не считать творчеством создание самой христианской системы ценностей, что, естественно, не являлось предметом анализа.

Лишь в период Возрождения, когда человек стал считать творцом самого себя, потеснив Бога в своей ценностной картине мира и растворив его в природе, человеческое творчество поднимается на небывалую высоту и получает рациональное обоснование. Позднее творчество начинает давать существенные практические результаты и распространяется на все виды деятельности от искусства до техники, когда техник (искусник) становится инженером (творцом), и от политики до науки, когда все виды творчества онаучиваются, а лидером

становится научно-техническое творчество с потребительским отношением к природе, обществу и человеку. Поэтому научное творчество само становится ценностным ориентиром, задает эстетические и нравственные нормы, фетишизируется и из средства достижения цели превращается в цель. В силу этого техническое и научно-техническое творчество долгое время было практически вне нравственной критики, подчиняясь собственным ценностным критериям, среди которых доминировали экономичность, устойчивость, производительность, а порой сюда подключались политические, бюрократические, корпоративные амбициозные мотивы, стиравшие грань между творчеством и производом. Творческое отношение к делу и вообще к жизни до сих пор считается едва ли не важнейшей характеристикой специалиста и личности, но мало кто задумывается о недостатках и опасности безудержного творчества и необходимости осознания его пределов.

С возникновением научного осмысления мира рациональность выступила не только как ценность науки, но и как культурная ценность, определившая многие нормы человеческого мышления и поведения. Рациональность оказалась и одним из главных ценностных ориентиров творческой деятельности человека, особенно в науке. Однако XX век заставил людей опасаться и порой стыдиться ряда проявлений творчества и рационализма, поставив вопрос о границах творчества и рациональности и обнажив проблему их соотношения.

Проблема рациональности, не уходя с философского горизонта, обычно актуализировалась в кризисные и переломные исторические моменты. Неслучайно интерес к разуму и социальному творчеству обостряется у французских просветителей – идеологов буржуазной революции, у российских революционеров-демократов и марксистов, готовивших революцию в России, а также в современных условиях в связи с необходимостью решения глобальных проблем как способа преодоления кризиса цивилизации и сохранения человечества.

Как уже указывалось, среди исследователей нет полного единства относительно определения рациональности¹, ее трактовок и оценок².

1 Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность. – М.: Наука, 1988. – 287 с.; Йолон П. Ф., Крымский С. Б., Парахонский Б. В. Рациональность в науке и культуре. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.; Касавин И. Т., Сокулдер З. А. Рациональность в познании и практике. – 192 с.

2 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – С. 450.

Под рациональностью часто понимаются определенные принципы, формы и способы мышления, поскольку в истории мысли преобладало гносеологическое направление исследования разума. В силу того, что рациональное начало в человеческом сознании обладает рядом возможностей, фиксация некоторых из них позволила выделить две формы рационального мышления: рассудок и разум. Они различаются уже Николаем Кузанским, но разрабатываются Кантом и Гегелем.

У Канта рассудок означает способность мыслить путем образования понятий или суждений по определенным правилам и находить их в явлениях¹. Гегель указывал на систематизирующую, упорядочивающую функцию рассудка, который характеризуется определенностью, четкостью, последовательностью рассуждения². Разум, по Канту, в отличие от рассудка, создает принципы и объединяет многообразное в объекте посредством идей³. Гегель понимал разум как способность выходить за рамки наличных «определений мысли», перестраивать саму систему исходных установок познавательного отношения к миру, развивать и совершенствовать их систему, тогда как рассудок – это мышление, действующее всегда в заданной системе исходных координат. Разум, по Гегелю, – это высшая форма рациональности, связанная с возможностью постоянного творческого пересмотра исходных установок. Принципиально важным является здесь указание на возможность творческого развития исходных установок. Существенно, что деятельность разума осуществляется в неразрывной связи с работой нравственного и эстетического сознания, также являющегося носителем творчества. Подчеркивая творческую функцию разума, классики не делали этого относительно рассудка, но в то же время не отрицали его творческой природы, просто рамки этого творчества были четко ограничены.

В большом спектре современных значений понятия рациональности можно обнаружить инвариант, включающий правила осмысления объектов, принципы их объяснения, истолкования, систематизации, способы доказуемости, выводимости, организации знания, принципы и нормы построения теорий и т. п. Сложились даже, хотя

1 Кант И. Критика чистого разума. – Мн.: Лит., 1998. – С. 162, 657, 860.

2 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. – М.: Мысль, 1974. – Т. 1. – С. 132.

3 Кант И. Критика чистого разума. – С. 657–658, 909.

это и звучит парадоксально, типичные образцы научного творчества, например, способы построения теорий, хотя результат творчества должен быть уникальным. А попытки построить теорию творчества, в частности, теорию решения изобретательских задач, в основе которой лежит алгоритм решения таких задач¹, казалось бы, не только лишают творчество ореола не постижимой для разума таинственности, но и превращают его в рассудочно-рациональную деятельность. То же самое можно услышать и о процедуре современного технического творчества в силу его большой технологичности.

Нетрудно увидеть здесь близость с кантовско-гегелевским пониманием рассудочной формы мышления. В сознании ряда исследователей это породило представление об ограниченности творческих потенций или даже их отсутствии в рациональном способе отношения к миру, что в свою очередь дало повод противопоставлять рационализм и творчество. Например, Н. Бердяев увидел в кантовской рациональности серьезный симптом болезни творчества, ее трагедию². Отвлекаясь от понимания творчества Бердяевым, отметим, что если рациональность и имеет тенденцию к ограничению творчества и «догматизации», то лишь в эпоху «нормальной» науки, выражаясь терминами Т. Куна, когда сложившиеся идеалы и нормы науки не подвергаются сомнениям и критике со стороны научного сообщества, и авторитет корифеев может мешать свободе научного поиска. Однако преувеличивать потери такого ограничения творчества не следует. Любая организация науки, научного и вообще профессионального мышления, которую, кстати, можно и нужно совершенствовать, будет иметь издержки, но это лучше, чем хаос. Только усвоение техники профессионального мышления способно создать базу для подлинного творчества.

В истории философской мысли, кроме гносеологического исследования разума, существовало и социально-практическое направление, рассматривавшее роль разума в человеческой истории. В этом плане под рациональностью можно понимать также и принципы разумной человеческой деятельности, понимания мира, отношения к природе, обществу и самому человеку.

1 Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М.: Советское радио, 1979. – 184 с.

2 Бердяев Н. А. Философия свободы: Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – С. 341–342.

Уже раннебуржуазные философы наряду с исследованием гносеологических аспектов разума анализировали его социально-практические функции. Это было своеобразным способом критики феодальных порядков и оправданием новых общественных отношений. Поэтому разум был представлен как активная творческая сила, не только освобождающая человечество от заблуждений, но и способствующая переустройству действительности. Разуму приписывалась роль верховного критика всего существующего, который обладает абсолютным критерием для оценки прошлого, настоящего и будущего. Так, из идей разума исходили просветители, объявившие феодальный строй и его духовные ценности неразумными, как, впрочем, и всю предшествующую историю. Источник неразумности просветители видели в неразумной социальной среде, прежде всего деспотической власти и церкви. Отсюда следовал вывод: для реализации разумности необходимы социальные изменения, которые должен осуществлять носитель разума – правитель, издающий мудрые законы¹. В концепции разумного эгоизма Н. Чернышевского функции разума состоят в осознании и принятии определенного идеала народного счастья и его осуществлении через активное участие в борьбе за изменение общественного строя².

Кант увидел социально-практическую функцию разума в формулировке общезначимого нравственного идеала и постановке конечных ориентирующих целей, тем самым неявно отдав предпочтение социально-творческой функции разума перед гносеологической: в приоритете практического разума перед теоретическим выражена определяющая роль человеческого творчества по созданию нравственных ценностей. Гегель явно, осознанно ставит человеческое творчество выше природного, отмечая, что изобретенное человеком орудие как продукт духа «должно быть поставлено выше, чем предмет природы»³.

Марксизм объявил носителем разума пролетариат⁴, который воплощает социальный разум путем революционного творчества.

1 Гельвеций К. О человеке: соч. в 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1974. – С. 550.

2 Чернышевский Н. Г. Что делать? // Собр. соч. в 5 т. – Т. 1. – М.: Правда, 1974. – 464 с.

3 Гегель Г. В. Ф. Философия истории // Соч. в 14 т. – Т. VIII. – М. – Л.: СоцЭгиз, 1935. – С. 226–227.

4 Маркс К. К критике гегелевской философии права: Введение/К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Т. 1. – С. 425.

Таким образом, в социально-практических функциях разума рациональность и творчество связаны воедино. Более того, марксистский подход получил практическое воплощение в социалистических революциях и коммунистическом строительстве, что на практике оказалось сопряженным с огромными жертвами, насилием, тоталитаризмом, нарушением прав человека и прочими проявлениями антигуманности. Осознание опасности беспредельного социального творчества ставит вопрос и о пределах социально-практических функций разума.

Между тем развитие философских исследований разума выявило не только различные аспекты соотношения творчества и рациональности, но и различную роль творчества в разных типах рациональности, например, в философской и научной.

Вплоть до Нового времени занятия наукой не отличались от философских поисков, которые, в свою очередь, считались равновидностью искусства, поэтому характер творчества в этих сферах мало чем разнился. Но различие действующих и целевых причин в Новое время четко разделило философию и науку. Хотя действующие и целевые причины были знакомы еще Аристотелю и другим античным и средневековым авторам, им не придавалось такого мировоззренческого значения. Однако в Новое время именно это разделило рациональность на два типа: научную, занятую поисками действующих причин, и философскую, метафизическую, занявшуюся целевыми. Сузив понимание рациональности, наука стремилась расширить сферу его применения, распространив научный подход не только на природу, но и на общество, культуру, человека, требуя преобразовать и соответствующие системы знания, и способы творческого поиска. Хотя философская рациональность успешно конкурировала с научной и, по мнению классиков, в частности Гегеля и Шеллинга, характером своего творчества приближалась к образцу, т. е. к искусству, это продолжалось лишь до XIX в. Позитивизм и неопозитивизм, как, впрочем, и явные успехи самой науки, явили миру «безгрешный» и самодостаточный образы науки и обусловили тождество науки и рациональности. Но развитие альтернативных философских концепций, а затем и становление исторических моделей науки в рамках так называемого постпозитивизма привели в конечном счете к проблеме иных типов рациональности и их соотношения с творчеством.

Граница научной рациональности в одних случаях определялась способностью субъекта применять некоторые всеобщие идеалы и принципы разума, в частности, находить причины, законы и т. п., а в других – объектом, детерминирующим соответствующие методы исследования. Тем самым на творчество накладывались «рациональные оковы», но его значение повышалось с ростом авторитета науки. В то же время акцент на различие методов исследования стимулировал противопоставление гуманитарных и естественных наук, якобы изучавших принципиально различные объекты противоположными методами: объяснением и пониманием, что оправдывало поиск новых типов рациональности с характерными особенностями творчества.

К концу XX в. видов рациональности оказалось выделено значительно больше, например, за счет обнаружения ее в обыденном сознании или мифе. В донаучном освоении мира скрещивались инстинктивное, подсознательное, эмоциональное, рациональное. Частично это обнаруживалось в языке, схемы, смыслы и образы которого обеспечивали описание, объяснение, предсказание, которые потом стали едва ли не абсолютной прерогативой науки. Современные исследования процедур и функций науки, например объяснения, редко заглядывают в предысторию, поэтому возникает впечатление, будто процедура объяснения возникла вместе с наукой.

Между тем объяснение как процедура мышления существует и существовала за рамками науки как в современную эпоху, например повседневное, бытовое объяснение, так и в донаучный период. Разные типы культур, задавая через системы ценностей соответствующие образцы рациональности, обеспечивали удовлетворительные объяснения. Мифологическое творчество, которое соединило эмоциональное и рациональное, естественное и сверхъестественное, субъективное и объективное, дала и первый образец рациональности, хотя и не сознавала этого. Мифологических богов как величественный результат человеческого творчества можно рассматривать и как первую попытку рационализации сил, качеств, переживаний, представлений, состояний человека: страха – Фобос, ума – Афина, воинственности – Арес, неотвратимости – Фемида, Эринии. Сами мифы можно рассматривать не только как результат литературного творчества, но и как рационализацию средств передачи профессиональных привычек, и вообще социально значимых действий. Хотя

логика мифа не выполняет закон противоречия, игнорирует идею причинности и т. п., тем не менее, эффект объясненности и понимания достигается путем пересказа мифа или указанием на соответствующие символы. Наступление тьмы, например, объясняется ссылкой на Гелиоса, который пошел спать, или на Зевса, который прикрыл плащом Землю. В формальном смысле или в смысле адекватности соответствующим культурным формам, прежде всего ценностным установкам, эти объяснения не хуже, чем современная ссылка на обращение Земли вокруг Солнца.

Кроме того, была осознана историчность самой рациональности, в т. ч. научной. Только в новоевропейской науке различают классическую, неклассическую, постнеклассическую рациональность¹, а если науку выводят из культурно-цивилизационного контекста, то и больше. Методологические исследования научно-теоретического мышления позволяют, например, различать рациональность способов описания и рациональность теоретической системы в ситуации выбора теории. Причем во втором случае для оправдания теории используется понятие ценности необязательно в гносеологическом смысле, а сам выбор между конкурирующими научными теориями порой является внерациональным². Серьезной проблемой оказывается методологическое описание субъективности и, в частности, творческого «всплеска» ученого-теоретика. Дробление рациональности на множество типов, видов и трактовок, с одной стороны, дает возможность прояснить ряд проблем, с другой – грозит обернуться абсолютным субъективизмом и релятивизмом. Современная герменевтика, обосновывающая свой тип рациональности, много сделала для выявления ограниченности рациональности научной, а ее проникновение в методологию науки и обострило проблему рациональности, и в то же время дало надежду на ее решение. Концептуальный аппарат герменевтики позволяет выйти в широкий культурный и психологический контекст научного познания, пролить дополнительный свет на научное творчество, надеяться на установление диалоговых отношений не только между культурами, но и с природой, что дает основание многим авторам почти короновать герменевтику как современную царицу наук.

1 Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации. – С. 18.

2 Ратников В. С. Физико-теоретическое моделирование: основания, развитие, рациональность. – С. 243–244.

Между тем XX век – век научно-технического и технологического прогресса – превознес научное и научно-техническое творчество, придав ему статус мировоззренческой ценности. Оно начало свое безграничное воплощение, распространяясь на все сферы деятельности, во многом предопределив сам характер человеческой цивилизации.

Творчество как ценностная установка предполагало овладение объектом творчества как минимум в трех аспектах.

Во-первых, творчество означало овладение природными предметами и процессами, а в идеале – вообще всей природой с целью ее приспособления к развивающимся потребностям человека. Природа в этом плане рассматривается как неорганизованная, расточительная, стихийная, требующая улучшения, исправления, рационализации. Начиная с XVII в. быстрое развитие техники и ее воздействие на природу закладывало в тело культуры механицизм и технократизм как мировоззрение и деятельность.

Впрочем, идея господства над природой коренилась еще в системе ценностей христианства, но ее преобразователем и даже насильником человек становится с XVIII в., когда утверждается мысль, что предназначение человека есть творчество, его задача – изменить, преобразовать мир.

Во-вторых, творчество предполагало овладение общественным организмом с целью его переустройства ради справедливости, счастья, развития человека. Общество рассматривалось как стихийно развивающееся, порождающее зло, антагонизмы, отчуждение и т. п. Поэтому оно, как и природа, требовали рационального осмысления и преобразования эволюционным или революционным путем на рациональных основаниях. Эти рациональные основания широко представлены в различных социально-политических доктринах, например, утопических, просветительских, анархистских, марксистских, неомарксистских и др. Контроль над общественным организмом ради творческого и рационального его переустройства имел в качестве одного из закономерных, хотя и неожиданных следствий, тоталитаризм. Тоталитаризм во всех его разновидностях принес неисчислимые беды народам, однако, вряд ли его следует считать случайным или иррациональным отклонением от магистрального исторического пути.

В-третьих, творчество предполагало овладение самим человеком, прежде всего его мышлением, чтобы сделать его правильным, организованным. Так в новое время утверждается рационализм как философское и культурное течение, в русле которого развивается идея метода. Подчинение мышления правильному методу не противоречило идее творчества и рассматривалось как первоочередная задача. В результате оказалось, в частности, что технократизм и тоталитаризм дополнились «единственно правильным» методом познания и преобразования мира. С его позиций другие методы отвергались и преследовались как ложные или вредные, в результате чего и творчество, и рационализм были загнаны в столь узкие рамки, что превратились в свою противоположность. Хотя последнее следствие реализовалось не повсеместно, говорить о его случайном характере неправомерно.

В общем плане творчество и рационализм оказались не отделены от идеи деятельности, прогресса, фундаментального значения техники, приоритета науки. Деятельность, активность порой оборачивались насилием, но отвергали пассивность и созерцательность, которые приобретали негативную ценностную окраску. Культ историзма, развития, прогресса, иногда прогресса любой ценой, отвергал завершенность, стабильность. Идея фундаментального значения техники и вообще производства по отношению к сфере духа породила феномен бездуховности. Приоритет науки и научной рациональности отвергает иные формы осмысления мира как недостаточные или неверные. Следует оговориться, что вряд ли в этом виновата сама наука и ее рациональность, скорее – образ научной рациональности, неадекватный ее подлинной сути, воздвигнутый в ранг мировоззренческой ценности. Поэтому многие авторы подчеркивают значение гуманных исходных ценностей как преграду абсолютизации рационализма¹ и предотвращения «ценностно опасной новизны» творчества, чреватой катастрофами².

Таким образом, идеи творчества и рационализма выявляют не только положительную, но и отрицательную ценностную окраску. Неправомерно списывать насилие, бездуховность, тоталитаризм,

1 Рациональность как предмет философского исследования. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 13–14.

2 Коваленко В. А. Организация творческого мышления // Вопр. философии. – 2002. – № 8. – С. 86.

технократизм только на особые случайные обстоятельства, социально-политические условия, некомпетентность и другие проявления «неразумности». Они имеют более глубокую основу, а главное – в современных условиях требуют нового осмысления. Кроме того, если творчество как сочетание рациональных и нерациональных компонентов присутствует в рациональной деятельности, то сколько же неявного иррационализма содержится в рациональности?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Становление гуманитаристики началось со сравнения и противопоставления ее естествознанию, хотя имелись и попытки снять такое противопоставление. В короткой истории гуманитарных наук прослеживаются две тенденции относительно выяснения их научного статуса: первая акцентирует внимание на сходстве гуманитарных и естественных наук, объявляя ненаучным в гуманитаристике то, что вне этого сходства; вторая отличает, а то и противопоставляет естественным наукам гуманитарную сферу, где используются якобы специфические концептуальные установки и средства познания и представления знаний. Осмысливая оба подхода как взаимоисключающие, резонно утверждать их дополительность, что больше соответствует реальному функционированию гуманитарного знания, причем при преобладании первой тенденции, расширяющей общенаучное поле гуманитаристики. Но проблема научности гуманитарного знания при этом остается. В частности, что в гуманитаристике можно отнести к науке из непохожего на естествознание? Ответ на подобные вопросы поможет дать такой подход к исследованию гуманитаристики, при котором обнаруживаются различия не столько между гуманитарными и естественными науками, сколько внутри самих гуманитарных наук.

Отнесение гуманитарных дисциплин, гуманитаристики к разряду наук зависит от степени выполнения ими стандартов научности, сформулированных в методологии науки.

В гуманитаристике можно различить три сферы знаний. Первая соответствует строгим стандартам научности. Она практически не отличается от естественных наук. Здесь применяются математические модели, строгие методы, создаются верифицируемые теории и т. д. Они ограничивают знание конъюнкцией как минимум таких признаков: обоснованность, эксплицитность, общезначимость, референциальность, валентность, рефлексивность. Сюда можно отнести многие разделы лингвистики, некоторые разделы литературоведения и психологии, квантитативную историю и социологию и т. д.

Вторая сфера использует более размытые стандарты научности, мягкие критерии рациональности, нестрогие методы, нарративные объяснения, философские концепции, но стремится соблюдать многие принципы классической науки: доказательность, обоснованность, выводимость, подтверждаемость и др. Сюда можно отнести большую часть литературоведения, некоторые разделы психологии, качественную неколичественную историю и социологию, микроисторию, педагогику.

Третья важная сфера гуманитаристики является венаучной, в том смысле, что сознательно отказывается от ряда требований науки: от объективности, как литературная критика, от естественности в объяснении, прибегая к признанию высших сил, как теология, от эксперимента, как философия. Существование под единой крышей «венауки» столь разных дисциплин подчеркивает лишь одно: сознательное несоответствие каким-то общепринятым стандартам науки. Это отнюдь не уменьшает их достоинств, напротив, делает более свободными и менее связанными ограничениями.

Было бы серьезной ошибкой распространять какие-либо из отмеченных характеристик на всю гуманитаристику. По-видимому, таких общих стандартов, как, например, в классическом естествознании, в гуманитарном знании не существует.

Исследователи, явно и интуитивно ощущая специфику гуманитарного знания, приписывали его объектам отличительные особенности: уникальность, сложность, изменчивость, активность, междисциплинарные подходы. Однако подобные черты заметны и в естественнонаучном знании и не позволяют отличать гуманитарное знание от естественнонаучного, а скорее свидетельствует об их близости. Объекты гуманитарного знания обнаруживают многие черты, присущие и естественнонаучным объектам: повторяемости наряду с уникальностью, общности наряду с единичностью, простоты наряду со сложностью, постоянства и стабильности наряду с изменчивостью, пассивности наряду с активностью. К ним применимы монодисциплинарные подходы наряду с междисциплинарными. Следовательно, к гуманитарному знанию могут быть применимы общенаучные критерии, а гуманитарные науки могут использовать такие же способы и средства познания и представления знания, что и другие науки.

Гуманитаристика имеет дело как с текстуальными объектами в виде знаково-символической последовательности, имеющей

языковую природу и социокультурный смысл, так и с нетекстуальными объектами в виде «живого предания», ценностей, норм, интенций, воплощенных в социокультурных отношениях, поступках, структурах, в деятельности, порожденной текстами, а также в произведениях искусства, технических сооружениях и других артефактах. Попытки представить бытие гуманитарных объектов в виде куматидов, третьего мира, особых норм и дискурсов проявляют ряд особенностей объектов гуманитарного знания, в частности, позволяет избавиться от предметоцентризма и наивного объективизма. Как текстовые, так и нетекстовые объекты гуманитарного знания во многом предопределены социально-культурным контекстом, дискурсом, в котором они живут, а, следовательно, нельзя изучать их только лишь как предметные данности. Скорее наоборот: эту данность они получают в некотором дискурсе. Плодотворным является текстуальное представление объектов гуманитаристики, отличающее их от природных объектов, но сталкивающееся, однако, с проблемой самостоятельной жизни текста, которая во многом инициирована его нарративной сущностью.

Нарратив как повествование, подчиняющееся определенной цели, под которую выстраивается сюжет повествования и отбираются факты и события, выступает неустрашимым элементом наших представлений о мире. Хотя некоторые элементы научных текстов типа дедуктивных выводов, классификаций или исторических хроник не являются нарративными, в целом структура нарратива пронизывает также и научные тексты, особенно гуманитарные, неявно предопределяя расстановку исследовательских акцентов.

Структура и форма нарратива неявно задают смыслы описываемых событий, а данное описание становится частью реальности, порождая определенные последствия. В этом проявляется конституирующая функция нарратива, которая не просто отвечает за соответствующую репрезентацию, но и конституирует многие аспекты действительности. В гуманитарных концепциях этот феномен особенно заметен в отличие от естественнонаучных теорий, где нарративы не играют определяющую роль. Нарративная составляющая фиксируется во многих гуманитарных исследованиях, связанных с проблемой текста, авторства, биографии. Современная культурная ситуация не только вызывает так называемую смерть автора, но с необходимостью воскрешает его, актуализируя роль биографического

подхода и как способа понимания эпохи, и как особой формы отношения к произведениям, выходящим под определенным именем, и как возможности конструирования авторской биографии, где нарративные структуры не устранимы.

Нарративы связаны даже с научными объяснительными интенциями гуманитарного знания, где наряду с классическими объяснительными схемами существуют нарративные объяснения. Нарративы участвуют в объяснительных процессах, как минимум, в трех случаях: 1) когда сам нарратив выступает объяснением; 2) когда нарратив в качестве лингвистической структуры неявно присутствует в объяснении; 3) когда объясняющая теория транслируется в культуре.

Нарративная направленность объяснения задается субъектом объяснения как неотъемлемым компонентом объяснительной процедуры, аккумулирующим практически все каналы вхождения личностных, социальных, ментальных, лингвистических, культурных факторов в объяснительную процедуру. Нарративные объяснения, придавая смысл человеческим действиям, демонстрируют взаимосвязанность, закономерность, значимость разнообразных несвязанных, случайных, незначительных дел и событий, увязывая их в целостные образования и снабжая жизненной выразительностью, являясь существенным дополнением ненарративных объяснительных схем. Однако нарративная стратегия гуманитарных дисциплин не должна подменять научную объективность. Нарративные и ненарративные объяснения могут существовать как дополнительные.

Стремясь конституироваться как наука, гуманитаристика продуцирует разнообразные теории. Многие гуманитарные теории, как и естественнонаучные, содержат стандартные компоненты, которых достаточно, чтобы причислить их к научным: исходные принципы, идеализированные объекты, совокупность законов и понятий, сферу технологических воплощений, объект и предмет. По сравнению с естественнонаучными теориями гуманитарные теории могут создавать не только свой предмет, но и свой объект, активно используют философские идеи и теснее связаны с социокультурной практикой. Однако это отличие не является основанием для их противопоставления естественнонаучным.

Сами гуманитарные теории разделяются на два типа. Основанием различения может быть специфика объясняющих положений или системообразующих концептов. Теории первого типа включают

в себя законы, в т. ч. и из других наук, правила и нормы, выполняющие роль законов, а также такие нарративы, которые либо включают в себя законы, либо могут быть преобразованы в законы. Теории второго типа используют нарративы, метанарративы, тенденции, лингвистические фигуры, языковые структуры, а к классическим законам не апеллируют, поскольку, например, фиксируют случайное, необратимое, непредсказуемое. К слову сказать, в естествознании также обнаруживаются подобные процессы. Синергетические и другие неклассические естественнонаучные идеи необратимости и «законности» случайности и непредсказуемости могут найти применение к объяснению необратимых социокультурных феноменов, но пока специалисты не могут описать эти процессы в математических моделях, приходится зачислять их во вторую группу теорий, не лишая статуса научности.

Основанием различения гуманитарных теорий может быть специфика используемого метода. Теории первого типа, ориентируясь на классические каноны научности, рассматривают метод как четкую последовательность действий или используют строгие теории в качестве метода. Теории второго типа рассматривают метод как совокупность не вполне четких требований, как нестрогую теорию, некоторый подход или в другом расширительном смысле. Здесь строгость метода порой подменяется эрудицией, интуицией, особым чутьем и другими выдающимися субъективными качествами исследователя. Тенденция к расширению влияния первых теорий сталкивается с проблемой адекватности метода, преодолеть которую в плане сближения строгих и нестрогих теорий имеет шанс параметрическая теория систем.

Термин «метод» имеет различные толкования. Это может быть и строгая последовательность исследовательских действий, и более или менее структурированная совокупность требований. Еще античная технэ как упорядочивающая деятельность потенциально была связана с методом в смысле рационально организованной последовательности действий, что актуализовалось в технической и научной деятельности. Разделение технэ на научно-техническую деятельность и искусство породило два типа программ исследовательской и творческой деятельности, различающихся, в частности, смыслом термина «метод» и, соответственно, пониманием его места и роли в духовной деятельности.

Теории первого типа используют математические, статистические и другие строгие методы, обнаруживают законы и строят классические объяснительные модели и вообще ориентируются на классические научные требования. Теории второго типа не всегда строго организованы, активнее используют философские идеи, имеют нарративную объяснительную способность, где отсутствует апелляция к законам, нестрогие методы или расширительное понимание методов, и вообще они не вполне соответствуют классическим общенаучным канонам, хотя обладают внутренней непротиворечивостью и логической связностью. Их продуктивные идеи позволяют им успешно функционировать, обеспечивая оригинальный подход и позволяя по-новому сконструировать рассматриваемый объект и иначе увидеть стоящую за ним реальность. Два типа теорий обуславливают два подхода в гуманитаристике.

Так, качественный подход в социологии обеспечивает изучение индивидуальных аспектов социального бытия, использует личные документы и текстовые материалы с оценочными высказываниями людей, включает субъективные теоретизирования и интерпретации исследователя, требует явных способностей и таланта. В нем усматриваются элементы субъективизма и произвола, что снижает его научную значимость. Квантитативный подход более объективен и точен, но он упрощает и усредняет картину объекта. Оба подхода должны рассматриваться как дополнительные.

Квантитативный подход в исторических исследованиях служит для обработки большого источниковедческого, вспомогательного или иллюстративного материала на различных вычислительных устройствах, а также использует статистические методы и математические модели для установления закономерностей, ограничивая субъективизм историка, исключая преобладание неповторимых исторических феноменов. В то же время художественный стиль исторических трудов остается неотъемлемым признаком исторической науки, продуцируя качественный подход, который настаивает на неустранимой специфике исторического исследования, нарративности объяснений, использует философские идеи, ограничивая методологичность общим набором требований, изучает отдельные исторические факты в рамках микроистории, которые были бы искажены в процессе обобщения или количественной формализации. Оба подхода показали свою эффективность и должны рассматриваться как дополнительные.

Квантитативный подход в теории литературы формулирует общие законы повествования, композиции, системы персонажей, организации языка, ориентируется на точное знание, строгий метод исследования, проверяемость гипотез, дисциплинарные рамки, четко очерченный объект, оперирует понятием структуры и опирается на такой эмпирический материал, который можно посчитать и наблюдать достаточно точно. Качитативный подход включает совокупность некоторых философских, культурологических и других идей, является преимущественно интерпретативным, не дает строгого метода исследования, его теории не верифицируемы, но обеспечивают новизну дискурса, новые программы исследований, дают возможность ставить новые проблемы. Оба подхода также должны рассматриваться как дополнительные.

Подходы со своими теориями и методами, давая хорошие результаты и приобретая поддержку научного сообщества, становятся парадигмами как образцами научной деятельности. Однако термин «парадигма» имеет и более широкое значение. В гуманитарной сфере необходимо различать парадигмы трех уровней. Во-первых, культурно-поведенческие парадигмы, задающие определенные образцы культурной деятельности в ту или иную эпоху. Во-вторых, парадигмы осмысления культурной деятельности как создание соответствующих «миров» в литературе, искусстве, летописях и иных текстах. В-третьих, парадигмы гуманитаристики как научное и вне-научное осмысление литературного мира в литературоведении или исторических источников и событий в истории.

В культуре наличествует большое количество сосуществующих парадигм, различающихся уровнем и сферой функционирования, что обуславливает их разнообразное влияние, выходящее за пределы той области знания и деятельности, где парадигма сформировалась. Несовместимость парадигм, вытесняющих друг друга, характерна для классического естествознания и не является общекультурной нормой.

Среди культурно-поведенческих парадигм особый интерес представляют смеховые парадигмы, поскольку, на первый взгляд, кажется, что смех настолько самобытен, что не соответствует образцам, канонам, принципам. Между тем и смех вписывается в культурные парадигмы. В отличие от соперничающих научных парадигм различные смеховые парадигмы могут существовать одновременно,

специфически вписываясь в другие культурные парадигмы. Понятие «смеховая парадигма» позволяет лучше объяснить целый ряд собственно «смеховых» явлений, например, исходные принципы выделения смешных объектов, схемы организации смехопорождающих текстов, факты взаимопонимания или, напротив, непонимания анекдотов, шуток и т. п., феномены уместности или неуместности смеха, его разрешения или запрета, явных и скрытых норм и правил. По-видимому, аналогично функционируют другие культурно-поведенческие парадигмы.

Литературное исследовательское творчество также основывается на определенных парадигмах, задающих механизм создания литературного мира и постановки соответствующих проблем в нем, что затем проецируется читателем на внелитературную реальность.

Сосуществование парадигм в науке, в т. ч. гуманитарной, позволяет заключить, что борьба и вытеснение парадигм не так широко распространены, как полагал Кун, поскольку парадигмы, в основном, имеют собственные дисциплинарные ниши. Поэтому парадигмальное разнообразие следует считать не недостатком, а достоинством, как науки, так и вообще культуры.

Кроме культурно-поведенческих, культурно-исследовательских и научных гуманитарных парадигм, выполняющих методологическую функцию, существует аксиологический императив, также называемый гуманитарной парадигмой, как требование гуманизма, человекоуменьности, учета возможных опасностей для человечества применительно к технической и научной деятельности, а также к естественнонаучному исследованию.

Употребление понятия «парадигма» не только в теоретико-методологическом, но и в культурно-поведенческом или литературном исследовательско-творческом контексте актуализируется потребностью преодолеть метафоричность терминологии, рационализировать ту духовную реальность, которая выступает в полурациональном, поэтическом виде вроде «духа эпохи», «духа времени», «культурного или литературного климата», «воздуха, где витают эпохальные идеи», и т. д. Введение в данный контекст понятия парадигмы позволит рассматривать последнее не только как феномен объективной и intersubъективной социокультурной реальности, но и как концепт, дающий лучшее понимание исследуемой в литературе реальности.

Среди оснований науки особое место занимает научная картина мира. Хотя представления о картине мира продуцировались не только наукой, но философией и искусством, научная картина мира сложилась как механическая, объективистская, «холодная» почти исключительно на основе естественнонаучной картины мира. В таком виде она не в состоянии адаптировать достижения гуманитарных наук, из-за чего ощущается потребность в гуманитарной картине мира.

Термин «картина мира» в гуманитаристике имеет три смысла: «гуманитарная картина мира», «гуманитарнонаучная картина мира», «дисциплинарная картина мира».

Термин «гуманитарная картина мира», применяемый ко всему универсуму, имеет не столько онтологический или методологический, сколько метафорически-ценностный смысл как выражение человеческой интенциональности, как «теплая картина мира». Поскольку предмет гуманитарных наук не охватывает всего мира, симметрия естественнонаучной и гуманитарнонаучной картин мира отсутствует. В отличие от распространенного в литературе различения гуманитарного и естественнонаучного подходов как разных подходов к одному единому миру, когда гуманитарной картине мира приписывается лишь метафорически-ценностный смысл, следует учесть возможность их различия как подходов к разным мирам, например к миру физическому и миру текстуальному.

Основанием выделения единой научной гуманитарной картины мира является текстуально-дискурсивная природа гуманитарного знания как сущностного признака единства представленного в этом знании мира. Существенным свойством научной гуманитарной картины мира является ее нарративность.

Общая научная гуманитарная и дисциплинарные картины мира в гуманитаристике двойственны в двух отношениях: во-первых, как сочетание объективистского, «холодного» общенаучного подхода с интенциональным, «теплым» личностным, субъективистским, ценностным; во-вторых, как совмещение репрезентативной и конституирующей свой мир функций. Двойственность картин мира может быть осмыслена в духе идеи дополнительности Н. Бора.

Принцип дополнительности срабатывает и в двойственности гуманитарных дисциплинарных картин, и в дополнительности картин мира гуманитарных и естественных наук, и в дополнительности

общенаучной и общегуманитарной картин мира. Основанием дополнительности является множество факторов: двойственность выбранных целей, способов, методов исследования, двойственность объектов, имеющих как не зависимые от субъекта свойства, так и зависимые, двойственность теорий и парадигм, двойственные картины мира.

Общенаучная составляющая в каждой картине мира является следствием единства науки и не дает возможность разбежаться им по несоизмеримым дисциплинарным квартирам. Общенаучная составляющая тесно связана с научной рациональностью.

Классическая научная рациональность включает жесткие требования к мышлению, научной деятельности и представлению их результатов. Они сформировались как реакция на успехи естественных наук. Применение их в гуманитаристике порой дает хорошие результаты, которые осмысливаются в духе единой научной рациональности и отсутствия особой гуманитарной рациональности. Однако результаты, полученные без соблюдения жестких требований классической рациональности, осмысливаются как свидетельство особых стандартов рациональности гуманитарных наук.

В свете двойственности и дополненности теорий, парадигм, картин мира в гуманитарных науках требуются представления о различных моделях, в т. ч. нежесткой «гибкой» рациональности, которые связываются с учетом социокультурного и индивидуального контекстов научного исследования и его целей, состава научного сообщества и его конвенций и ценностей, выбора пути исследования и оценки результатов, что приобретает как рациональную, так и внерациональную форму.

В соответствии с двойственностью гуманитарных наук необходимо различать объектную и субъектную рациональность. Объектная рациональность – своеобразная установка сознания на устранение влияния субъекта, на представление рассматриваемого объекта таким, каким он есть «на самом деле», она подразумевает жесткие критерии классической науки. В объектной рациональности практически не выявляется специфика гуманитарного знания, отчего уместны тезисы о единой рациональности и единых критериях научности, которым подчиняется часть гуманитарного знания.

Субъектная рациональность – установка сознания на включение субъекта в рассматриваемое явление, она подразумевает нежесткие

критерии науки и превалирует в художественном, религиозном, моральном и других подобных отношениях к миру. Констатация феноменов субъектной рациональности служит поводом для отрицания единой рациональности, для противопоставления гуманитарной сферы духа естественнонаучной, для поиска особых, специфических методов и средств гуманитаристики. Субъектная рациональность предполагает фиксацию нетипичного, учет личностного и субъективного, ценностные представления, индивидуальные мнения и впечатления, социально-политическую, нравственно-эстетическую заинтересованность субъекта.

Понятия объектной и субъектной рациональности позволяет расширить сферу рациональных оснований гуманитарного знания, соотнести специфику гуманитарного познания с субъектной рациональностью, обнаружить способность гуманитаристики создавать, с одной стороны, строго научное знание по типу естественнонаучного на основе объектной рациональности, с другой – менее строгое научное и вненаучное знание на основе субъектной рациональности.

Рассмотрение многообразных проявлений рациональности в контексте творчества позволяет зафиксировать их противоречивое единство, особенно в современной цивилизации, где активно-преобразовательное, творческое отношение человека к миру основывается на научной рациональности. Однако творчество и рациональность выявляют не только положительную, но и отрицательную ценностную окраску. Неправомерно списывать насилие, бездуховность, тоталитаризм, технократизм только на особые случайные обстоятельства, социально-политические условия, некомпетентность и другие проявления «неразумности». Они имеют более глубокую основу, в т. ч. и рациональную, а главное – в современных условиях требуют нового осмысления.

Таким образом, имеет смысл противопоставление не гуманитаристики и естествознания, а гуманитаристики и гуманитарных наук. Оно оправдано возможностью, с одной стороны, «доработать» некоторые сферы гуманитарного знания до идеалов строгой науки, с другой – очертить ту сферу гуманитаристики, где это невозможно и не нужно и где открывается путь для принципиально иного, дополнительного, описания гуманитарных объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху/С. С. Аверинцев // От мифа к литературе: сб. в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. – М.: Рос. ун-т, 1993. – С. 341–345.
2. Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности/С. С. Аверинцев // Поэтика древнегреческой литературы. – М.: Наука, 1981. – С. 15–46.
3. Автономова Н. С. Новый рационализм/Н. С. Автономова // Вопр. философии. – 1989. – № 3. – С. 10–18.
4. Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров/Н. С. Автономова. – М.: РОССПЭН, 2009. – 503 с.
5. Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность/Н. С. Автономова. – М.: Наука, 1988. – 287 с.
6. Автономова Н. С. Рациональность: наука, философия, жизнь /Н. С. Автономова // Рациональность как предмет философского исследования. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 56–90.
7. Агафонова Е. В. Соотношение автора и нарратора в современном философском дискурсе: в контексте смерти субъекта/Е. В. Агафонова. – Режим доступа: <http://www.humanities.edu.ru/db/sect/190>.
8. Адуев В. Истинное содержание произведения К. Чуковского Мойдодыр/В. Адуев. – Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/Kornei/Biblio/Aduev.htm>.
9. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач/Г. С. Альтшуллер. – М.: Сов. радио, 1979. – 184 с.
10. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры/Ф. Анкерсмит. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 496 с.
11. Аристотель. Риторика. Поэтика/Аристотель; пер. с др.-греч. О. П. Цыбенко, В. Г. Аппельрота. – М.: Лабиринт, 2000. – 224 с.
12. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства/Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.

13. Афанасьев А. И. Биография, автор, нарратив в современной гуманистике // Філософські пошуки. – Вип. XVIII. – Л.-О.: Cogito-Центр Європи, 2004. – С. 553–562.
14. Афанасьев А. И. Гоголевский «Нос» и гоголевская парадигма/А. И. Афанасьев // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип.10. Стратегії інтерпретації тексту: методи і межі їх застосування. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2006. – С. 120–127.
15. Афанасьев А. И. Гуманитарные парадигмы и их особенности /А. И. Афанасьев // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – С. 216–225.
16. Афанасьев А. И. Идеал объяснения как научный и социокультурный феномен/А. И. Афанасьев // «Субъективный фактор познания»: сб. – О., 1991. – Деп. ИНИОН АН СССР № 44945 от 12.07.91.
17. Афанасьев А. И. Картина мира гуманитарных наук/А. И. Афанасьев // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. пр. – Вип. 7. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2006. – С. 191–200.
18. Афанасьев А. И. Квантитативные и качественные подходы в гуманитаристике/А. И. Афанасьев //Перспективи: соц.-політ. наук. журн. – О.: Південноукр. нац. педагог. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 3 (49). – С. 4–9.
19. Афанасьев А. И. Методологический анализ концепций научного объяснения: автореф. дис.... на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук/Афанасьев А. И. – К.: Ін-т філософії АН УССР, 1984. – 25 с.
20. Афанасьев А. И. Нарратив и социокультурная реальность /А. И. Афанасьев // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 6. Мова, текст, культура. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2004. – С. 174–182.
21. Афанасьев А. И. Насилие и ненасилие в структуре мироосвоения/А. И. Афанасьев // Проблема человека в системе основных типов мировоззрения. – Н.-Новгород: Знание, 1993. – С. 96–98.
22. Афанасьев А. И. Научное объяснение как понимающее объяснение/А. И. Афанасьев // «Проблема понимания в познании, обучении и воспитании»: сб. – О., 1986. – Деп. ИНИОН АН СССР № 28854 от 25.03.87.
23. Афанасьев А. И. Немецкая философская традиция и рациональные основания гуманитарного знания/А. И. Афанасьев // ДОЕА.

- ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип.12. Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2008. – С. 9–16.
24. Афанасьев А. И. Объектная и субъектная рациональность гуманитарного знания/А. И. Афанасьев // Наук. пізнання: методологія та технологія: наук. журн. – № 1 (15). – 2005. – Серія: філософія, соціологія, політологія. – О.: Південноукр. нац. педагог. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2005. – С. 3–7.
 25. Афанасьев А. И. Объяснение и понимание в научном творчестве/А. И. Афанасьев // Диалектика науч. и техн. творчества. – Обнинск: ИФАН СССР, 1982. – С. 90–92.
 26. Афанасьев О. І. Парадигми гуманітарного знання/О. І. Афанасьев // Філосо. науки: зб. наук. пр. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 28–33.
 27. Афанасьев А. И. Парадигмы и древнегреческий космос /А. И. Афанасьев // ДООА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. Вип. 8. Грецька традиція в сучасній культурі. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2005. – С. 8–15.
 28. Афанасьев А. И. Приоритеты образования: профессионализм или технократизм/А. И. Афанасьев // Проблемы непрерывного образования на совр. этапе. – Тирасполь: ПИПКПК, 1993. – С. 89–91.
 29. Афанасьев А. И. Проблема розуміння в структурі наукового пояснення/А. И. Афанасьев // Філосо. думка. – 1986. – № 1. – С. 39–47.
 30. Афанасьев А. И. Роль научной картины мира в процедуре объяснения/А. И. Афанасьев // Научная картина мира как компонент современного мировоззрения. – М.-Обнинск: ИФАН СССР, 1983. – С. 94–97.
 31. Афанасьев А. И. Смех как объект гуманитарного знания /А. И. Афанасьев // ДООА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 7. Людина на межі смішного і серйозного. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2005. – С. 7–17.
 32. Афанасьев А. И. Специфика гуманитарной теории/А. И. Афанасьев // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. пр./відп. ред. Я. В. Шрамко. – Вип. 9. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2008. – С. 24–33.
 33. Афанасьев А. И. Специфика парадигм гуманитарного знания/А. И. Афанасьев // Перспективи: наук. журн. – № 3 (31). – 2005. – Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – О.:

- Південноукр. нац. педагог. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2005. – С. 118–122.
34. Афанасьев А. И. Субъект научного объяснения/А. И. Афанасьев. – Деп. ИНИОН АН СССР № 43012 от 11.10.90.
 35. Афанасьев А. И. Субъектная рациональность гуманитарного знания/А. И. Афанасьев // Актуальні проблеми духовності. зб. наук. пр./відп. ред. Я. В. Шрамко. – Вип. 8. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2007. – С. 151–161.
 36. Афанасьев А. И. Субъект объяснения как компонент объяснительного процесса/А. И. Афанасьев // Філософські пошуки. – Вип. XVII. – Л.-О.: Cogito-Центр Європи, 2004. – С. 353–361.
 37. Афанасьев А. И. Биография ученого и нарратив/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // IV рос. филос. конгр. 24–28 мая 2005 г., Москва «Философия и будущее цивилизации» // http://uchebalegko.ru/v16692/тезисы_докладов_включенных_в_программу_iv_российского_философского_конгресса_москва_-24-28_мая_2005_г.
 38. Афанасьев А. И. Идеалы научности и формационный подход /А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку-2006». – Т. 5. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 54–57.
 39. Афанасьев А. И. К проблеме научности гуманитарного знания/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Materialy IV miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «nauka i innowacja – 2008». – Тум 4. – Przemysl: Nauka I studia, 2008. – С.84–87.
 40. Афанасьев А. И. Нарративное описание и проблема репрезентации/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Materialy V miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci-2009». – Vol. 7. – Przemysl: Nauka i studia, 2009. – С. 61–63.
 41. Афанасьев А. И., Василенко И. Л. Нарративные и номологические объяснения в гуманитаристике/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická conference «Dny vědy – 2012». Díl 53. Filosofie. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 84–86.
 42. Афанасьев А. И. Нарративные основания смешного/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії

- та філології. – Вип. 9. Семантичні та герменевтичні виміри сміху. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2006. – С. 79–86.
43. Афанасьев А. И. Парадигма и смех/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 13. Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2008. – С. 8–15.
 44. Афанасьев А. И. Рациональность гуманитарного знания /А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Междунар. науч. конф. «Довгирдовские чтения-1: эпистемология и философия науки», Ин-т философии Нац. академии наук Беларуси, 13–14 мая 2010 г. Республика Беларусь, Минск. – Режим доступа: www.philosophy.by Довгирдовские чтения-1.
 45. Афанасьев А. И. Рациональность и творчество/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Sententiae: наук. пр. спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського т-ва). – Спецвип. №1. «Феномен раціональності». – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. – С. 101–108.
 46. Афанасьев А. И. Рациональные и нерациональные основания ценностей/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 15. Універсальні виміри культури. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2010. – С. 129–139.
 47. Афанасьев А. И. Смех и взаимопонимание/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 3. Гносеологічні та антропологічні виміри сміху. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2003. – С. 10–18.
 48. Афанасьев А. И. Смех и рациональность/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // ДОЕА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 5. Логос і праксис сміху. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2004. – С. 9–18.
 49. Афанасьев А. И. Философская составляющая в гуманитарных науках/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Materiały VIII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki-2012». – Vol. 23. – Przemysł: Nauka i studia. – С. 40–42.
 50. Афанасьев А. И. Флуктуационная схема исторического процесса /А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко // Субъективные притязания и объективная логика в развитии общества переходного

- типа./под ред. проф. Ч. С. Кирвеля. – Гродно: ГрГУ, 1998. – С. 57–59.
51. Афанасьев А. И. Еще раз о социально-нравственных идеалах, или Смех сквозь слезы/А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко, В. Н. Валдышев // ДОЭА. ДОКСА: зб. наук. пр. з філософії та філології. – Вип. 2. Про природу сміху. – О.: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2002. – С. 137–145.
 52. Афанасьев А. И. Гносеологические основания единства объясняющей и понимающей функций научной теории/А. И. Афанасьев, А. Ю. Цофнас // Проблемы философии. – Вып. 83. – К.: Вища шк., 1990. – С. 23–30.
 53. Афанасьев А. И. До критики операціоналізму/А. И. Афанасьев, А. Ю. Цофнас // Філосо. проблеми сучасного природознавства. – № 40. – К.: Вища шк., 1976. – С. 123–127.
 54. Афанасьев А. И. Научный статус гуманитарного знания/А. И. Афанасьев, А. Ю. Цофнас // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: зб. наук. пр. – Вип. 561–562. Філософія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 3–8.
 55. Афанасьев А. И. Соотношение понимания и объяснения в естествознании/А. И. Афанасьев, А. Ю. Цофнас // Филос. проблемы современного естествознания. – № 45 – К.: Вища шк., 1978. – С. 17–24.
 56. Барков А. К вопросу о методике структурного анализа романа «Мастер и Маргарита»/А. Барков // Булгаковский сб.: материалы по истории рус. лит. XX века. – Таллинн: Tru kirjastus, 1998. – Ч. 3. – С. 101–115.
 57. Барков А. Кто они, Мастер и Маргарита?/А. Барков // Наука и жизнь. – 1991. – № 9. – С. 88–96; № 10. – С. 52–58.
 58. Барков А. Н. Метла Маргариты/А. Н. Барков, В. А. Козаровецкий. – Режим доступа: <http://intervjuer.narod.ru/06.htm>.
 59. Барков А. Н. Пупок чернеет сквозь рубашку/А. Н. Барков, В. А. Козаровецкий. – Режим доступа: <http://intervjuer.narod.ru/04.htm>.
 60. Барков А. Прогулки с Евгением Онегиным/А. Барков. – Тернополь: Астон, 1998. – 350 с.
 61. Барков А. Н. Романы «Евгений Онегин» и «Мастер и Маргарита»: традиция литературной мистификации/А. Н. Барков. – К.: Станица – К., 1996. – 32 с.
 62. Барков А. Тайны романа «Мастер и Маргарита» и его автора/А. Барков // Радуга. – К., 1995. – № 7. – С. 124–150.

63. Барков А. О Булгакове, Маргарите и мастерах социалистической литературы: Литературно-детективный этюд/А. Барков. – К., 1990. – 67 с.
64. Барков А. Н. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение/А. Н. Барков. – К., «Текма», 1994. – 300 с.
65. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/Р. Барт. – М.: Прогресс; Универс, 1994. – 615 с.
66. Барт Р. Смерть автора/Барт Р. // Избр. работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс; Универс, 1994. – С. 384–391.
67. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики/М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1975. – 504 с.
68. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского/М. Бахтин. – М.: Сов. Россия, 1979. – 320 с.
69. Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве/М. М. Бахтин // Вопр. лит. и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 6–71.
70. Бахтин М. М. Проблема текста <Заметки 1959–1961 гг.>/М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С. 297–325, 421–423 (прим.)
71. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса/М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с.
72. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества/М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 482 с.
73. Башляр Г. Новый рационализм/Г. Башляр. – М.: Прогресс, 1987. – 376 с.
74. Бергсон А. Собр. соч.: в 5 т./А. Бергсон. – Т. 1. Творческая эволюция. – Гл. IV. СПб.: Изд. М. И. Семенова, 1913. – 332 с.
75. Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики/Н. Бердяев // Царство Духа и царство кесаря. – М.: Республика, 1995. – С. 164–286.
76. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества/Н. А. Бердяев. – М.: Правда, 1989. – 608 с.
77. Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе/Э. Бетти. – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2011. – 144 с.
78. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка/М. Блок. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

79. Божков О. Б. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия?/О. Б. Божков // Социол. исслед. – 2004. – № 9. – С. 3–5.
80. Бонч-Осмоловская Т. Комбинаторная литература/Т. Бонч-Осмоловская. – Режим доступа: http://homo.fizteh.ru/programs/culture/bonch_osmolovskaya.htm.
81. Бор Н. Причинность и дополнительность/Бор Н. // Избр. науч. тр. – Т. 2. – М.: Наука, 1971. – С. 204–211.
82. Бородкин Л. И. Квантитативная история в системе координат модернизма и постмодернизма/Л. И. Бородкин // Новая и новейшая история, 1998. – М.: РАН. – № 5. – С. 3–16.
83. Бородкин Л. И. К вопросу о формальном анализе авторских особенностей стиля в произведениях Древней Руси/Л. И. Бородкин, Л. В. Милов, Л. Е. Морозова // Методы колич. анализа текстов нарративных источников. – М.: Ин-т истории СССР, 1983. – 130 с.
84. Брокмейер Й. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы/Й. Брокмейер, Р. Харре // Вопр. философии. – 2000. – № 3. – С. 29–42.
85. Булгаков М. А. Пьесы. Романы/М. А. Булгаков. – М.: Правда, 1991. – 768 с.
86. Вебер М. Избранные произведения/М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 722 с.
87. Валгина Н. С. Теория текста: учеб. пособие/Н. С. Валгина. – Режим доступа: <http://hi-edu.ru/e-books/xbook029/01/part-001.htm>.
88. Вейдле В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества/В. Вейдле // Самосознание европ. культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в совр. обществе. – М.: Политиздат, 1991. – С. 268–272.
89. Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи/В. Виндельбанд. – СПб.: Изд-во Д. Е. Жуковского, 1904. – 374 с.
90. Вирильо П. Бог, кибервойна и ТВ/П. Вирильо // Комментарии. – 1995. – № 6. – С. 208–219.
91. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат/Л. Витгенштейн; пер. с нем. И. С. Добронравова и Д. М. Лахути; общ. ред. В. Ф. Асмуса. – М.: Наука, 1958 (2009). – 133 с.
92. Воробьев В. В. Культурологическая парадигма русского языка: Теория описания языка и культуры во взаимодействии/В. В. Воробьев. – М.: Ин-т рус. языка им. А. С. Пушкина, 1994. – 162 с.

93. Воротников Ю. Л. «Языковая картина мира»: трактовка понятия/Ю. Л. Воротников. – Режим доступа: <http://www.zpu-journal.ru/gum/new/articles/2007/Vorotnikov/>.
94. Выготский Л. С. Мышление и речь/Л. С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – С. 5–361.
95. Гадамер Г.-Г. Истина і метод; в 2 т./Г.-Г. Гадамер. – Т. 1. – К.: Юніверс, 2000. – 464 с.
96. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: пер. с нем./Х.-Г. Гадамер; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
97. Гайденок П. П. Научная рациональность и философский разум/П. П. Гайденок. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 528 с.
98. Гайденок П. П. Проблема рациональности на исходе XX века/П. П. Гайденок // Вопр. философии. – 1991. – № 6. – С. 3–14.
99. Гаспаров М. Л. Бахтин в русской культуре XX века/М. Л. Гаспаров // Избр. тр.: в 3 т. – М.: МГУ, 1997. – Т. II. – С. 494–496.
100. Гаспаров М. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина/М. Гаспаров // Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: материалы Междунар. науч. конф. Москва, 10–11 ноября 2004 г. – М.: МГУ, 2004. – С. 8–10.
101. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века»/М. Л. Гаспаров // Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология. – М.: Наука, 1998. – С. 5–44.
102. Гегель Г. В. Ф. Философия истории/Г. В. Ф. Гегель // Соч.: в 14 т. – Т. VIII. – М.; Л.: Соцэргиз, 1935. – 436 с.
103. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т./Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – Т. 1. – 452 с.
104. Гельвеций К. О человеке/К. Гельвеций // Соч.: в 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1974. – 687 с.
105. Гемпель К. Логика объяснения/К. Гемпель. – М.: Дом интеллект. кн., Рус. феноменолог. о-во, 1998. – 240 с.
106. Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении/К. Гемпель // Философия и методология истории/под ред. И. С. Кона. – М.: Прогресс, 1977. – С. 72–93.
107. Гемпель К. Функция общих законов в истории/К. Гемпель // Логика объяснения. – М.: Дом интеллект. кн., Рус. феноменолог. о-во, 1998. – С. 16–31.

108. Геродот. История: в 9 кн. – Кн. вторая. Евтерпа. 45/Геродот; пер. и прим. Г. А. Стратановского; общ. ред. С. Л. Утченко; ред. пер. Н. А. Мещерский. – Л.: Наука, 1972. – 600 с.
109. Гессен М. Совершенная строгость: Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия: док. проза/М. Гессен; пер. с англ. И. Кригера. – М.: Астрель, CORPUS, 2011. – 272 с.
110. Гинзбург В. Л. Новые физические законы в астрономии/В. Л. Гинзбург. – Вопр. философии. – 1972. – № 11. – С. 14–79.
111. Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю/К. Гинзбург // Совр. методы преподавания новейшей истории. – М.: ИВИ РАН, 1996. – С. 207–236.
112. Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в./К. Гинзбург. – М.: РОССПЭН, 2000. – 272 с.
113. Гирц К. Насыщенное описание: в поисках интерпретативной теории культуры/К. Гирц // Антология исслед. культуры. – Т. 1. Интерпретации культуры. – СПб.: Университ. кн., 1997. – С. 171–200.
114. Гладкий А. В. О точных методах в гуманитарных науках /А. В. Гладкий // Тр. VII Междунар. конф. «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO '08. Москва, 28–31 янв. 2008 г. Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН. – М.: Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2008. – 2 170 с.
115. Гладкий А. Ф. Размышления о взаимодействии лингвистики и математики. – Режим доступа: <http://elementy.ru/lib/164549>.
116. Гоголь Н. В. Проза. Статьи/Н. В. Гоголь. – М.: Сов. Россия, 1977. – 382 с.
117. Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities: методология анализа в социогуманитарном знании/И. В. Голубович. – О.: ФЛП Фридман, 2008. – 372 с.
118. Готлиб А. С. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия?/А. С. Готлиб // Социолог. исслед., 2004. – № 9. – С. 6–8.
119. Грибоедов А. С. Горе от ума/А. С. Грибоедов. – М.: Дет. лит., 1967. – 189 с.
120. Гришина А. Е. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия?/А. Е. Гришина // Социолог. исслед. – 2004. – № 9. – С. 8–10.

121. Грязнов Б. С. Теория и ее объект/Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. – М.: Наука, 1973. – 248 с.
122. Гудмен Н. О создании звезд/Н. Гудмен // Способы создания миров. – М.: Идея-пресс. – Праксис, 2001. – 326 с.
123. Гумбрехт Х.-У. Ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts» /Х.-У. Гумберт // Журн. зал. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/gu1.html>.
124. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология/А. Я. Гуревич // Вопр. философии. – 1988. – № 1. – С. 56–70.
125. Гуревич А. Я. Историк конца XX века. В поисках метода/А. Я. Гуревич // Одиссей: человек в истории. 1996. – М.: Coda, 1996. – С. 5–10.
126. Гуревич А. Я. История конца двадцатого века: В поисках метода/А. Я. Гуревич. – М.: Владос-пресс, 1999. – 345с.
127. Гусейнова А. С. Опыт имитационного моделирования историко-социального процесса/А. С. Гусейнова, В. И. Кузищин, Ю. Н. Павловский, В. А. Устинов // Вопр. истории. – 1976. – № 11. – С. 91–108.
128. Гусейнова А. С. Опыт имитационного моделирования исторического процесса/А. С. Гусейнова, Ю. Н. Павловский, В. А. Устинов. – М.: Наука, 1984. – 157 с.
129. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию/Э. Гуссерль; пер. Д. В Складнева. – СПб.: Владимир Даль, 2004. – 400 с.
130. Декарт Р. Метафизические размышления // Избр. произв. – М.: Госполитиздат, 1950. – С. 319–408.
131. Джойс П. Конец социальной истории?/П. Джойс // Совр. методы преподавания новейшей истории. – М.: ИВИ РАН, 1996. – С. 114–141.
132. Дильтей В. Введение в науки о духе/В. Дильтей // Заруб. эстетика и теория лит. XIX-XX вв. – М.: Изд. МГУ, 1987.
133. Дильтей В. наброски к критике исторического разума/В. Дильтей // Вопр. философии. – 1988. – № 4. – С. 135–152.
134. Дильтей В. Описательная психология/В. Дильтей. – СПб.: Алетейя, 1996. – 160 с.
135. Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке/У. Дрей // Философия и методология истории. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31–77.

136. Дынин Б.С. Метод и теория. – М.: Знание, 1968. – С.9.
137. Епифанова С. Война и мир как мениппея/С. Епифанова. – Режим доступа: <http://www.lebed.com/2005/art4313.htm>.
138. Жирмунский В. М. Задачи поэтики/В. М. Жирмунский // Теория литературы: Поэтика: Стилистика. – Избр. тр. – Л.: Наука, 1977. – С. 15–55.
139. Жирмунский В. М. Теория литературы: Поэтика: Стилистика/В. М. Жирмунский. – Избр.тр. – Л.: Наука, 1977. – 407 с.
140. Зенкин С. Н. Введение в литературоведение: теория литературы/С. Н. Зенкин. – М.: РГГУ, 2000. – 86 с.
141. Зенкин С. Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и судьба структурализма/С. Зенкин // Жерар Женетт. Фигуры. – М.: Сабашниковых, 1998. – Т. 1. – С. 5–56.
142. Иванова С. В. Влияние идей гуманизма на формирование гуманитарного знания/С. В. Иванова // Вопр. философии: Академиздатцентр «Наука» РАН, 2007. – №10. – С. 19–28
143. Идеалы и нормы научного исследования. – Мн.: Изд-во БГУ, 1981. – 431 с.
144. Ильин В. В. Теория познания: Введение: Общие проблемы /В. В. Ильин. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 168 с.
145. Ильин И. П. Постструктурализм: Деконструктивизм: Постмодернизм/И. П. Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 256 с.
146. Ильф И. А. Двенадцать стульев: Золотой теленок/И. А. Ильф, Е. П. Петров. – К.: Радянський письменник, 1957. – 642 с.
147. Исторические типы рациональности; в 2 т. – Т. 1 – М.: ИФРАН, 1995. – 350 с.
148. Йолон П. Ф. Рациональность в науке и культуре/П. Ф. Йолон, С. Б. Крымский, Б. В. Парахонский. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.
149. Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение/Дж. Каллер. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 158 с.
150. Кант И. Критика чистого разума/И. Кант. – Мн.: Лит., 1998. – 960 с.
151. Касавин И. Т. Рациональность в познании и практике: Критический очерк/И. Т. Касавин, З. А. Сокулер; отв. ред. В. А. Лекторский. – М.: Наука, 1989. – 192 с.
152. Кларк К. Введение. Роль социалистического реализма в советской культуре // К. Кларк // Советский роман: история как ритуал. – Режим доступа: <http://www.fedy-diary.ru/?p=2661>.

153. Князева Е. Н. Одиссея научного разума/Е. Н. Князева. – М.: ИФРАН, 1995. – 228 с.
154. Коваленко В. А. Организация творческого мышления/В. А. Коваленко // Вопр. философии. – 2002. – № 8. – С. 78–87.
155. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования/И. Д. Ковальченко. – М.: Наука, 1987. – 324 с.
156. Коломоец Е. Н. Опыт метафилософии истории/Е. Н. Коломоец, М. А. Кукарцева // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 7. Философия. – № 6. – 2000. – С. 48–59.
157. Конт О. Дух позитивной философии/О. Конт. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 256 с.
158. Корнев С. Сетевая литература и завершение постмодерна /С. Корнев // НЛО. – 1998. – № 32.
159. Костюк В. Н. Методология научного исследования/В. Н. Костюк. – К.-О.: Вища шк., 1976. – 180 с.
160. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения/Е. С. Кубрякова // Текст: Структура и семантика: в 2 т. – Т. 1. – М., 2001. – С. 72–81.
161. Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание/В. Г. Кузнецов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 192 с.
162. Кун Т. Структура научных революций/Т. Кун. – М.: Прогресс, 1977. – 301 с.
163. Лакатос И. Фальсификации и методология научно-исследовательских программ/И. Лакатос. – М: Медиум, 1995. – 234 с.
164. Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 7. Философия. – № 3. – 2003. – С. 20–39.
165. Лебедев С. А. Философия науки: слов. основных терминов /С. А. Лебедев. – М.: Академ. проект, 2004. – 320 с.
166. Леви Дж. К вопросу о микроистории/Дж. Леви // Совр. методы преподавания новейшей истории. – М.: Наука, 1996. – С. 167–190.
167. Левченко В. Л. Барочные основания и становление классической рациональности/В. Л. Левченко // Топос. – 2009. – № 1. – С. 13–21.
168. Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература/В. И. Ленин // Полн. собр. соч. – 5-е изд. – Т. 12. – М.: Политиздат, 1960. – С. 99–106.

169. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна/Ж.-Ф. Лиотар; пер. с фр. Н. А. Шматко. – М.: ИЭС, СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.
170. Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера/Т. П. Лифинцева. – М.: ИФРАН, 1999. – 132 с.
171. Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси/Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. – Л.: Наука, 1984. – 295 с.
172. Лоренц К. Обратная сторона зеркала/К. Лоренц. – М.: Республика, 1998. – 493 с.
173. Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии/К. Лоренц // Обратная сторона зеркала. – М.: Республика, 1998. – С. 62–242.
174. Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре/А. Ф. Лосев. // Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – С. 153–170.
175. Лосев А. Ф. Дерзание духа/А. Ф. Лосев. – М.: Политиздат, 1988. – 366 с.
176. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь/Ю. М. Лотман. – М.: Просвещение, 1988. – 352 с.
177. Лотман Ю. М. Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи/Ю. М. Лотман // Пушкин: Ст. и исслед. – СПб.: Искусство-СПБ, 1999. – С. 293–299.
178. Лотман Ю. М. Об искусстве/Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998. – 704 с.
179. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста/Ю. М. Лотман // Избр. ст.: в 3 т. – Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 129–132.
180. Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998. – С. 14–285.
181. Луков Вал. А., Луков Вл. А. Теория тезаурусного подхода /Вал. А. Луков, Вл. А. Луков. – Режим доступа: <http://www.zpu-journal.ru/gum/new/articles/2007/Lukovs/>.
182. Лук'янець В. С. Постмодерністське мислення і раціональність/ В. С. Лук'янець // Постмодерн: переоцінка цінностей: зб. наук. пр. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – 314 с.
183. Майнцер К. Сложность и самоорганизация. Возникновение новой науки и культуры на рубеже веков/К. Майнцер. – Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/Man.htm>.
184. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности/М. К. Мамардашвили. – М.: Лабиринт, 1994. – 90 с.

185. Мамчур Е. А. Принцип простоты и меры сложности/Е. А. Мамчур, Н. Ф. Овчинников, А. И. Уемов. – М.: Наука, 1989. – 304 с.
186. Маркс К. К критике гегелевской философии права: Введение/К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – Т. 1. – С. 414–429.
187. Масалова С. И. Гибкая рациональность уплотнения научного знания: когнитивный аспект/С. И. Масалова // Вестн. Том. гос. ун-та. – Философия. Социология. Политология. – 2010. – № 2 (10). – С. 32–45.
188. Маслак П. и О. Народный учитель страны Дураков/П. и О. Маслак. – Режим доступа: <http://burik.com.ru/?p=298>.
189. Махлин В. Л. Мениппея/В. Л. Махлин // Лит. энцикл. терминов и понятий/под ред. А. Н. Николюкина. – М.: ИНИОН РАН, Интелвак, 2003. – С. 525–529.
190. Межуев В. М. Необходим поиск новой парадигмы гуманитарного знания/В. М. Межуев. – Режим доступа: <http://www.lhachev.ru/chten/1999 izbrannoe/5477/mezhuev/>.
191. Микешина Л. А. Новые образы познания и реальности/Л. А. Микешина, М. Ю. Опенков. – М.: РОССПЭН, 1997. – 240 с.
192. Минкин А. О тайнах «Вишневого сада», 5–12 декабря 2005 года /А. Минкин. – Режим доступа: <http://viperson.ru/wind.php?ID=395866>.
193. Мудрагей Н. С. Очерки истории западноевропейского иррационализма/Н. С. Мудрагей. – М.: Наука, 2002. – 224 с.
194. Неретина С. С. Смена исторических парадигм в СССР. 20–30-е годы/С. С. Неретина // Наука и власть. – М.: Политиздат, 1990. – С. 154–186.
195. Никитин Е. П. Спецрациональность/Е. П. Никитин // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 56–69.
196. Новиков А. А. Рациональность в ее истоках и утратах/А. А. Новиков // Ист. типы рациональности. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 30–55.
197. Ополев В. Т. Рациональность как компонент регулятивных оснований научного мышления/В. Т. Ополев // Логика и развитие научного знания. – СПб.: Изд-во СПбУ, 1992. – С. 43–61.
198. Петров В. М. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования/В. М. Петров, Л. Г. Бояджиева. – М.: Рус. мир, 1996. – 158 с.

199. Печенкин А. А. Обоснование научной теории: классика и современность/А. А. Печенкин. – М.: Наука, 1991. – 184 с.
200. Платон. *Ион*/Платон // Избр. диалоги. – М.: Худож. лит., 1965. – С. 256–273.
201. Платонов А. П. Деревянное растение: из записных книжек (1927-1950)/А. П. Платонов. – М.: Правда, 1990. – 46 с.
202. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии/М. Полани. – М.: Прогресс, 1985. – 343 с.
203. Понтекорво Б. М., Покровский В. Н. Энрико Ферми в воспоминаниях учеников и друзей. – М.: Наука, 1972. – 160 с.
204. Попович М. В. Логіка і наукове пізнання/М. В. Попович. – К.: Наук. думка, 1971. – 155 с.
205. Поппер К. Логика и рост научного знания/К. Поппер. – М.: Прогресс, 1983. – 608 с.
206. Поппер К. Ницета историцизма/К. Поппер; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – 185 с.
207. Попов В. В. Теория рациональности: неклассический и постнеклассический подходы: учеб. пособие/В. В. Попов, Б. С. Щеглов; в автор. ред. – Ростов-н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 2006. – С. 268.
208. Попов В. В. Проблемы гуманитаризации научного знания /В. В. Попов // Философия гуманист. знания. – СПб.: С.-Петербур. гос. ун-т, 1997. – С. 74–77.
209. Порус В. Н. Альтернативы научного разума: К анализу романтической и натурфилософской критики классической науки /В. Н. Порус // Альтернативные миры знания. – СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманист. ин-та, 2000. – С.13–62.
210. Порус В. Н. Научная рациональность. – Ч. I/В. Н. Порус // Рациональность. Наука. Культура. – М.: УРАО, 2002. – 351 с.
211. Порус В. Н. Рациональность/В. Н. Порус // Новая философская энциклопедия: в 4 т./Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В. С. Степин. – М.: Мысль, 2000. – 2001. – Т. 3. – 2001.
212. Порус В. Н. Парадоксальная рациональность: очерки о научной рациональности/В. Н. Порус. – М.: УРАО, 1999. – 122 с.
213. Порус В. Н. Парадоксы научной рациональности и этики // Ист. типы рациональности: в 2 т./В. Н. Порус. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 315–335.

214. Порус В. Н. Рациональность, наука, культура/В. Н. Порус. – М.: УРАО, 2002. – 351 с.
215. Порус В. Н. Рациональность/В. Н. Порус // Эпистемология и философия науки. – № 2. – М.: ИФРАН, 2004. – С. 203–208.
216. Порус В. Н. С. Тулмин: цена «гибкой» рациональности: О философии науки С. Тулмина/В. Н. Порус // Философия науки. – Вып. 5. Философия науки в поисках новых путей. – М.: ИФ РАН, 1999. – С. 228–246.
217. Пригожин И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени/И. Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Прогресс, 1994. – 259 с.
218. Пригожин И. Философия нестабильности/И. Пригожин // Вопр. философии. – 1991. – № 6. – С. 46–57.
219. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха/В. Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2007. – 256 с.
220. Пружинин Б. И. Рациональность и историческое единство научного знания/Б. И. Пружинин. – М.: Наука, 1986. – 150 с.
221. Психология и новые идеалы научности: материалы круглого стола // Вопр. философии. – 1993. – № 5. – С. 3–43.
222. Пуанкаре А. Настоящее и будущее математической физики/А. Пуанкаре // Избр. тр. в 3 т. – Т. III. – М.: Наука, 1974. – С. 559–578.
223. Пуанкаре А. О науке/А. Пуанкаре. – М.: Наука, 1990. – 736 с.
224. Пушкин А. С. Евгений Онегин/А. С. Пушкин // Соч. в 3 т. – Т. 2. – М.: Худож. лит., 1986. – С. 186–353.
225. Пушкин А. С. Капитанская дочка/А. С. Пушкин // Соч. в 3 т. – Т. 3. Проза. – М.: Худож. лит., 1987. – С. 232–331.
226. Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы/Б. Рассел; пер. с англ. Н. Воробьев. – М.: Ника-Центр, 2001. – 560 с.
227. Ратников В. Особенности философской и научной рациональности/В. Ратников // Филос. пошуки. – Вып. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – С. 47–62.
228. Ратников В. С. Физико-теоретическое моделирование: основания, развитие, рациональность/В. С. Ратников. – К.: Наук. думка, 1995. – 290 с.
229. Рациональность в науке и культуре/П. Ф. Йолон, С. Б. Крымский, Б. А. Парахонский. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.

230. Рациональность как предмет философского исследования. – М.: Наука, 1995. – 225 с.
231. Рациональность на перепутье: в 2 кн. – Кн. 1. – М.: РОСПЭН, 1999. – 368 с.
232. Рациональность на перепутье: в 2 кн. – Кн. 2. – М.: РОСПЭН, 1999. – 464 с.
233. Реизов Б. Г. Французская романтическая историография (1815–1830) /Б. Г. Реизов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1956. – 535 с.
234. Решер Н. Граница когнитивного релятивизма/Н. Решер // Вопр. философии. – М.: РАН, 1995. – № 4. – С. 35–58.
235. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике/П. Рикер. – М.: Academia-Центр, Медиум, 1995. – 415 с.
236. Рикёр П. Что меня занимает последние 30 лет/П. Рикер. – Режим доступа: <http://www.gumer.info/authors.php?name>.
237. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре/Г. Риккерт. – М.: Республика, 1998. – 413 с.
238. Рожанский И. Д. Античная наука/И. Д. Рожанский. – М.: Наука, 1980. – 199 с.
239. Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления/В. М. Розин. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 248 с.
240. Розин В. М. Философия техники: учеб. пособие для вузов/В. М. Розин. – М.: NOTA VENE, 2001. – 366 с.
241. Розов М. А. О границах рациональности/М. А. Розов // Рациональность на перепутье: в 2-х кн. – Кн. 1. – М.: РОСПЭН, 1999. – С. 46–67.
242. Розов М. А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного познания: проблема методологического изоморфизма /М. А. Розов // Науковедение. – 2000. – № 4. – С. 141–166.
243. Розов М. А. Проблема способа бытия семиотического объекта/М. А. Розов // Эпистемология и философия науки: ежекварт. журн. – 2006. – Т. VIII. – № 2. – С. 54–63.
244. Розов М. А. История науки и проблема ее рациональной реконструкции/М. А. Розов // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 157–193.
245. Розов М. А. Социум как волна: Основы концепции социальных эстафет/М. А. Розов // Феномен социальных эстафет: сб. ст. – Смоленск: Изд-во Смолен. у-та, 2004. – С. 5–35.

246. Руденко Д. И. Лингвофилософские парадигмы: границы языка и границы культуры/Д. И. Руденко // Философия языка: в границах и вне границ. – Х.: Око, 1993. – Т. 1. – С. 112–124.
247. Севостьянова М. «Белые пятна» теории парадигм/М. Севостьянова // Филос. пошуки. – Вип. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – С.146–155.
248. Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию/Фердинанд де Соссюр. – М.: Прогресс, 1977. – 699 с.
249. Степин В. С. Философия науки и техники/В. С. Степин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. – М.: Гардарика, 1996. – 400 с.
250. Степин В. С. Философия науки и техники/В. С. Степин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. – М.: Контакт-Альфа, 1995. – 384 с.
251. Степин В. С. Идеалы и нормы в динамике научного поиска /В. С. Степин // Идеалы и нормы научного исследования. – Мн.: Изд-во БГУ, 1981. – С. 10–64.
252. Степин В. С. Научное познание и ценности технотронной цивилизации/В. С. Степин// Вопр. философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18.
253. Степин В. С. Теоретическое знание/В. С. Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.
254. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники/А. Страусс, Дж. Корбин; пер. с англ. и послесл. Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с.
255. Сыров В. Н. Значение «картины мира» в современной науке и философии/В. Н. Сыров. – Режим доступа: http://siterium.trecom.tomsk.su/syrov/Syrov_14.htm.
256. Теория и жизненный мир человека/РАН. Ин-т философии; ред. В. Г. Федотова. – М.: ИФРАН, 1995. – 206 с.
257. Тард Г. Законы подражания/Г. Тард. – СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1892. – IV. – 370 с.
258. Терентьева Л. М. Системно-параметричний аналіз структури і розвитку наукової теорії/Л. М. Терентьева. – К.: НМК ВО, 1990. – 50 с.
259. Тюпа В. Круглый стол: «Открытая структура» в контексте междисциплинарности: обсуждение книги Н. Автономовой/В. Тюпа // Вопр. лит. – М.: ИМЛИ, «Лит.мысль». – 2010. – № 6. – С. 5–42.
260. Тюпа В. И. Художественность литературного произведения: вопр. типологии/В. И. Тюпа. – Красноярск: КрГУ, 1987. – 224 с.

261. Тынянов Ю. Н. Поэтика: История литературы: Кино/Ю. Н. Тынянов. – М.: Наука, 1977. – 574 с.
262. Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX в./Х. Уайт. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 528 с.
263. Уёмов А. И. Свойства, системы, сложность/А. И. Уёмов // Вопр. философии. – 2003. – № 6. – С. 96–110.
264. Уёмов А. И. Системный подход и общая теория систем/А. И. Уёмов. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.
265. Уёмов А. Общая теория систем для гуманитариев/А. Уёмов, И. Сараева, А. Цофнас. – Wydawnictwo «Universitas Rediviva», 2001. – 276 с.
266. Уитроу Дж. Структура и природа времени/Дж. Уитроу. – М.: Знание, 1984. – 64 с.
267. Ульдалль Х. И. Основы глоссематики/Х. И. Ульдалль // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М.: ИЛ, 1960.
268. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы/Р. Уэллек, О. Уоррен. – М.: Прогресс, 1978. – 325с.
269. Февр Л. Бои за историю/Л. Февр. – М.: Наука, 1991. – 529 с.
270. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки/П. Фейерабенд. – М.: Прогресс, 1986. – 542 с.
271. Филатов В. П. Научное познание и мир человека/В. П. Филатов. – М.: Политиздат, 1989. – 269 с.
272. Философия науки: общий курс/под ред. С. А. Лебедева. – 1-е изд. – 6-е изд. – М.: Академ. проект, 2004–2010. – 736 с.
273. Філософські пошуки. – Вип. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – 575 с.
274. Фортунатова О. В. Герменевтический метод Э. Д. Хирша // Культура народов Причерноморья/О. В. Фортунатова. – Т. 39. Филол. науки. – С. 122. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp39/knp39_119-123.pdf.
275. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. – М.: Прогресс, 2000. – 536 с.
276. Фролов В. Т. О науке геологии. Ст. 2. Геологические теории /В. Т. Фролов // Вестн. Моск. ун-та. – Серия 4. Геология. – 2001. – № 1. – С. 3–11.
277. Фуко М. Археология знания/М. Фуко. – К.: Ника-Центр, 1996. – 208 с.
278. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет/М. Фуко; пер. с фр. – М.: Магистериум-Касталь, 1996. – 448 с.

279. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук/М. Фуко; пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. – СПб.: А-сад, 1994. – 408 с.
280. Фуко М. Что такое автор?/М. Фуко // Воля к истине. – М: Магистерийум-Касталь, 1996. – С. 7–46.
281. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие /Ю. Хабермас. – СПб.: Наука, 2000. – 140 с.
282. Хайдеггер М. Вопрос о технике/М. Хайдеггер // Время и бытие: ст. и выст. – М.: Республика, 1993. – С. 221–238.
283. Хайдеггер М. Время и бытие: ст. и выст./М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
284. Хайдеггер М. Время картины мира/М. Хайдеггер // Время и бытие: ст. и выст. – М.: Республика, 1993. – С. 41–62.
285. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме/М. Хайдеггер // Время и бытие: ст. и выст. – М.: Республика, 1993. – С. 192–220.
286. Харвей Д. Научное объяснение в географии/Д. Харвей. – М.: Прогресс, 1974. – 502 с.
287. Харре Р. Социальная эпистемология: передача знания посредством речи/Р. Харре // Вопр. философии. – М.: РАН, 1992. – № 9. – С. 49–62.
288. Хинтика Я. Проблема истины в современной философии/Я. Хинтика // Вопр. философии. – М.: РАН, 1996. – № 11. – С. 92–101.
289. Холтон Дж. Тематический анализ науки/Дж. Холтон; пер. с англ. А. Л. Великович, В. С. Кирсанов, А. Е. Левин. – М.: Прогресс, 1981. – 384 с.
290. Хюбнер К. Истина мифа/К. Хюбнер. – М.: ИФРАН, 1996. – 448 с.
291. Хюбнер К. Критика научного разума/К. Хюбнер. – М.: ИФРАН, 1994. – 326 с.
292. Цофнас А. Ю. Гносеология/А. Ю. Цофнас. – К.: Алерта, 2005. – 232 с.
293. Цофнас А. Ю. Комплементарность мировоззрения и миропонимания/А. Ю. Цофнас // Филос. и социол. мысль. – 1995. – № 1–2. – С. 10–13.
294. Цофнас А. Ю. Объект, субъект и критерий понимания /А. Ю. Цофнас // Проблема метода в социально-гуманитарном познании. – М.: ИФ АН СССР. – 1989. – С. 56–70.
295. Цофнас А. Ю. Присутствующая структура/А. Ю. Цофнас // Филос. науки. – № 4. – 2000. – С. 146–153.

296. Цофнас А. Ю. Пять способов философствования/А. Ю. Цофнас // Перспективы. – 2001. – № 3 (15). – С. 13–18.
297. Цофнас А. Ю. Теория систем и теория познания/А. Ю. Цофнас. – О.: Астропринт, 1999. – 308 с.
298. Цофнас А. Ю. Що таке знання/А. Ю. Цофнас. – О.: Астропринт, 2002. – 32 с.
299. Чернышевский Н. Г. Что делать?/Н. Г. Чернышевский // Собр. соч.: в 5 т. – Т. 1. – М.: Правда, 1974. – 464 с.
300. Чехов А. П. Вишневы́й сад: комедия в 4 действиях/А. П. Чехов // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 18 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Т. 13. Пьесы. 1895–1904. – М.: Наука, 1978. – С. 195–254.
301. Чехов А. П. Торжество победителя: Рассказ отставного коллежского регистратора/А. П. Чехов // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 18 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Т. 2. Рассказы. Юморески. 1883–1884. – М.: Наука, 1975. – С. 68–71.
302. Шапир М. И. «Тебе числа и меры нет». О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках/М. И. Шапир // Вопр. языкознания. – 2005. – № 1. – С. 43–62.
303. Швырев В. С. О понятиях «открытой» и «закрытой» рациональности: рациональность в спектре её возможностей // Рациональность на перепутье: в 2 кн. – Кн. 1. – М.: РОСПЭН, 1999. – С. 3–24.
304. Швырев В. С. Рациональность в спектре ее возможностей /В. С. Швырев // Ист. типы рациональности: в 2 т. – Т. 1. – М.: ИФРАН, 1995. – С. 6–25.
305. Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры: Традиция и современность/В. С. Швырев. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 176 с.
306. Шкловский В. Искусство как прием/В. Б. Шкловский // О теории прозы. – М.: Крут, 1925. – С. 7–20.
307. Шлейермахер Ф. Герменевтика/Ф. Шлейермахер. – СПб.: Европ. дом, 2004. – 242 с.
308. Шмид В. Нарратология/В. Шмидт. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
309. Шульга Е. Природа и специфика научной рациональности /Е. Шульга // Філософські пошуки. – Вип. XXVII. – Л.-О.: Cogito – Центр Європи, 2008. – С. 25–31

310. Шукин В. Г. О филологическом образе мира: философские заметки/В. Г. Шукин // *Вопр. философии*. – 2004. – № 10. – С. 47–64.
311. Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода». V./Б. М. Эйхенбаум // *О литературе*. – М.: Сов. писатель, 1987. – С. 375–408.
312. Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни /И. П. Эккерман. – М.: Худож. лит, 1981. – 687 с.
313. Эко У. Имя розы/У. Эко. – М.: Кн. палата, 1989. – 496 с.
314. Элиаде М. Космос и история/М. Элиаде. – М.: Прогресс, 1987. – 312 с.
315. Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные подходы/М. Эмар // *Ист. записки. Теоретические и методологические проблемы ист. исслед.* – Вып. 1 (119). – М.: Прогресс, 1995. – С. 7–22.
316. Эпштейн М. Н. Культуроника: технология гуманитарных наук /М. Н. Эпштейн. – Режим доступа: http://www.topos.ru/articles/0410/04_08.shtml.
317. Юдин Б. Г. От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям/Б. Г. Юдин. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_3/Yudin/18.pdf.
318. Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы/Б. И. Ярхо; общ. ред. М. И. Шапир. – М.: Языки славянских культур, 2006. – XXXII. – 927 с.
319. Bruner J. Actual Minds, Possible Worlds/J. Bruner. – Cambridge: Harvard University Press, 1986. – 201 p.
320. Hare R. M. Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point/R. M. Hare. – Oxford: Clarendon Press, 1981. – 256 p.
321. Hempel C. G. Aspects of scientific explanation/C. G. Hempel // *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science*. – N. Y; L., 1965. – P. 245–295.
322. Hempel C. G. Oppenheim P. Studies in the logic of explanation /C. G. Hempel // *Philosophy of Science*. – Baltimore, 1948. – Vol. 15. –¹ 1. – P. 135–175.
323. Popper K. The Open Society and its Enemies/K. Popper. – Princeton: Princeton University Press, 1950. – 645 p.
324. Ricœur P. Hermeneutics and Human Science/P. Ricœur. – Cambridge University Press. – 1995. – 314 p.
325. Salmon W. C. Carl Hempel on the rationality of science/W. C. Salmon // *Journal of philosophy*. – 1983. – Vol. 80. – № 10. – P. 555–562.

326. Siegel H. Truth, problem-solving and the rationality of science/H. Siegel // Studies in history and philosophy of science. – 1983. – Vol. 14. – № 2. – P. 89–112.
327. Stabler E. P. Rationality in naturalized epistemology/E. P. Stabler // Philosophy of science. – 1984. – Vol. 51. – № 1. – P. 64–78.
328. Tomlinson B. Phallic fables and Spermatic Romance: Disciplinary Crossing and Textual Ridicule/B. Tomlinson // Configurations. – 1995. – № 2. – P. 105–134.
329. Uyemov Avenir I. The ternary description language as a formalism for the parametric general systems theory: Parts 1–3/Avenir I. Uyemov // International Journal of General Systems. – 1999. – Vol. 28 (4-5). – P. 351-366; 2002. – Vol. 31 (2) – P. 131-151; 2003. – Vol. 32 (6). – P. 583-623.
330. White H. Historical Text as Literari Artifact/H. White // The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding. Ed. By R. H. Canary and H. Kozicki. The University of Wisconsin Press, 1978. – P. 41-62

Для заметок

Для заметок

Афанасьєв О. І.
А941 Гуманітарне знання та гуманітарні науки: моногр. /О. І. Афанасьєв. – О. : Бахва, 2013. – 288 с.
ISBN 978-966-8783-32-6

У монографії представлена методологічна концепція необхідності розрізнення двох додаткових (взаємовиключаючих і взаємообумовлюючих) підходів у гуманітарних дослідженнях. Розрізняються гуманітаристика і гуманітарні науки, а також два типи науково-гуманітарного знання на основі відповідності сильним або слабким критеріям науковості. Аналізуються різні смисли і засоби представленості в гуманітарному знанні наративів, теорій, методів, парадигм, картин світу, раціональності.

Книгу адресовано фахівцям в області філософії та методології науки, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться філософсько-методологічними проблемами науки.

Наукове видання

Афанасьєв Олександр Іванович

ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ

та

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Монографія

(російською мовою)

Редактор І.В. Гончаренко
Верстка та обкладинка К.М. Терзі

Підписано до друку 01.03.13. Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 15,3.
Обл.-вид. арк. 16,35. Наклад 300 пр. Зам. № 1820.

Видавець та виготовлювач ТОВ БАХВА
(свідоцтво суб'єкта видавничої справи серія ДК № 4277 від 06.03.2012)
65044, Україна, м. Одеса, пр-т. Шевченка, 1, корп.5
тел./факс (048) 777-43-50, e-mail: mail@bahva.com
www.bahva.com, www.vuzkniga.ua